

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

9 '85





Н. ЦИКУЛИНА. г. Калинин. Натюрморт в мастерской.

ЮНОСТЬ

9⁽³⁶⁴⁾

85



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Проза

Валерий ОСИПОВ. Факультет журналистики. Роман	12
Михаил ГОДЕНКО. Вечный огонь. Роман. Окончание	41

Поэзия

Евгений ЕВТУШЕНКО	8
Дмитрий НЕЧАЕНКО	37
Елена АНАНЬЕВА	38
Айман АБУ ШААР	40
Кадыр МУРЗАЛИЕВ	69
Николай РАЧКОВ	70
Вадим КУЗНЕЦОВ	71

1—4 стр. обложки —
рисунок
В. Скрылёва

Публицистика

Ксения АВДЕЕВА. Мужской характер	3
Юрий БЕЛЯВСКИЙ. Спасатель	72
Алексей ПЬЯНОВ. «Тропа Бориса Полевого»	106

Художественный редактор
О. Кокин

Художник
Ю. Цинсвский

Технический редактор
О. Трепенюк

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Критика

Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ. В гостях у Д. С. Лихачева	78
Д. С. ЛИХАЧЕВ. Легкий мир «Слова о полку Игореве»	79
Светлана ФЕДОРОВСКАЯ. Сближать людей	82
Владимир ВЛАДИН. Преданность жанру	83

Т е л е ф о н ы:

Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83

Культура и искусство

Николай ЕРЕМЧЕНКО. Сад Мартироса Сарьяна	81
Ролан БЫКОВ. До и после «Чучела»	84
Татьяна БОЙЦОВА. Пятеро с Верхневолжья	112

Сдано в набор 12 07 85.
Подп. к печ. 12.08.85.
А 07692.
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Уч.-изд. л. 17,62.
Усл. кр.-отт. 18,48.
Тираж 3 200 000 экз.
Изд. № 2176.
Заказ № 1171.

Наука и техника

Симон СОЛОВЕЙЧИК. Учение без исключения	107
---	-----

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.

К

КСЕНИЯ
АВДЕЕВА

этой встрече я готовилась долго. И с уверенностью могла сказать, что заочно была неплохо знакома с Героем Социалистического Труда Владимиром Ивановичем Игнатьевым и его бригадой. Изучила все, что было написано об этом прогремевшем на всю Донецкую область коллективе, только что выдавшем на-гора свой «миллион-85» — четвертый миллион тонн угля за одиннадцатую пятилетку и посвятившем эту блестящую победу пятидесятилетию стахановского движения. ...Многие часы просидели мы, склоняясь над справками и отчетами, в

МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР

кабинете заведующего отделом рабочей молодежи Донецкого обкома комсомола Геннадия Давыденко.

Истерзала я расспросами об Игнатьеве и Ольгу Звереву, секретаря Красноармейского горкома комсомола.

И вот теперь сам Игнатьев шел, не торопясь, мне навстречу.

Интересно было рассмотреть живого миллионера, тем более что не так уж часто приходится нам встречаться с ними на улицах.

Игнатьев невысок, коренаст, лысоват, очень крепок. О глазах его, способных и уколоть, и ожечь, и в то же время подбодрить, можно говорить много. Но главное, что задержит ваше внимание, — это его руки. Тут уж хочется, перефразируя известную пословицу, сказать: «Покажите свои руки, и я скажу, кто вы».

Рукам Игнатьева веришь сразу и безусловно. Хорошо, когда у твоего отца, мужа, друга такие руки. Способные защищать, ласкать, работать. Все испытывавшие, умеющие, понимающие руки.

Одет «миллионер» в светло-серый костюм, под пиджаком — рубашка в мелкую клетку, с галстуком. На голове у Владимира Ивановича роскошная, мягкая «грузинская» кепка. Сейчас такие «аэродромы» в моде у горняков.

Ходит неторопливо, вразвалочку, как на флоте. Зато «Жигуленка» своего гоняет отчаянно лихо.

Чтобы избежать упреков в идеализации, скажу: в банальном, традиционном смысле Владимир Иванович внешне обычен, на улице вряд ли засмотритесь ему вслед. Но оторваться от него в беседе, когда Игнатьев зажегся, когда заработали на полную мощность его темперамент и остроумие, просто невозможно. Общаясь с ним, понимаешь, почему стал Игнатьев бригадиром именно молодежной бригады и почему уже восьмой год идут его ребята впереди всех.

Самые разные люди, не сговариваясь, подчеркивали в нем «особое обаяние». Что они под этим подразумевали, я поняла уже в первые часы нашего знакомства, увидев в чуть прищуренных глазах бригадира готовность к шутке, к острому словцу, умение поднять настроение даже у малознамого человека. Видно было, что Владимир Иванович не из тех, кто привык ждать милостей от природы, а умеет отвоевывать их сам, не полагаясь на благоприятные обстоятельства. Может создавать хорошее настроение себе и другим, что так важно для тех, кому изо дня в день приходится спускаться в шахту и обуздывать лаву.

Забрасывая Игнатьева разнообразными вопросами, довлею себя на абсолютной внешней несхожести этих двух знаменитых шахтеров — Алексея Стаханова и Владимира Игнатьева. А ведь судьбы их удивительно похожи. Жизненные пути не раз пересекались. От Алексея Григорьевича Стаханова более пятнадцати лет назад получил Владимир Игнатьев отеческое «добро»...

Тонкий, голубоглазый, вихрастый паренек Алеша Стаханов родился на Орловщине в семье самого бедного в деревне Луговая крестьянина. Рано остался без матери, батрачил, был пастухом и сторожем, делил с братом и сестрой одну краюху черствого хлеба. Мужики из их мест ходили в Донбасс на заработки. Узнали, как нелегко горняцкий труд. И отец Стаханова до последних дней жизни умолял сына: «Не ходи, Алешка, на шахту. Пропадешь там, силу стубишь».



Но отчаянный смельчак и весельчак Алеша Стаханов решил испытать судьбу. В пенковых лаптях, полотняной косоворотке и беленых деревенских портах пришел он в Кадиевку и вскоре уже работал на шахте «Центральная-Ирмино» тормозным, в самом прямом смысле вставляя палки в колеса упряжке.

Потом пошел на повышение: стал лихим коногоном, в первый же день работы установив свой первый рекорд — семь заездов вместо пяти. И сейчас еще, вспоминая с тяжелым трудом коногонов, вызвавших на-гора из шахты лаву, поют ветераны старую шахтерскую песню: «...И вдруг назад я оглянулся, стоит народ густой толпой, а молодого коногона несут с разбитой головой».

Злой до учебы и дела, Стаханов скоро дошел до главной горняцкой должности — стал забойщиком. Его любознательность, стремление по-новому организовать работу, напористость бросались в глаза каждому. Этот человек был рожден с характером чемпиона.

В ночь на 31 августа 1935 года Алексей Стаханов выдал на-гора отбойным молотком сто две тонны угля — в четырнадцать раз больше обычного. Рекорду Стаханова рукоплескал весь Советский Союз. На страницах зарубежных газет появилось его счастливое черное лицо, лицо человека, еще не поверившего в удачу до конца. Это была настоящая победа и настоящая слава. Безусловная, феерически яркая. Поразительный рекорд сразу выдвинул молодого шахтера в разряд самых известных людей страны.

...Все встречи со Стахановым Владимир Иванович Игнатьев помнит, как будто было это только вчера. Сдержанный на похвалы, говоря о Стаханове, Игнатьев в конце каждого предложения ставит восклицательный знак. С Алексея Григорьевича их бригада «делает жизнь».

— Только шахтеры могут понять, как далась Стаханову его победа, — рассказывает Игнатьев, когда мы идем по двору шахтоуправления. — В лаве трудно идти быстро. Если спуститесь, сами это поймете. Мы тоже шли долго к своему рекорду, а Стаханов готовился к нему целых восемь лет. И не случайно шахтеры в Донбассе и Кузбассе, узнав о достижении Стаханова, были вне себя от радости. В конечном-то счете это была общая победа. Она давала горнякам не только новый разбег, чтобы овладеть техникой, отвоевывать все большее количество угля, но главное — возможность поверить в свои силы. Алексей Григорьевич вообще считал, что предела человеческим возможностям не существует. Когда он несколько лет назад встречался с нашей бригадой, часто повторял: «Вот пройдут годы, и вы будете такие рекорды ставить, о которых сейчас даже подумать нельзя. Только не бойтесь нового ни в чем — ни в мыслях, ни в оценках, ни в делах. Трудно перестраиваться, ломать сознание, но дело этого стоит. Когда в тридцатые годы мы вводили новую технологию, осваивали новую технику, сколько костности и консерватизма приходилось преодолевать. Были недоверчивые, были ярые противники, но тот, кто сумел почувствовать веление времени, ушел вскоре вперед, оставив скептиков далеко позади. В общем, история нас рассудила». А знаете, какая была у Стаханова любимая пословица? «Не боги горшки обжигают»...

Владимир Иванович присаживается на лавочку, надолго замолкает. Над нами шумят деревья. Когда подходили к ним, Игнатьев кивнул: «Здорово, старички!» И пояснил: «Это ровесники шахты, мы их посадили в самый первый воскресник, в год ее открытия».

О чем думает он сейчас, прикрыв глаза? О своем жизненном пути, его многом похожем на путь Стаханова? О том, как стал шахтером, родившись на винницкой земле, славыщейся своими прудами, в селе с поэтичным названием Серебривец, где никто никогда терриконов и в глаза не видел?.. А может, о том, как сумел до конца познать и почувствовать многотрудную коварную лаву, ставшую судьбой его самого, дочери, сына, тех людей, кто сегодня составляет бригаду? Мог ли предположить в юности, что станет Героем Социалистического Труда, основателем новой шахтерской династии? Что известность его шагнет далеко за пределы Донецкого края...

...В сорок третьем году умерла мать, и малыши Игнатьевы с лихвой хлебнули горя. Голод был многие годы самым реальным и живым воспоминанием детства. Отец воевал, и, погоревав и помучившись, соседи сдали ребятишек (было им три, шесть и двенадцать лет) в детский дом. Что такое сельский детский дом в оккупированной, начисто разграбленной фашистами местности, говорить не надо...

Вернулся после войны больной отец. Отперли пустую и погрустневшую без хозяев родную хату. Надо было жить, кормить семью.

...В армии впервые встретился Игнатьев с шахтерами. Ребята эти разительно отличались от остальных уверенностью в себе, физическою выносливостью, умением помочь без лишних слов. Володю они, хоть и не сразу, признали своим, разгадав в невысоком этом крепыше основательный человеческий стержень.

Звали его в Воркуту и в Донбасс. Он выбрал Донбасс. Все-таки свое, родное — Украина...

О начале трудового горняцкого пути Владимир Иванович вспоминать особенно не любит. С тех давних лет вынес он особую убежденность в том, что молодому начинающему человеку нужна не только строгость, но и ласка. Не только начальственный, непререкаемый окрик, приказы, наставления, но и тепло человеческое слово. Так, добро и терпеливо (хотя нрав у Игнатьева крут, и к лодырям и разгильдяям он непримирим) вот уже одиннадцать лет воспитывает он молодежь в своей бригаде.

Вообще шахтеры, которых сама работа должна была бы огрубить, задушить, на поверку оказываются мягкими, приятными, легкими людьми. Любят свои семьи, имеют, как правило, много детей, тщательно оберегают цветы в палисадах и предпочитают рыбалку всем иным радостям жизни.

...В ранний утренний час «Краснолиманская» поражала четкостью и бесперебойностью ритма. Не было спешки и суеты. Люди спокойно расходились по своим местам.

Шахтеры вообще не любят торопиться. Внизу им это слишком дорого может стоить. А такого понятия, как «опоздание», у них просто нет. Опоздал, значит, смена спустилась без тебя. Оставшийся наверху становится прогульщиком.

Но не будем идеализировать горняков. Тем более что шахтеры очень не любят всякие приукрашивания и преувеличения. Одна из особенностей этой профессии в том, что в штреке, на тысячной отметке глубины, надо твердо знать, кто с тобой рядом. Это — как у альпинистов. Пусть уж парень лучше не «ах» в чем-то, и ничто человеческое ему не чуждо, и вместо «пожалуйста» часто слышишь от него в забое совсем другое слово, но в самую главную минуту не дрогнет, не сломается. Бывают, конечно, и у шахтеров срывы, прогулы, опоздания...

А вот в бригаде у Игнатьева их нет. Ни одного на протяжении уже многих лет. И, как считают сами рабочие, не будет.

Рассказывая о бригаде, Игнатьев теплеет. Он не хватил их чрезмерно, но ценит высоко:

— Есть у нас молодежь, недавно вернувшаяся после службы в армии, есть ветераны, кому совсем недолго уже осталось ждать ранней горняцкой пенсии. Начинали-то мы ведь пацанами, вот и получилось, что к сорока годам у многих — почти четверть века подземного стажа. Такими дорожишь. Ни на что не разменяешь. Молодежь это чувствует и сразу относится к делу безо всяких «шалай-валяй»...

...В шахте я не была ни разу. А ведь понять человека, тем более такого непростого, как Игнатьев, можно, только увидев его в повседневной, самой главной жизненной ситуации — в лаве. Не скажу, что спуститься в шахту меня настоятельно приглашали, но в общем-то и не отговаривали. А сам Игнатьев только посмотрел лукаво: «Сдюжите?»

Быть моей спутницей вызвалась Оля Зверева. Тут, видимо, сработал комсомольский энтузиазм.

Через пятнадцать минут, преобразенные до неузнаваемости сапогами сорок второго размера, брюками и спецовками, одного комплекта которых нам с избытком хватило бы на двоих, лихо сдвинутыми набок настоящими шахтерскими касками с поддетыми под них белоснежными, как у медсестер, круглыми чепчиками, мы с Ольгой отправились получать номерки, лампочки-ковогонки и «спасатели». Когда человек спускается в шахту, ему выдаются два номера: на спуск и подъем. Без них ваше пребывание на глубине недействительно. Если что-то случится, спасатели будут знать, что такой-то номер не вернулся. В «Краснолиманской» у меня был номер шестьсот семь.

...Шахтерский лифт, в просторечии именуемый клетью, бросил нас вниз со скоростью шесть метров в секунду. И вот уже штрек. Светлячками в волшебном лесу мерцают шахтерские лампочки. Мы едем в старой, мотающейся из стороны в сторону, облезлой вагонетке по столь низкому каменному тоннелю, что хочется из всех сил втянуть голову в плечи. Я мстительно вспоминаю экраны, с которых так безлобубо улыбаются светлолицые шахтеры, вылезая из голубых и розовых вагончиков...

...Идти с трехкилограммовым «спасателем» на боку неудобно, и мы дружно критиковали нерадивых ученых, не придумавших до сих пор для шахтеров чего-нибудь полегче. «Спасатель» ведь должен быть с тобою всегда, а легко ли отработать шесть подземных часов с начиненным кислородом массивным металлическим термосом на боку. Да и до лавы, хочешь не хочешь, приходится идти по штреку пешком порою несколько километров.

Впрочем, вспоминаю я, легкие пластмассовые «мини-спасатели» уже существуют. Но хватает их, увы, ненадолго — часа на три максимум. А наших — на шестнадцать. За это время, если завал, тебя уж точно откопают. Чувствую нежность к металлической кастрюле, больно стучащей в бок. Лучше уж когда на шестнадцать часов... Хотя представить, что «спасатель» скоро пригодится, очень не хочется.

В бригаде Игнатьева уже давно никаких ЧП не было. Хотя от этого никто никогда не застрахован. Никто, например, не может предугадать сброс пласта. Идет себе спокойненько комбайн, и вдруг под зубьями вместо угля — порода. Сплошной монолит сланца. Такой каменный порог встал на пути их комбайна прошлой осенью в ночную смену, когда бригада уже уверенно шла к своему победному финишу и до очередного желанного миллиона тонн угля оставалось меньше двух месяцев.

Бытует среди шахтеров мнение, что большинство неприятностей случается именно ночью, когда насту-

пает «время горы». Рассерженная на то, что ни днем, ни ночью не дают горняки ей покоя, долбят, зудят, гора якобы и подбрасывает такой вот «пода-рочек». Пришлось игнатьевцам в тот раз повозиться...

Еще несколько десятков лет назад труд шахтеров не называли иначе как «каторжный». Прошло время, но как бы ни помогала техника (ветераны-горняки — коногоны, забойщики рассказывают, как до войны делалось все вручную, о комбайне, вагонетках, комплексах тогда и мечтать не могли!), а человека ничем на глубине на заменишь. Он бросает вызов лаве, он в трудных условиях «работает» ее.

В шахтах полуторакилометровой глубины температура воздуха достигает порой восьмидесяти градусов тепла — требуется специальное охлаждение. Есть забой, где невозможно выпрямиться в полный рост, где породу берет только отбойный молоток. В такой, прямо скажем, малоприятной обстановке не только «вкалывать», даже находиться тяжело. Так что, другой мой читатель, не завидуй длинному шахтерскому рублю. Он заработан трудом и потом. Я хорошо поняла это, увидев реальный портрет бригады Игнатьева в интервью третьей северной лавы северного участка пласта № 3.

В наши дни получили горняки мощнейшую технику. В бригаде Игнатьева — отличный резерв запасных частей и оборудования. На конвейерном штреке у них — маслостанция, дополнительный комплект пусковой аппаратуры, угольный комбайн. Конструкторы днем и ночью пекутся о том, чтобы облегчить, изменить, усовершенствовать условия подземного труда. И все-таки труд шахтеров нелегок.

В прошлом году с весны работали игнатьевцы в третьей южной лаве центрального уклона пласта. Эта мощная трехсотметровая громадина не вписывается ни в какие инструкции и нормативы. Зато за один рабочий цикл, с одной «стружки» можно получить пятьсот тонн угля. Экстремальные условия не остановили горняков. Более того, в бригаде с первых дней думали не просто о плане и высокой производительности труда — о рекорде. Усовершенствовали комбайн. По-новому расставили людей, чтобы от каждого была максимальная отдача. И... «сработали» эту немислимую лавицу. Был поставлен новый всесоюзный рекорд суточной добычи угля — 12 013 тонн.

— Каким был этот знаменательный день? — спрашивала я в бригаде.

Ребята только посмеивались: «Обычным. Рабочим».

Владимир Иванович Игнатьев рассказывает: «Стать шахтером может не всякий. Бывает иногда, поссорится молодой парень с начальством, хлоп заявление на стол. «Вот вам! Будете знать! Пойду на шахту. Да у меня пятый слесарный разряд. Да знаете, сколько я там буду заколачивать? Здоровье пока — слава богу! Опять же, шахтерам — почет и уважение!» И уходит. Только вот удержаться на шахте могут не все. Многие для этого надо иметь».

Трудно с Игнатьевым не согласиться. И все-таки.

Ежегодно на шахты Донбасса приходят сотни молодых людей. Что совет их туда? Что дает силы оставаться, стать высокими мастерами своего дела?

С 1976 года комсомол республики шефствует над угольной промышленностью. Это дает вполне ощутимые результаты. За пять лет в отрасль было направлено по комсомольским путевкам 22 тысячи человек. Закрепилось на шахтах более восьмидесяти процентов. Тут уж комментарии излишни.

Всего же в угольной промышленности Донецкой области трудится свыше ста тысяч молодых рабо-

чих. Почему эти современные способные ребята остаются там, под землей, ковать свой мужской характер, а иные их сверстники, поменяв десяток разных профессий, не находят себя на поверхности?

Конечно, к чести отрасли надо сказать, в ней умеют бороться за молодые кадры: новыми прекрасными общежитиями, вечерними школами, ПТУ, техникумами Министерство угольной промышленности полностью обеспечивает шахтеров.

Бывает, потянуло парня открывать новые земли. А там — ни родных, ни знакомых. Или же надо жениться, дело чести. А жить где с семьей? У молодого шахтера так вопрос не стоит. Общежитием, в том числе и семейным, его обеспечивают. О возможности учиться, расти, наконец, зарабатывать тоже говорить не приходится.

И все-таки в этом закреплении молодых мужчин на шахтах — едва ли не самой сложной области приложения физических и душевных затрат — не просто прагматизм, умение вложить или даже «продать» немалые свои силы и здоровье поудобнее, а, право же, нечто большее...

Чем дальше уходишь по штреку от людских голов, скрипа ступенек под тяжелыми шахтерскими сапогами, чем темней и пустыней становится дорога, тем меньше стоит задумываться о том, что ты сейчас на глубине шестисот сорока четырех метров.

В безлюдье и тишине (а это особенно поражает новичка, ведь наверху-то кажется, что в шахте народу тьма-тьмущая и все здесь гудит и ходит ходуну) слышны какие-то неясные стоны. Может быть, это стонет, отдавая себя по частям, гигантская подземная гора...

С детства я знаю наверняка: самое позорное и гадкое на свете — страх. Точнее, не страх, а если покажешь, что ты испугался. Но мне почему-то совсем не страшно и даже досадно от этого: где же сильные ощущения? Только вот тяжело дышать, когда идем по загазованному штреку, жарко и мешает «спасатель».

Под ногами хлюпает махмала. Так с незапамятных времен называют шахтеры вязкую темную смесь особой угольной грязи.

В шахте — да простит меня непримиримая сан-эпидемическая служба — кое-где живут крысы. Мы их высвечиваем своими «коногонками» — крупных, медлительных и совершенно бесстрашных. На глубине люди относятся к крысам пескoлькo иначе, чем на поверхности. Бытует мнение, что горняки с крысами в дружбе. Они даже подкармливают их из своих непреременных «тормозков» во время короткого обеда. Какое-никакое, а животное. Говорят, что крысы заранее чувствуют опасность, покидают штольны перед обвалом. Если же шебуршит рядом крысиное семейство — значит, все в порядке.

Все тусклее свет лампочек. Все чаще приходится нагибаться. Сапоги становятся свинцовыми, а противно чавкающая махмала касается колен. Я думаю о парнях из бригады Игнатьева, которые приходят сюда ежедневно. И не просто приходят — работают, ставят рекорды. Что движет ими? Сознание собственной значимости, не сравнимое ни с чем для мужчины чувство независимости? Возможность купить любимой девушке не только эскимо, но и шубу? Или же нечто большее — сознание, что труд твой необходим Родине, что ты в ответе за большое дело.

Сейчас стало уже привычным беспокоиться о судьбах двадцатилетних. Да и как не беспокоиться, когда инфантилизм стал поистине болезнью века, когда молодые семьи рассыпаются, как карточные домики, едва успев возникнуть, когда случается по-

рою увидеть на улице подгулявшую компанию... Девушек. Социологи ответят, что сие негативное явление — своеобразное антизнамение времени. И рядом с подобными, к счастью, не масштабными «знамениями» примеры совершенно иного рода. Истинного трудового и нравственного героизма. Примеры игна-тьевцев.

Страшное дело — безответственность. В самой ее сути, как личинки комаров в илстом пруду, вызывают отвратительные человеческие пороки. Человек сам позволяет или не позволяет себе эту маленькую слабость — быть безответственным. В работе, в дружбе, в любви, в семье. Дай только себе эту слабину, и можно уже любить не любя, обманывать без колебаний, предавать без угрызения совести, трудиться спустя рукава. Можно все в жизни переложить на плечи других, а можно все принять на себя. Какой путь выбрать, каждый из нас решает сам. Хорошо, конечно, когда рядом учитель, друзья, которые посоветуют, наставят, но что-то самое важное, стержневое, без чего нет личности, выбираем мы сами. Потому есть в жизни герои и трусы, Рахметовы и Курагины, и меру ответственности и труда каждый назначает себе самостоятельно. Один, рубая лаву, валя на лесосеке деревья, другой, попивая в пиццерии чинзано, часами разминаясь в дискотеке. Примеры тому на каждом шагу. В одной бригаде, в отделе, в лаборатории при одном плане и зарплате кто-то берет на себя максимум, кто-то почти ничего. То же самое в семье. И большая нагрузка не всегда, ах, совсем не всегда падает на самого способного, сильного, здорового. Но всегда — на самого обязательного. Иногда чувство долга и ответственности настолько сильно в человеке, что обладает способностью заражать других. Опровергая теорию о том, что заразительны только недуги... Так было когда-то со Стахановым, с Игнатьевым — их тоже вдохновляли другие.

Давалось ли все легко и сразу? Конечно, нет. Внешняя обаятельность образа Стаханова, его удал, веселость, дихая хватка порой затеняют главные стороны его характера: отчаянное упорство, неумение жалеть себя. А как страдаем мы в жизни и мучаем других именно этой любовью к себе самому больше, чем к кому бы то ни было?..

Да, на Игнатьева в первые дни на шахте манна с неба не сыпалась. Многие ли помнят в сегодняшнем Мастере того напряженного, неулыбчивого, неуклюжего паренька? Неумехой и белоручкой он, конечно же, не был; и трудное детство и служба в Советской Армии «работали» на него. Но в шахте, да и вообще в тех краях был Володя новичком. Не к кому было ему прислониться, не к кому прийти после работы, чтоб накормили борщом, потеряли натруженную спину...

К себе самому, такому, каким он стал сейчас, — Герою труда, бригадиру, наставнику, отмеченному всеми регалиями шахтерской славы, он шел самостоятельно. Через тернии постижения новой профессии, общения с людьми, приобретения друзей, создания семьи, раннего трудового отцовства.

Как большинство людей, прошедших в юности столь трудную школу, Игнатьев знает, как порой верен принцип: чем хуже, тем лучше. Насколько в жизни туманы и ушибы дорожке пряников и поделуев. Потому что они-то и делают нас людьми.

Ни себе, ни детям своим, ни молодым ребятам из бригады Владимир Иванович легкого пути не желает. Потому что любит их. И знает, что почем в жизни.

Сын его, Геннадий (отличный спортсмен, неизменно отстаивающий футбольную честь сборной шахты

во всех баталиях), держал конкурс за право поступать в бригаду, как и все остальные. Дочь пошла в горный институт, готовясь к совсем не женской профессии...

Игнатьев не молчит. Разойдясь, он поговорит с вами обо всем на свете: о подледном доге, футболе, парниковой рассаде огурцов, шипованной резине. С юмором и запоминающимися подробностями расскажет о своих встречах со Стахановым и другим знаменитым шахтером Изотовым.

Но почему же так трудно заставить его говорить о своем бригадирстве? Тут уж слова просто клещами приходится вытаскивать.

«Я работать привык, а не говорить...» За этим не просто скромность. Чужое чувство сопричастности к коллективу, неспособность хоть в чем-то себя ему противопоставить, хоть как-то «высунуться».

Когда я отправилась в лаву, ему было важно, чтобы я увидела именно бригаду, чтобы не «зациклилась» на том, как работает «знаменитый Игнатьев», а поняла людей, оценила нелегкие обстоятельства их повседневного труда... И в этом тоже весь Игнатьев.

...Наверное, мы никогда не дойдем до лавы... И вдруг...

Из далекой, дышащей жаром дыры несет молодой упругий голос знакомую мелодию: «Ледяной горою айсберг из тумана выльдаивает, и песет его течение до бескрайним по морям»...

Боже, какая симпатичная, совершенно черная физиономия улыбается нам! «А я про все на свете, как прежде, забываю, а я в любовь, как в воду, бросаюсь с головой! А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под темною водо-о-о-й!» Ура, значит, дошли!

В лаву мы почти вползаем, встреченные градом посыпавшихся камней. Сегодня снимают металлические опоры в отработанном пласте: экономия металла. Комбайн уже продвинулся дальше.

Падаем на какой-то чудом попавший сюда деревянный брусочек. Вот и интерьер. Вот она и бригада. Правда, все какне-то одинаковые. Черные пречерные, даже цвет глаз определить трудно. Начинаем беседовать. Только вот кто это?

«Саша я. А фамилию скажу наверху, когда отмоюсь. Если, конечно, узнаете».

Снова посыпались камешки. Они, конечно, маленькие. Да и понятно почему — просто вынимают опоры. И все-таки...

Нарушаю традиционный интервью вполне человеческим вопросом: «Ребятки, а вы сами-то не бонтесть?»

«Да чего же нам бояться, я вот, к примеру, двадцать лет в шахте. Мы с Владимиром Ивановичем Игнатьевым вместе начинали. Он тогда бригадиром еще не был. Нам уж скоро на покой. Так чего же бояться-то?» — отвечает один из «ребятков».

«Боятся только новички. Да и то не всякие. Вообще-то настоящий мужик ничего в жизни бояться не должен. Тем более ведь — мирное время. Все здесь свои. На себя работаем. А как же бабки наши всю войну прошагали?» — добавляет другой.

Иду к комбайну, чтобы поговорить с машинистами Владимиром Федоровичем Зинченко и Станиславом Ивановичем Костыревым. Это тоже ветераны. Силы в бригаде расставлены так, чтобы всегда были рядом молодежь и опытные рабочие. Наставничество понято здесь буквально: не закреплением кого-то за кем-то на бумаге, не отеческим похлопыванием по плечу, как, чего уж греха таить, бывает у нас еще кое-где, не звонкими рапортами на ответственных совещаниях.

«Вот что хорошо, любят наши ребята технику, — рассказывает Зинченко. — Любят и по-стахановски понимают, что без техники нам сегодня нельзя. Несколькими годами назад, в июле восьмидесяти второго года, бригаде поручили испытать новый крепежный комплекс, показавший отличные результаты в Кузбассе на шахте «Распадская». Многие тогда сомневались. «Так то ж в Кузбассе...» В перспективность новой крепи верили, пожалуй, только ее создатели да наши ребята. Риск — дело благородное. Рискнули. И уже в августе сумели за сутки выдать 5100 тонн угля при плаве 2100. Стало ясно, что комплекс этот и для наших мест вполне пригоден».

Глаза у Владимира Федоровича, как у тщательно загримированного актера, обведены четкой черной каймой. Она не смыывается никогда.

Много памяток оставляет о себе пребывание в лаве. Эта вечная тоненькая темная черточка под глазами — одна из них...

Провожали нас всем миром. Старая вагонетка казалась каретой, увозящей Золушку на бал. В лифте не дуло. Не качало. Рядом стояли шахтеры. Было в них напряженное ожидание встречи с землей.

И вспомнились мне слова из автобиографической повести Алексея Стаханова «Под шахтерской звездой», точно выражающие чувства горняков, возвращающихся наверх, на землю.

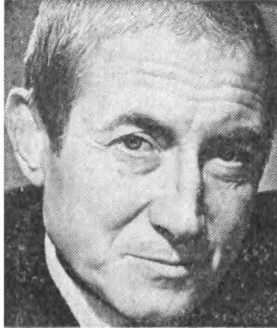
«...Есть у шахтеров выражение «на-гора́». Из-под земли выдаем мы на-гора уголь. Свет и тепло людям. Сорок пять лет связан я с шахтой и не знаю большего счастья, чем подняться на-гора после трудовой смены, когда ты дал тонны сверхпланового угля: солнце светит ярче!»

...Странное дело, время не отдаляет, а как будто приближает дорогие сердцу события прошлого. Большое действительно лучше видится на расстоянии. По-новому, яснее, осознаннее.

Дома взгляд мой то и дело останавливает маленький кусочек угля. В нем словно отражаются лица ребят, наши непривычные встречи. О многом мы не договорили. Но ведь лишних разговоров шахтеры не любят. Их стихия — дело.

Хочется написать им письмо, не кому-нибудь лично, а именно всей бригаде. Сказать о том, что поверила в их особую любовь к делу и товарищам, в их чувство собственного достоинства, которое помогло установить уже не один рекорд и, уверена, поможет устанавливать новые. Поверила в их мужской характер, который все сможет и все сумеет. В отчаянную смелость и способность бросить вызов судьбе, трудностям и той горе, в которую спускаются они ежедневно, чтобы «работать» лаву... В их способность жертвовать и побеждать, без которой просто не бывает настоящего мужчины.

ЕВГЕНИЙ
ЕВТУШЕНКО



Бесконечное дело

Попытка,
когда она стала пожизненной,
пытка.
Я в стольких попытках
отчаянно мир обнимал,
и снова пытался,
и черствой надеждой питался,
да так зачерствела она,
что я зубы себе обломал.
И я научился, как будто бы воблою ржавою,
как заплесневелою коркой,
сходящей порой за любовь,
питаться надеждой,
почти уже воображаемой,
при помощи воображаемых прежних зубов.
Я в бывших зубастых заметил такую особенность,
в которой особенности никакой,—
гражданскую злость
заменила трусливо
озлобленность,
и фигокарманство,
и лозунг скопцов: «А на кой!!»
Ведь лишь допусти
чью-то руку во рту
похозяйничать,—
зуб трусости вставят,
зуб хитрости ввинтят
на самых надежных штифтах,
и будет не челюсть,
а что ни на есть
показательность,—
и нету зубов,
а как будто бы все на местах.
И я ужаснулся,
как самой смертельной опасности,
что стану одним из спасателей
личных задов,
что стану беззубой реликвией
бывшей зубастости
и кланяться буду
выдергивателям зубов.
Тогда я прошелся,
как по фортепьяно, по челюсти.

Зуб мудрости сперли.
Торчит лишь какая-то часть.
Но знаете —
все коренные пока еще в целости,
и руку по локоть
мне в рот не советую класть.
А кто-то за лацкан берет меня:
«Слушай, тебе еще не надоело!
Ты все огрызаешься...»
Что ты играешь в юнца!
Нельзя довести до конца
бесконечное дело —
ведь всем дуракам и мерзавцам
не будет конца».
Нельзя заменить
на прекрасные лица все рыла,
нельзя научить палачей
возлюбить своих жертв,
нельзя переделать все страшное то,
что, к несчастью, было,
но можно еще переделать
грядущего страшный сюжет.
И надо пытаться
связать всех людей своей кровью,
как ниткой,
чтоб стал человек человеку
действительно брат,
и если окажется жизнь
лишь великой попыткой,
то все-таки это —
великий уже результат.
Нельзя озлобляться,
но если хотят растерзать ее тело,
то клацнуть зубами
имеет моральное право овца.
Нельзя довести до конца
бесконечное дело,
но все-таки надо
его довести до конца.

Дмитрий Гулиа

И пришли мы к поэту
с Алешей Ласуриа
и читали стихи,
где все было всему вперекор,
словно это пришло
молодое прекрасное наше безумие
на беседу к всевышнему разуму гор.
Разум не оскорбляет безумия,
если он разум.
Дмитрий Гулиа слушал,
тихонько гранат надлома,
наблюдая за нами
открытым единственным глазом,
будто многое слишком
боялся увидеть двумя.
Что он видел открытым зрачком,
нас жалеющим так по-хорошему!
То, что сразу всех скал
не пробьет ни кирка, ни кувалда
и ни долото.
Может быть, как безвременно жизнь
оборвется Алешина,
и как я заживусь?
А что хуже — не знает никто.
Что он видел закрытым,

направленным внутрь и в историю,
виноградарь духовный,

отец,
просветитель,
поэт!

Беспросветности нет,
если есть хоть светинка
одна нерастоптанная.
Просветительство высшее —
видеть хотя бы какой-то просвет.
Сквозь себя он процеживал
войны,
восстанья,
пожары,
все трагедии прошлых
и, может быть, будущих лет.
Как сквозь папоротник
процеживается
маджари,
так историю
сквозь себя
процеживает поэт.

☆☆☆

Наверно, с течением дней
я стану еще одной.
Наверно, с течением лет
пойму, что меня уже нет.
Наверно, с теченьем веков
забудут, кто был я таков.
Но лишь бы с течением дней
не жить бы стыдней и стыдней.
Но лишь бы с течением лет
двуликим не стать, как валет.
И лишь бы с теченьем веков
не знать на могиле плевков.

☆☆☆

Какое право я имел
иметь сомнительное право
крошить налево и направо
талант,
как неумелый мел!

Полтравиночки

Смерть еще далеко, а все так нелегко,
словно в гору — гнилыми ступенечками.
Жизнь подгарчивать вздумала,

как молоко
с обгорелыми черными пеночками.
Говорят мне, вздыхая:

«Себя пожалей».

А я на зуб возьму полтравиночки,
и уже веселей от подарка полей,
от кислиночки

и от горчиночки.

Я легонько кусну лето или весну,
и я счастлив зелененькой малостью,
и меня мой народ пожалеп наперед,
ибо не избаловывал жалостью.
Если ребра мне в драке изрядно помнут,
я считаю, что так полагается.
Меня в спину пырнут

и никак не поймут —

отчего это он улыбается.
В тех, кого зажалели с младенческих лет,
силы нет, а сплошные слабиночки.
Полтравиночки на зуб —

вот весь мой секрет,

и на вырост в земле —

полтравиночки.

Непонятым поэтам

Я так завидовал всегда
всем тем, что пишут непонятно
и чьи стихи, как полупятна
из полудыма-полульда.
Я формалистов обожал,
глаза восторженно тарашил,
а сам трусливо избегал
абракадабр и тарабарщин.
Я лез из кожи вон

в борьбе
со здравым смыслом, как вонитель,
но сумасшедшинки в себе
я с тайным ужасом не видел.
Мне было стыдно.

Я с трудом
Над сумасшедшинкою бился.
Единственно, чего добился, —
вся жизнь —

как сумасшедший дом.
И я себя, как пыткой, мучил —
ну чем же я недоборщил
и ничего не отчубучил
такого,

словно «дыр... бул... щир...»!
О, непонятные поэты!
Единственнейшие предметы
белейшей зависти моей...
Я —

из понятнейших червей.
Ничья узда вам не страшна,
вас в мысль никто не засупонил,
и чье-то

«ничего не понял...»
вам слаще мирры и вина!
Творцы блаженных непонятиц,
поверх сегодняшних минут
живите, верой наполняясь,
что вас когда-нибудь поймут...
Счастливыц!

Страшно между тем
быть понятым, но так превратно
всю жизнь писать совсем понятно,
уйдя непонятым совсем...

Производители уродства

Производители уродства,
ботинок, тяжких, как гробы,
тех шляп, куда, как внутрь колодца,
угрюмо вырывают лбы,
скажите, вас еще не мучил,
как будто призрак-лиходей,
костюм для огородных чучел,
бросающийся на людей?
У вас поджилки не трясутся
от липких бпуз,

от хлипких бус,
производители отсутствия
присутствия того, что вкус!
Уродство выросло в заразу.
Вас не пронизывает стыд
за мебель, у которой сразу
болезнь слоновья и рахит!
В поту холодном просыпаюсь —
мне снится лязгающий сон:
распорот лермонтовский парус
для ваших варварских кальсон.
Производители уродства,
вы так цепляйтесь за власть.

Производить вам удается
друг друга, чтобы не упасть.
Производители уродства,
производители того
преступнейшего производства,
которое — ни для кого.
На плечи Лондон вы надели,
впихнули ноги в Рим рожком,
и даже запонки из Дели...
А как же быть с родным Торжком?
Производители уродства,
захламливатели земли,
вы проявите благородство —
носите, что произвели!
Наденьте,

словно каждый — витязь,
бюстгальтеры, как шишаки,
и хоть на время удавиться
удавкой галстучной кишки!
А мы, заплакав через силу,
в честь ваших праведных трудов
к вам

соберемся
на могилу
в миллионах
траурных трусов!

Нанду

С абхазской бабушкой —
нанду

мы рядом «тохаем» в саду,
и понимаем вместе мы
язык лозы, язык хурмы.
Нанду прекрасно знает —

как
найти и выдернуть сорняк,
таких не помня пустяков,
сколько ей лет или веков.
Нанду чуть выше сапога
с горбом на согнутой спине,
как головешка очага,
вся скрюченная на огне.
И нос нанду чуть-чуть горбат,
но разве в том он виноват.
На той горбинке

всю судьбу
тащила,
будто на горбу.
И не из ведьм —

из фей она,
седое мудрое дитя.
И мушмула,

и фейхоа
к ней нагибаются,

кряхтя.
Не приросли к ней зависть,
зло,

спесь образованных невежд,
а если что и приросло —
так это черный цвет одежд.
Нисколько не было грехов —
так жили бабушка и мать,
но столько родственных гробов,
что траур некогда снимать.
Из рода Гулиа она,
а дети где-то вдалеке
и говорят, приехав, на
полуабхазском языке.
Полуязык не есть язык.
Он —

как заплеванный родник.

Язык —
это и есть народ.
Язык умрет —
народ умрет.

Спасительница языка,
других не зная до сих пор,
нанду бесшумна и легка,
как чуть сгущенный воздух гор.
На рыхлых грядах дотемна
дощечкой тоненькой она
прихлопывает семена,
чтоб не унес их ветер,

сдув,
чтобы не выкрал птичий клюв,
и возле ног ее торчат
ряды зелененьких виучат.
Из этих бережных семян
взойдут абхазский стих,
роман.

Народ,
где гений прорастет,
уже не маленький народ!
Нет,

не спасет язык ничей
вся языкатость ловкачей.
Грузин рокочущий язык,
тебя,

как рек тигриный рык,
спасали,
внукам в рот вложая,
нанду Шота,

нанду Важа!
И Пушкина в чумном году
спасла в Михайловском нанду.
Нанду Полтавы и Торжка,
вы —

сеятели языка.
Нанду Таити и Мали,
вы языки земли спасли!

Когда сгорит закат дотла,
нанду колдует у котла
и всю историю с дымком
помешивает черпаком.
Над мамалыгой пузыри,
как будто вечность изнутри
то высунет на миг зрачок,
то снова спрячет,

и — молчок.
Скользит направо блик огня —
там,

вздрагивая,
ждут меня
две золотых ноздри коня,
чтобы нести по облакам
к чужим прекрасным языкам.
Скользнет налево этот блик —
там ждет меня родной язык,
и как абхазская нанду,
я без коня пешком пойду
и буду сеять —

хоть на льду.
Я выбрал сразу два пути:
лететь

и пристально брести,
завязывая

в узелки
людей,

народы,
языки.

Будь проклят этот мерзкий миг,
когда хоть где-нибудь пойдут

язык —
войною на язык,
народ —
войною на народ.
...Нанду огню подаст ладонь.
Он чуть лизнет —
он так призывк.
Как человечество,
сгонь
многоязык
и тем велик.

Неверие в себя необходимо

Да разве святость — влезть при жизни
в святцы?

В себя не верить — все-таки святей.
Талантлив, кто не трусит ужасаться
Мучительной бездарности своей.

Неверие в себя необходимо,
необходимы нам тиски тоски,
чтоб темной ночью небо к нам входило
и обдирало звездами виски,

чтоб вваливались в комнату трамваи,
колесами проехав по лицу,
чтобы веревка, страшная, живая,
в окно влетев, плясала на лету.

Необходим любой паршивый призрак
в затрепанных лохмотьях игровых,
а если даже призраки капризные,—
ей-богу, не капризнее живых.

Необходим среди болтливой скуки
смертельный страх произносить слова,
и страх побриться — будто бы сквозь скулы
уже растет могильная трава.

Необходимо бредить неужелю,
отчаиваться, прыгать в пустоту.
Наверно, лишь отчаявшись, возможно
с эпохой говорить начистоту.

Необходима трусость быть жестоким,
и соблюдение маленьких пощад,
когда при шаге к целям лжевысоким
раздавленные звезды запищат.

Необходимо, бросив закорюки,
взорвать себя и ползать при смешках,
вновь собирая собственные руки
из пальцев, закатившихся под шкаф.

А если ты из грязи да и в князи,
раскняжь себя и сам сообрази,
насколько меньше раньше было грязи,
когда ты в настоящей был грязи.

Какая низость — самоуваженье.
Создатель поднимает до высот
лишь тех, кого при крошечном движенье
ознобом неуверенность трясет.

Уж лучше вскрыть ножом консервным вены,
лечь забулдыгой в сквере на скамью,
чем докатиться до комфорта веры
в особую значительность свою.

Благословен художник сумасбродный,
свою скульптуру с маху раздробя,
голодный и холодный, но свободный
от веры унижительной в себя.

Наш моторист

Ю. Пархоменко

Наш моторист о мотор исцарапан,
Пляшет на шее в оленьем чехле
с отполированной ручкой из капа
нож, вместо крестика,
навеселе.

Эй, моторист,
а не давит ли шею
в бисерных брызгах
шнурок от ножа
утром,

когда Селенга хорошеет,
розовой пеной под нами дрожа?
Поздно ты вздумал расшабровать втулку.
Лось мелькнул,

да мотор подзаглох,
и моторист,
отшвырнув свою «тулку»,
мат унежняет:

«Японский ты бог...»

Что есть вкусней,
чем исчезнувший лось,
если убить его не удалось!
Лось в Селенгу опустился степенно.
На воду он для забавы подул,
а на рогах его — наша пена
дальше, чем выстрел из вскинутых дул.
А моторист —

он зарылся в моторе.
Цедит с угрюмой хрипотой:
«Ну и мотор —

хренота с мототой,
или точней —
мотота с хренотой».

Шпонки летят.

Мы гребем опупенно,
и удаляется, еле видна,
нас обогнавшая наша пена
из-под сломавшегося винта.
Вот как мы глупо себя обогнали,
вот до чего мы себя довели,
если не кем-то рожденная —

нами
пена вдали, ну а мы — на мели.
И оскорбительней едкого смеха,
если над россыпью лосьих лепех,
горы еще повторяют эхо,
эхо мотора,

который заглох.
Эй, моторист,

мы на камни залезли!
Крест на груди заменил ты ножом,
только не лучше ли будет нам —

если
пену свою за кормой сбережем!
Что ты мне скажешь о пенной науке,
не проронивший ни разу слезы,
и на охоте

замерзлые руки
гревший

во внутренностях козы!
Можно ли верить, как в добрые знаки,
в то, что наивные стайки утят
клювы охотно суют в нашу накипь —
вдруг они все-таки не захотят!
И, посерева,

пожелтев постепенно,
таяще держится кое-как
нас обогнавшая наша пена,
ставшая войлоком сгнивших коряг...

ВАЛЕРИЙ
ОСИПОВ



РОМАН

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Часть первая КАФЕДРА ФИЗКУЛЬТУРЫ

1.

*Моим друзьям, студентам
факультета журналистики,
и всем, кто учился
в Московском университете
в середине пятидесятих...*



авно уже отзвенели все утренние девятичасовые звонки, возвещавшие о начале занятий в старых университетских корпусах в центре Москвы на Манежной площади, давно уже был впущен удивленным преподавателем известный зубрила, впервые в своей жизни опоздавший к началу лекции, а студент четвертого курса факультета журналистики Пашка Пахомов — руки в брюки, кепочка на затылке — только еще входил с рассеянным видом на широкое университетское подворье с каменными статуями великих революционных демократов Герцена и Огарева.

Постояв минут десять в задумчивости перед висевшей на чугунной ограде университета футбольной афишей, Пашка, тяжело вздохнув, нехотя продолжал двигаться дальше. По дороге он использовал каждую, даже самую малейшую возможность, чтобы придать своему приближению к храму науки наиболее замедленный характер.

Пашка «тормозил» буквально на каждом шагу. Он то перевязывал шнурки на ботинках, то неожиданно начинал причесываться, то подтягивал штаны, то почему-то снимал с головы кепку и пристально разглядывал этикетку фабрики, сработавшей этот немудреный головной убор, то вдруг, резко остановившись и оглянувшись, подолгу смотрел назад, будто подозревал, что по пятам за ним крадется внезапно спрятавшаяся шайка разбойников с остро отточенными кинжалами.

Убедившись, что его молодой жизни в данный момент прямая опасность не угрожает, Пашка, еще раз тяжело вздохнув, продолжал приближаться к входу на факультет журналистики.

Рисунки
Ю. Вечерского

Журнальный вариант

Оказавшись на лестнице, на знаменитой железной университетской лестнице, сработанной если не рабами Рима, то, во всяком случае, много-много лет назад (по ее нетленным чугунным ступеням, опаздывая на лекции, может быть, взбегали однокурсники Лермонтова и Белинского), Пашка Пахомов «гасил» свое поступательное движение вверх до пределов, уже совершенно недоступных человеческому восприятию. Он втаскивал ногу на очередную ступеньку и застыл в неподвижной позе. Казалось, жизнь умерла в нем навсегда. Но проходило несколько мгновений, и Пашка снова оживал. Он подтягивал оставшую ногу, а потом опять погружался в небытие. Со стороны Пашка был похож на человека, поднимающегося по ступеням эшафота, на вершине которого ему суждено было положить под топор палача свою буйную голову в серой клетчатой кепке.

Однако последние ступеньки перед дверью, ведущей непосредственно на факультет, студент Пахомов преодолевал с беззаботной легкостью человека, которому в последнюю минуту перед казнью сообщили о замене четвертования женитьбой на царской дочери.

Взявшись за дверную ручку, Пашка придавал своему лицу крайнюю степень озабоченности и только после этого торопливо вбегал на факультет. И здесь он каждый раз попадал в «объятия» Глафиры Петровны — технического секретаря деканата, молодой блондинки с хорошо сохранившейся фигурой. В руках Глафиры Петровны держала хрустящий лист бумаги. Это был список опоздавших, который каждый день, как утренний кофе, подавался после начала первой лекции на стол декану факультета для принятия против вконец обнаглевших лодырей и прогульщиков строгих административных мер.

Несколько секунд Глафира Петровна молча смотрела на Пашку. Глаза технического секретаря от приступа благородного гнева постепенно темнели и становились почти бархатными. Пашка же, напрягая легкие, добросовестно обозначал тяжелое дыхание человека, сломя голову мчавшегося к началу занятий.

— Опять? — зловещим шепотом выдавливала из себя Глафира Петровна.

— Опять, — уныло разводил руками Пашка.

— Это возмутительно! — шипела Глафира Петровна.

— Это возмутительно, — горевал Пашка.

— Это становится невыносимым!

— Это становится невыносимым, — сокрушался Пашка.

Молодая блондинка гневно буравила Пашку своими бархатными глазами. Студент Пахомов уже давно отравлял ей жизнь. Глафира Петровна обрушивала на клетчатую Пашкину кепку все имевшиеся в ее распоряжении неприветливые цензурные выражения.

Глафира Петровна метала громы и молнии, но Пашка по-прежнему не возражал ей. Как человек опытный, он знал — Глафире нужно прежде всего дать высказаться.

Выдержав необходимую паузу, Пашка перешел к наступательным действиям. Уняв тяжелое дыхание, он хорошо поставленной скороговоркой поведал трогательную историю о том, как на троллейбусной остановке стал свидетелем обморока, случившегося с пожилой гражданкой. Гуманные соображения, естественно, не позволили студенту Пахомову оставить старушку одну до прихода «скорой помощи».

Глаза Глафиры сузились до размеров смотровой щели рыцарского шлема. Лицо ее пылало холодным пламенем презрения.

— Обморок с пожилой женщиной на троллейбусной остановке, — тщательно выговаривая каждую букву, начала Глафира Петровна, — был уже в прошлом месяце. Вы лжец, Пахомов, и притом бездарный. Завтра постарайтесь придумать что-нибудь по-оригинальнее.

И она взмахнула роковым карандашом, чтобы занести Пашку в крамольный список опоздавших.

— Глафира Петровна! — проникновенно сказал Пашка, сделав робкий шаг вперед. — Глафира Петровна, — расчетливо повторил Пашка, — а что бы вы сделали, если бы сейчас здесь стоял не я, а ваш собственный сын?

Карандаш замер над списком — пущенная Пашкой отравленная стрела попала прямо в цель.

Глафира Петровна тяжело вздохнула. Глаза ее раскрылись до нормальных размеров.

— Что вы от меня хотите? — дрогнувшим грудным голосом спросила она.

— Глафира Петровна, дорогая, у меня же последнее предупреждение. Выгонят — куда деваться? Ведь вы сами знаете, как трудно сейчас куда-нибудь устроиться...

Да, это Глафира Петровна знала хорошо. У нее был большой опыт по устройству собственного сына в текстильные и пищевые институты.

— Ладно, — снова вздохнув, сказала Глафира Петровна и сделала слабый жест рукой, — прощаю в последний раз.

Произнося эти слова, она была абсолютно уверена в том, что завтра — в крайнем случае — послезавтра — весь спектакль повторится заново.

Пашка сделал Глафире ручкой и помчался вниз по железной лестнице.

— Не забудьте вернуться на второй час лекции! — кричала сверху снова ставшая очень строгой Глафира Петровна. — Я проверю!

Но студент Пахомов уже не слышал ее. На душе у него было легко и свободно. День начинался совсем неплохо. Первая схватка с деканатом окончилась в его пользу. Правда, можно было бы и просто не опаздывать. Прийти, например, к началу лекции вместе со всеми. Но этот вариант был мало знаком Пашке, и он опасался к нему прибегать.

2.

Перебрав улицу Герцена перед поворачивающим с Манежной площади направо троллейбусом № 5, Пашка устремился в новое здание старых университетских корпусов, перед которым стоял со свитком в руке (а может быть, с большой бронзовой шпалгалкой, отобранной у студента восемнадцатого века) Михайло Васильевич Ломоносов. Говоря точнее, студент Пахомов торопился по строго определенному адресу, а именно — на кафедру физкультуры и спорта, находившуюся на первом этаже нового здания. Из всех имевшихся в университете кафедр Пашка Пахомов отдавал кафедре физкультуры наибольшее предпочтение.

В тот год, с которого начинается наше повествование, кафедра физического воспитания и спорта Московского университета представляла собой длинный прокуренный коридор, в который справа входили двери двух небольших спортивных залов, а левую сторону занимали огромные высокие окна с деревянными подоконниками. Эти удивительные, уникальные и, очевидно, единственные в своем



роде подоконники и были главной достопримечательностью кафедры физкультуры. Во-первых, они были необычайно широкими и длинными — на каждом свободно умещалось человек шесть-семь одновременно — и, несмотря на то, что находились на уровне груди среднего по росту человека, чрезвычайно удобными.

Во-вторых, в отличие от всех других подоконников в университете, с тех, что на кафедре физического воспитания и спорта, студентов никогда не гоняли.

И, наконец, в-третьих, — и это было самое главное — подоконники кафедры физического воспитания и спорта считались общепризнанным местом демократического духа, свободомыслия и вольнодумства, присущих во все века всем университетам на свете, в том числе и университету Московскому.

Живописнейшая публика собиралась на подоконниках кафедры физкультуры. С шахматными досками под мышками приходили сюда всегда мрачные и растрепанные студенты механико-математического факультета. Особой доблестью среди шахматистов-мехматовцев считалось умение «звонить». Ставил, например, один из соперников фигуру на особо важное для себя поле и, словно стараясь придать дополнительной прочности своей позиции, говорил при этом:

— Укрепился!

Его противник, если только он умел «звонить», тотчас отвечал:

— Как турок на колу!

И зрители, те же самые мехматовцы, всегда по

достоинству оценивали это высокое словесное искусство.

Аккуратные физики приходили на спортивную кафедру только для того, чтобы, сидя на подоконниках, безудержно острить по адресу всех, кто проходил мимо них и не был посвящен в глубинные тайны квантовых противоречий, единой теории поля и хлопотливого быта частиц и античастиц внутри, а равно снаружи атомного ядра.

Беззаботные, легкомысленные филологи водили от подоконника к подоконнику стройных, доверчивых девушек с географического и биологического факультетов и вкрадчивыми голосами читали им стихи классиков, выдавая за свои собственные.

И только бледнолицые химики, от которых всегда пахло модными нуклеиновыми кислотами, молча сидели на подоконниках в своих черных и синих халатах, прожженных самыми новейшими реактивами. Они ни с кем не вступали в бесплодную словесную борьбу. Химики просто курили. Им было давно уже все ясно. Вплоть до того, что и сами-то они, химики, всего лишь навсего сложные молекулярные соединения.

...Ощущая себя молодым ангелом, который, покинув грешную землю, вновь оказался в любезных своему сердцу райских пущах и кущах, Пашка Пахомов подошел к первому подоконнику и мгновенно почувствовал, как легкие его вновь наполняются чистейшим кислородом вольнолюбивой студенческой беззаботности и легкомыслия.

На первом подоконнике играли в шахматы два могучих интеллекта — Тарас и Курдюм. Рядом с шахматной доской, приходясь озабоченными лица-



ми до уровня пешек, стояла густая толпа болельщиков.

Тарас, двигавший фигурами за черных, не имел себе равных по количеству учебных заведений, в которых когда-либо обучался. Это был крупный и уже довольно немолодой мужчина. Тараса последовательно изгоняли со всех имевшихся в университете факультетов, несколько лет он учился на стороне, но потом снова вернулся в альма-матер и вновь был принят на первый курс.

Тарас имел звание кандидата в мастера по шахматам, но был весьма неплохо развит и физически: рост Тараса достигал почти двух метров, а вес — ста двадцати килограммов. Несмотря на большие параметры и сидячий образ жизни, который ему приходилось вести благодаря своей основной специальности — игре в преферанс, Тарас тем не менее обладал еще и некоторой резвостью движений, которая даже позволила ему в молодые годы установить рекорд университета по метанию диска. И хотя он метал неудобный классический снаряд тем самым способом, которым бросают через забор пустую бутылку, присутствовавшие на стадионе судьи зафиксировали рекордное достижение, которое продержалось много лет.

Тарас вообще был человеком необычайно разносторонним и склонным к универсализму. На университетских спартакиадах его неизменно включали в состав волейбольных и баскетбольных команд. А в шахматных состязаниях он бесшумно играл на первой доске всех факультетов, которые когда-либо имели честь видеть его в рядах своих студентов.

Таким образом, польза от Тараса, несмотря на его бесспорную ветреность в науках, была немалая.

В тот самый год, с которого начинается наше повествование, в университете вообще было мало мужчин, а спортсменов и подавно. И поэтому на фоне остальных студентов, в основном худосочных очкариков, освобожденных от физкультуры еще в первом классе, Тарас выделялся своей олимпийской разносторонностью, своеобразным эллинизмом и вообще редкой гармонией физических и духовных начал.

Пашка Пахомов уже минут десять стоял около первого подоконника, а Тарас и Курдюм, уткнувшись в шахматную доску, не обнаруживали пока никаких признаков разумной жизни. Наконец Тарас тяжело вздохнул и протолкнул черную пешку вперед сразу на две клетки. Курдюм тут же убил ее своим белопольным слоном.

— А молодого пешехонца несут с разбитой головой, — сказал Курдюм певучим речитативом, снимая черную пешку с доски.

Тарас, не ожидавший от Курдюма такой прыти, снова погрузился в пучину тягостных раздумий.

— Вообще эта партия с Тарасом, — снисходительно сказал Курдюм, — напоминает мне борьбу Егора с коровой. Причем в тот самый момент, когда корова вынуждена была наконец дать молочка!

Болельщики-мехматовцы, стоявшие около первого подоконника, одобрительно закивали головами. По общему мнению, Курдюм высказался весьма недурно.

— Где Егор и где корова? — парировал Тарас курдомовскую шутку, не поднимая головы от доски, и болельщики заулыбались, поняв, что Тарас готовит контрудар.

— А еще эта партия с Тарасом, — пытаюсь снова перетянуть всеобщие симпатии на свою сторону, сказал Курдюм, — напоминает мне нападение греков на водокачку...

Болельщики сладко захохотали. Шутка была absolutely свежая. Не смог сдержать улыбки, все так же не поднимая головы от доски, даже Тарас.

Пашка Пахомов стоял в толпе мехматовцев и улыбался вместе со всеми. Ничего не понимая в хитросплетении белых и черных фигур, он, конечно, больше всего ценил в шахматных поединках на кафедре физкультуры умение противников «обзывать» друг друга. Это был настоящий разговор! А что в это же самое время мог бы услышать Пашка на лекции? Как раскопали где-нибудь в пустыне очередную несимпатичную мумию? Студенту Пахомову все эти почтенные древности надоели хуже лютой смерти. Гораздо интереснее было следить за словесным состязанием Курдюма и Тараса.

Курдюм торжествовал. Симпатии болельщиков-мехматовцев теперь снова были на его стороне.

— А у Тараса-то позиция, кажись, будет похуже, — подобострастно заметил один из болельщиков. — Глядите, братцы, сколько у Курдюма пешек!

— Как у дурака махорки! — быстроотреагировал Тарас.

Болельщики завывали, заушали, задохнулись от счастья. Ответ Тараса (если только это не была домашняя словесная заготовка) так и просился в первую десятку экспромтов, рожденных на кафедре физкультуры за всю ее историю.

Курдюм поздно опомнился. Слишком долгое пребывание на пьедестале, на который он был воздвигнут рождением фразы «нападение греков на водокачку», ослабило его бдительность.

— Ну ты, чемпион Африки по лыжам! — яростно закричал Курдюм на Тараса. — Рекордсмен мира по прыжкам в ширину! Ты долго еще будешь думать? У меня уже шнурки на ботинках развязались от твоей быстроты!

Болельщики кисло улыбались скороспелым курдюмовским хохмам. Их симпатии окончательно перешли на сторону Тараса. Умница Тарас действительно создал непревзойденный шедевр кафедрального «звона». Дурак, сколько бы махорки у него ни было, обязательно всю раздаст ее другим. Значит, и Тарас обдумывал сейчас такой ход, после которого Курдюм вынужден будет отдать свои лишние пешки. Значит, фраза «как у дурака махорки» была сложным соединением высокого образца кафедрального «звона» и точной оценки шахматной позиции. Это было великолепно! Болельщики-мехматовцы замерли в предчувствии исполнения грозного тарасовского прогноза.

А Курдюм, впившись лихорадочным взором в расположение фигур, надеялся только на одно: спасение должно было прийти к нему из глубины его разнузданного, но все-таки могучего (как это признавали абсолютно все) математического интеллекта.

Первый раз в университет Курдюм пришел на математическую олимпиаду, еще будучи школьником. Он быстро обставил всех своих соперников, решив каждую задачу двумя, а то и тремя способами, а все остальное время, отведенное малолетним гениям на выявление своих способностей, про-

вел в коридоре кафедры физкультуры, с восхищением наблюдая за ее колоритными обитателями.

Потом Курдюм каждый год завоевывал призы на алгебраических, геометрических и даже астрономических турнирах, а в четырнадцать лет ему вообще надоело учиться в школе — он кончил за один год последние три класса и был принят на мехмат как исключительно одаренный в математических науках юноша.

В университете Курдюм тоже не задержался — каждый год он проглатывал по два курса и к семнадцати годам уже имел диплом об окончании высшего учебного заведения. Его приняли в аспирантуру, с которой он расправился довольно небрежно — всего за полгода. Но даже написание диссертации не пробудило в легкомысленном Курдюме серьезного отношения к своим необычным способностям, хотя уже в двадцать лет он стал доктором наук и почетным членом-корреспондентом какого-то старинного европейского академического общества. Курдюм был математиком, что называется, милостью божьей. С помощью сложной математической «бюрократии» ($a + b + c$ и так далее), небрежно жонглируя многостраничными уравнениями, Курдюм мог доказать все, что угодно, — любую нелепость. Ему, например, ничего не стоило в течение пяти минут легко убедить какого-нибудь бородатого профессора в том, что сумма углов в треугольнике гораздо больше ста восьмидесяти градусов, или в том, что параллельные прямые не только могут, но и просто обязаны пересекаться друг с другом, и даже быть перпендикулярными друг другу, не теряя при этом своей первоначальной невинной параллельности. И все было правильно: плюсы, минусы, интегралы, дифференциалы... И только очень опытные математики могли разоблачить Курдюма, найдя в многостраничном уравнении такое место, где почетный член-корреспондент европейского общества, как говорится, слегка «передернул»... В таких случаях Курдюм обычно говорил: «Плюс-минус трамвайная остановка», — и снимал, ухмыльнувшись, сразу все свои необычные доказательства.

Курдюм давно уже стал бы и настоящим академиком, если бы в его стремительную научную карьеру неожиданно не ворвалась весьма обыденная и банальная страсть. К огромному удивлению и огорчению всего университетского ученого математического мира, Курдюм вдруг оказался совершенно диким, необузданным, первобытным игроком. Причем во что бы он ни играл, его интересовал в первую очередь не конечный результат, а сам процесс игры, так сказать, неисповедимые пути судьбы-индейки, которая одних приводила к счастливому выигрышу, а других — к печальному проигрышу. Получая тайные сигналы из глубин своей гениальной натуры, Курдюм предпринимал дерзкую попытку познать законы азартных игр с помощью достижений высшей математики.

Он начал с карт. Тарас ввел молодежь в круг любителей преферанса и уже через два месяца растерял всех своих бывших партнеров: никто не садился играть против Курдюма, так как это было равносильно игре с электронным запоминающим устройством, в механической «голове» у которого находится загадочное беспроигрышное приспособление.

Курдюм перешел к шахматам и стал потихоньку мотовать признанных университетских корифеев. Тарас пытался было направить успехи Курдюма в шахматах по полезной линии, но у того не хватило терпения доиграть до конца ни один квалификационный турнир, и, таким образом, шахматные та-

ланты Курдюма официального признания не получили.

В дальнейшем Курдюм перепробовал все виды игры как таковой, начиная с номеров на автобусных, троллейбусных и всех прочих билетах городского транспорта и кончая ипподромом, где ему дали колоритное прозвище «Кулибин» — очевидно, за то, что он самоучкой постиг все тайные законы бегов. Одним словом, пройдя тернистый путь познания многообразной природы азартных игр, Курдюм остановился на древней, бесхитростной народной игре, именуемой в просторечье «подкидным дураком». Курдюм говорил, что его симпатии к этому состязанию вызваны тем, что «подкидной дурак» чрезвычайно точно соответствует той работе в области теории вероятностей, которой он был в последнее время занят, и, таким образом, является для него как бы необходимым практическим подспорьем, чем-то вроде лабораторной работы.

Постоянным соперником Курдюма в этих лабораторных занятиях был, разумеется, Тарас. Тарас и Курдюм играли в «подкидного дурака» исключительно один на один. Они садились друг против друга за шахматный столик и ставили сбоку турнирные часы с двумя циферблатами. Каждый имел перед собой длинную полоску чистой бумаги, на которой, как в шахматах, записывались свои ходы и ответы противника, а также особые комментарии, вызванные спецификой игры, — как, например, «бито», «принято» и т. д. Сдавалось по восемь карт (это правило ввел Курдюм), Тарас объявлял, что младший козырь у него, кощунственным жестом бросал на шахматные клетки какую-нибудь пиковую семерку или бубновую шестерку, включал нажатием кнопки часы противника, и новоизобретенное игрище начиналось по всем строго соблюдаемым правилам русского «подкидного дурака» (в отличие от японского, корейского и т. д.).

Игра велась так называемой большой колодой: то есть с двойками, тройками, четверками, пятерками и джокерами. Впоследствии Курдюм ввел в употребление новую суперколоду и даже ухитрился напечатать несколько экземпляров ее в какой-то малоизвестной типографии. Новая колода-модерн состояла уже не из 52 карт, как обычная, а из 72, так как в каждую масть Курдюм добавил по пять новых карт, а именно: после десятки шли «двадцатки», «тридцатки», «сороковки» и «полсотни», а после обыкновенного туза — еще один туз, старший. Теперь уже старый бубновый туз назывался «туз бубен младший», а новый — «туз бубен старший».

Курдюм пытался также к четырем существующим мастям (бубна, черва, пика и трефа) добавить еще две новые — красную «альфа» и черную «бета», но Тарас, голова у которого и так уже разламывалась от курдюмовских нововведений, решительно восстал против этих добавлений, и Курдюм, чтобы не потерять последнего партнера, вынужден был снять предложение об увеличении мастей.

Каждая серьезная партия в «дурака» продолжалась обычно час, а то и полтора (для тренировки, правда, Тарас и Курдюм гоняли иногда «блицы» по две-три минуты). Противники частенько попадали в жестокий цейтнот, просрочивали время, но потом, мая перед глазами весь записанный ход игры, тщательно анализировали перипетии борьбы и «крупнолезно» отыскивали те ходы, на которых кто-то из них «дал сок», или «выпал в осадок», или «лег на грунт», или «врезал дуба» и т. д.

Прослышав о карточных оргиях, которым предавался Курдюм, общественность математического фа-

культета призвала доктора наук к ответу. В середине выступления одного из свидетелей обвинения Курдюм неожиданно попросил слова. Оно было ему предоставлено. Курдюм быстро вышел на кафедру и прочитал собравшимся лекцию по одному из разделов теории вероятностей, в которой модернизированной суперколода из 72 карт была представлена на грифельной доске, висевшей за спиной обвиняемого, как некая сложная математическая функция, в которую последовательно включались и исключались следующие величины: «семерка пик», «десять бета», «валет бубен», «шестерка альфа», «король бета» и т. д.

Аудитория, которая в первую очередь являла собой математику, а потом уже грозную силу общественного воздействия, так заинтриговалась курдюмовской задачей, что первоначальная причина собрания как-то незаметно забылась. Профессора и доценты столпились около грифельной доски, кричали, шумели, спорили, размахивали руками. Курдюма обвиняли и в широте, и в узости, и в простоте, и в сложности, но общее резюме тем не менее было единодушным: для множественных рядов с постоянно взаимодействующими переменными задача Курдюма, построенная на не совсем обычных и даже несколько странных, но весьма убедительных аналогиях, представляла собой несомненный интерес.

Справедливости ради, забегаая вперед, следует сказать следующее. К тому времени, когда начались первые запуски искусственных спутников, Курдюм, уже забывший многие «невинные» шалости своей веселой математической юности, занимал довольно видное положение среди теоретиков, подготовивших расчеты орбит, систем управления, телевизионных каналов связи и автоматики. А ту самую сложную математическую функцию, которая впервые родилась на свет божий во время некоего общественного судилища и в системе доказательств которой встречались тогда еще такие странные величины, как «туз треф старший» или «дама альфа», эту сложную функцию, получившую теперь уже вполне пристойный вид, «причесанную» и очищенную от вульгаризмов, можно было найти во всех научных книгах, посвященных космическим полетам, под названием «теоремы Курдюма».

Итак, шахматная партия Тарас — Курдюм продолжалась. И в это время к первому подоконнику подошел Каган. Это была не менее могучая личность, чем Тарас и Курдюм.

Если бы такая машина, работающая пряжу из черного конского волоса, внезапно испортилась и ее механизмы начали бы беспорядочно сваливать в одну кучу все вырабатываемые узелки и кольца, то приблизительно минут через двадцать непрерывной деятельности эта машина смогла бы изготовить то, что носил на своей голове Каган. Буйное потребление его прически напоминало малоисследованные районы верхнего течения Амазонки, а может быть, даже первобытные джунгли на далеких западных плоскогорьях острова Ява.

Когда-то и Каган учился на мехмате. Но это было так давно, что теперь его помнили только очень пожилые академики. Не имея к университету в общем-то никакого прямого отношения, Каган тем не менее регулярно, практически каждый день, появлялся на кафедре физкультуры. Он где-то минимально преподавал математику, на каких-то курсах по повышению, а все остальное время посвящая составлению шахматных этюдов на поддавки. Каган

был фантастически предан торжеству чистой логической мысли и шахматам как ее наиболее яркому воплощению, но в области композиции, проявляя поистине дьявольскую изобретательность, упорно придерживался только тех идей и проблем, которые позволяли проигрывать как можно более красиво, быстро, логично и убедительно.

Подойдя к первому подоконнику, Каган, как любил говорить на кафедре физкультуры, «положил глаз» на позицию и несколько секунд с выражением крайней скуки рассматривал ситуацию на доске.

— У Курдюма элементарно плохо, — сказал наконец скрипучим голосом Каган. — Конь бьет с6, ферзь работает на е4, ладья а2, и нет спасенья от твоих объятий страстных. Курдюм сгорел, как швед под Полтавой. Аминь!

— Уберите от меня этого психа! — нервно закричал Курдюм и отпихнул Кагана от подоконника.

Но Каган снова придвинулся к шахматной доске и, щекоча лица болельщиков своей огромной папуасской шевелюрой, мрачно заявил, что ферзь должен работать только на е4.

Эти слова вывели Тараса из состояния полной коматозности, в которое он был погружен с момента убийства своей активной пешки курдюмовским белопольным слонем. Тарас внимательно посмотрел на Кагана и, положив ему на грудь свою могучую длань, молча отодвинул в задние ряды болельщиков. Но неугомонный Каган и оттуда продолжал подавать громкие реплики о ферзе, который должен работать на е4.

— То есть, Каган выдает здесь совершенно ублюдочные варианты, — вынужден был сделать заявление для болельщиков Тарас. — То есть, я играю абсолютно другой вариант. Слон а3 — чих!

Слово «чих» на языке кафедры физкультуры обозначало обыкновенный «шах». «Олимпиец» Тарас не зря так долго анализировал позицию: в расположении курдюмовских пешек мгновенно образовалась смертельная брешь. Курдюм пытался было наглым выходом короля навстречу тяжелым фигурам противника создать абсурдную ситуацию, но Тарас тут же перебросил обе свои ладьи на другой фланг.

— Матуй его, матуй! — закричал из задних рядов болельщиков нетерпеливый Каган. — Куда же ты уходишь к далекой бабушке?

— Сперва харчить легкий материал, — лаконично объяснил Тарас свой фланговый маневр.

Курдюм проигрывал с катастрофической быстротой. Он последовательно, как и обещал Тарас, потерял половину своих пешек.

— Клен ты мой опавший, — позволил себе наконец Тарас первую самостоятельную шутку.

Болельщики сочувственно захохотали, и Курдюм высокомерно сдлся.

С разгромом Курдюма шахматная толпа около первого подоконника распалась. Тарас и Курдюм отправились на лабораторные работы, то есть пошли играть в «подкидного дурака» по часам, Каган поехал сеять разумное, доброе, вечное на свои минимальные курсы по повышению, а Пашка Пахов, вполне удовлетворенный всеми услышанными во время шахматной игры разговорами, перешел ко второму подоконнику кафедры физического воспитания.

Расстояние между первым и вторым подоконниками было небольшое — всего несколько шагов, но разница между ними была огромная. Если первый подоконник олицетворял собой буйство логической мысли (стиль Курдюма), хотя и облеченной в форму шахматной игры (стиль Тараса), то второй подоконник ничего общего ни с одним видом рационально-

го мышления не имел, а, наоборот, был полностью эмоционален, являя, так сказать, романтическое, женское начало кафедры физического воспитания и спорта. Здесь собирались поклонники только двух видов спорта — волейбола и баскетбола, которые были представлены двумя постоянно действующими персонажами, а именно: Славкой и Нонкой.

Это были даже не просто постоянно действующие персонажи. Славка и Нонка если не дежурили на втором подоконнике круглосуточно, то во всяком случае первыми приходили сюда и последними уходили. Совершенно невозможно было понять, когда же они учатся. Славка кончала философский факультет, Нонка была аспиранткой химического факультета.

Славка считалась лучшей баскетболисткой университета. Это была стройная белокурая девушка с приятным, твердым лицом и красивыми серыми глазами. Она играла в первой сборной команде университета в нападении и отличалась быстротой, резкостью, напористостью и прыгучестью. От Славки вообще веяло чем-то нордическим, варяжским — холодным и сильным. За ней многие пытались ухаживать, но Славка презирала любовь и была безраздельно преданна только баскетболу и философии.

Нонка играла в волейбол. Она была старше Славки. Всю войну Нонка провела летчицей в женском авиаполку, имела много боевых наград и еще больше — ранений, и поэтому весной и осенью, когда начинали болеть старые раны, приходила на кафедру физкультуры прихрамывая, а иногда даже с палкой. На кафедре физкультуры Нонку называли «бабушкой русского волейбола».

Когда Пашка подошел ко второму окну, Нонка и Славка, как обычно, уже сидели на подоконнике, а внизу около них группировалась компания болельщиков человек в десять.

— Нонка! — выступил вперед один из болельщиков. — Ты видела в МАИ нового нападающего?

— Сапог, — презрительно сморщилась Нонка.

— А ты видела, как он поливает с обеих рук? Гвозди забивает!

— А пас? — ехидно спросила Нонка. — Есть у него пас, у этого гвоздильщика?

— Зачем ему пас, когда он до пупка над сеткой выпрыгивает? Ему всегда на удар выкинут.

— Ты бы помолчал, теоретик, — холодно сказала Нонка. — Вам бы только гвозди заколачивать да пупок над сеткой показывать. Где ты видел приличную команду без хорошего паса, а?

Зарвавшийся «теоретик» не нашелся что ответить на этот профессионально поставленный вопрос и ретировался.

— Колы, гвозди, клопшотсы, — недовольно ворчала Нонка, — одни будут на афишку играть, а другие за них пшенки по всей площадке подбирать. Это раньше так играли...

Слушатели, почувствовав, что Нонка настраивается на воспоминания, придвинулись к подоконнику ближе.

— Раньше, знаете, какие «кузнечики» были? — рассказывала Нонка. — Не только пупок — пятки противнику над сеткой показывали. Один Чинилин чего стоил. Зря, что ли, его «козлом» прозвали?.. Бывало, кэ-эк выпрыгнет, кэ-эк сложится назад пополам, да кэ-эк врежет! Только пыль столбом стоит! После его ударов мяч снова зашнуровывать приходилось.

— А он сейчас играет? — спросил кто-то из болельщиков.

— Сейчас не играет, — вздохнула Нонка.

— Почему?

— Руку ему на войне оторвало, — сказала Нонка и потрогала лежащую за спиной на подоконнике палку, которую она в тот день почему-то захватила с собой, хотя осень уже давно прошла, а до весны еще было далеко.

На третьем подоконнике физики-лыжники «звонили» по поводу предстоящего лыжного кросса. На физическом факультете были самые лучшие лыжники в МГУ, но первое место в прошлом году почему-то заняли пронирливые химики. На третьем подоконнике этот печальный факт объясняли тем, что накануне соревнований (буквально в ночь перед кроссом) химики изобрели совершенно новую мазь, в создании которой принимал участие якобы сам академик Несмеянов, бывший декан химического факультета, и что именно эта новейшая мазь и решила исход борьбы.

Пашка не стал задерживаться и возле четвертого подоконника, на котором проходило заседание бюро фехтовальной секции — и, кстати сказать, весьма своеобразно. Председатель секции, разложив справа и слева от себя ведомости по уплате членских взносов, одиноко и гордо сидел на подоконнике, а все остальные члены бюро, находясь на уровне колен председателя своей секции, стояли около подоконника.

Эта разница в «высоте положения» между председателем и членами бюро никого из постоянных посетителей кафедры физкультуры, конечно, не удивила бы. В те годы, о которых идет наше повествование, в старых корпусах университета на Моховой улице царила жуткая теснота: академики и лауреаты толпой, плечо к плечу, стояли возле приборов и электронных установок; признанные материалисты вынуждены были сидеть в одних комнатах с недобитыми идеалистами; стены одной и той же лаборатории зачастую вмещали в себя радетелей как органической теории происхождения жизни на Земле, так и неорганической, не говоря уже о том, что сторонникам учения академика Лысенко сплошь и рядом приходилось мыть пробирки под одним краном с вейсманистами и морганистами. В связи с этим коммунальный перенапряжением в старых корпусах Московского университета прочно вошло в привычку проводить комсомольские собрания на лестничных клетках, коллоквиумы — на чердаках или в подвалах, членские взносы собирать в гардеробе, а заседания всемирно известных научных кафедр порой проходили на запасных, черных и винтовых лестницах: председательствующий — профессор, глава кафедры, — сидел на железных ступеньках где-нибудь на третьем этаже, доценты на втором и на первом, а самые нижние чины кафедры, аспиранты, ютились в котельных, невольно посвящая в тайны своей науки коренных обитателей этих помещений — истопников.

Не задержался Пашка и около пятого подоконника, где верзила-самбист Леня Цопов с исторического факультета, имевший два прозвища — Бульдозер и Стегоцефал, — рассказывал о недавно закончившемся первенстве мира по самбо. Леня входил в сборную страны и только что вернулся из Парижа. На нем был убогомрачительный зелено-желто-беломалиново-голубой свитер.

Леня самозабвенно рассказывал о том, как он чуть было «коротко» не познакомился на Монмартре с одной невероятно шикарной девчонкой и как она приходила на все дни соревнований, в которые он работал на ковре, как они чуть было не «про-

швырнулись» с ней ночью по Елисейским полям и только чувство дисциплины заставило его отказаться от этой многообещающей прогулки. Леня врал красочно и выразительно, но его увлекательный рассказ никто не слушал. Все смотрели только на свитер, и, таким образом, великая жертва, которую Леня принес во имя торжества спортивной дисциплины над минутными увлечениями сердца, осталась никем не оцененной.

Не стал Пашка задерживаться и около шестого подоконника, где в застиранных брезентовых штормовках и тяжелых, как кандалы, горных ботинках стояли люди с лицами изможденными и суровыми от тягот походной жизни — туристы и альпинисты. Но около седьмого подоконника студент Пахомов остановился. Все дело было в том, что седьмой подоконник издавна считался местом сбора университетских футболистов и хоккеистов.

Из всех университетских футболистов Пашке Пахомову больше всего imponировал мастер спорта Лева Капелькин. Не существовало во всем мире спортсмена, который был бы ниже его ростом — Лева Капелькин был самым маленьким футболистом на всем белом свете. В университете Лева официально числился на юридическом факультете, но столько воды уже утекло с тех пор, когда он в последний раз засыпался на экзамене по историческому материализму, что считать себя студентом в этих запутанных обстоятельствах мог только такой выдающийся и жизнерадостный человек, как мастер спорта Лева Капелькин.

Пашка хотел постоять около седьмого подоконника подольше, но в это время кто-то тронул его сзади за плечо. Пашка оглянулся. Перед ним топтался биолог Люсьен, который, впрочем, охотно откликался и тогда, когда его называли просто Гаврилой.

— Здорово, — улыбаясь, протянул Люсьен Пашке руку.

Пашка тоже улыбнулся и пожал шершавую люсьено-гавриловскую ладонь.

— Пошли? — кивнул Люсьен головой в сторону дальнего конца коридора.

— Пошли, — согласился Пашка и, выбравшись из толпы приверженцев футбола, зашагал рядом с Люсьеном-Гаврилой, уже нигде не задерживаясь, в дальний конец коридора, где около последнего подоконника собиралась так называемая «хива» — самое демократическое и самое «дикорастущее» детище кафедры физического воспитания и спорта, ее запорожская сечь и кубано-урало-амуро-донская казачья вольница одновременно.

И пока Пашка Пахомов и Люсьен-Гаврила идут к последнему подоконнику, самое время дать некоторые объяснения по поводу происхождения термина «хива», который, конечно, никакого отношения к ныне здравствующему среднеазиатскому городу Хиве абсолютно не имеет.

...Впервые слово «хива» на кафедре физкультуры произнесла Нонка. Однажды часов в десять вечера Нонка шла со своего химического факультета мимо окон спортивного зала, выходящих на улицу Герцена. Окна были ярко освещены, в открытые форточки доносились крики яростной спортивной схватки, слышались характерные звуки дриблинга — ударов баскетбольного мяча по полу, когда кто-то из игроков ведет мяч рукой по площадке.

Нонка удивленно остановилась. Никаких официальных соревнований по ее сведениям — а Нонка знала расписание всех соревнований на кафедре физкультуры и спорта наизусть — сегодня быть не должно.

Тем не менее крики из окон и удары мяча по полу продолжали раздаваться, а топот ног игроков, напоминавший грохот копыт бизоньего стада, гонимого первобытными охотниками к обрыву, неуклонно нарастал.

Нонка, конечно, не могла позволить себе пропустить какое-либо университетское спортивное мероприятие даже в десять часов вечера. Обогнув здание старого клуба МГУ на улице Герцена, она прошла мимо молчаливой фигуры Михаила Васильевича Ломоносова со свитком-шпаргалкой в руке и поторопилась на кафедру физкультуры.

Взору ее представилось странное зрелище. По баскетбольному залу метались от кольца к кольцу несколько разноцветных и разношерстных личностей, одетых в майки, рубашки, свитеры, гимнастерки, трусы, шаровары, брюки, галифе (одна из личностей была облачена даже в нечто смахивающее на кальсоны).

Нелепые фигуры, сталкиваясь, падая, размахивая руками, цепляясь друг за друга ногами, усиленно делали вид, что играют в баскетбол. На самом же деле это было похоже на что угодно, только не на баскетбол. Мяч пересекал зал в самых разных направлениях, ударялся в потолок, стены, в спортивные снаряды, попадал в лица и головы играющих, а иногда, выпав из чьих-либо рук, просто катился по полу, и тогда игроки всей сворой тоже бросались на пол и, давя, лягая, царапая, а может быть, даже и кусая друг друга, продолжали свой дикий коллективный поединок уже в партере.

Время от времени кто-нибудь из сражающихся, напрягая до предела свои снайперские возможности, судорожно швырял мяч в сторону кольца. Игроки собачьими взглядами провожали бросок, а когда мяч, отскочив от стены, возвращался на площадку, всей кучей бросались на него, и псевдобаскетбольное побоище продолжалось.

Несмотря на то, что ни одно из существующих правил игры не соблюдалось, на площадке имелся даже судья. Это был аспирант экономического факультета Костя Хачатуров, страстный болельщик всех видов спорта вообще, и баскетбола в частности. Во рту у Кости воинственно торчал свисток, из которого он то и дело извлекал заливыистые трели.

...Мяч, непонятно каким образом вырвавшийся из общей свалки, ударился в щит и оказался в корзине.

Хачатуров засвистел и показал рукой, что мяч засчитывается.

— Двести шестнадцать на сто девяносто четыре! — торжественно объявил Костя счет.

— Сколько, сколько? — испуганно переспросила Нонка.

— Двести шестнадцать на сто девяносто четыре, — гордо повторил Костя.

Нонка задумалась. В нормальном баскетбольном матче счет обычно не превышал семидесяти—восьмидесяти очков...

— Сколько же они тут играют? — спросила Нонка.

— Четыре часа, — ответил Костя, — в шесть начали.

— Хива, — произнесла Нонка историческое слово.

— Что-что? — переспросил Хачатуров, словно предчувствуя, что присутствует при рождении великого термина.

— Хива, — многозначительно повторила Нонка, не утруждая себя разъяснениями.

— В каком смысле «хива»? — заинтересовался Костя.

— А в таком, — снизошла наконец до объяснений Нонка. — Разве это баскетбол? В бронзовом веке уже так не играли.

— Ну, это ты напрасно, — запротестовал Хачатуров, — ребята просто дико преданы баскетболу. А в секцию заниматься не пускают. Подготовочки, говорят, физической не хватает. Вот они и тренируются на общественных началах. Осваивают, как говорится, азы баскетбольной техники.

На войне Костя Хачатуров потерял руку. Путь в большой спорт по этой невеселой причине был закрыт для него навсегда. Но Костя до самозабвения — вплоть до забвения всех своих прямых аспирантских дел — любил все то, что так или иначе имело отношение к «малому» спорту, то есть спорту на общественных началах. Его хлебом не корми, но только поручи организовать какой-нибудь лыжный кросс первокурсников, или туристическую вылазку преподавателей, или шлюпочный переход аспирантов. Он был прирожденным организатором всякого спортивного процесса вообще, неукротимым общественником и бескорыстным педагогом одновременно и всегда охотно судил всякие дворовые игрища и первенства, помогал доставать бесплатный спортивный инвентарь или безвозмездно арендовать стадионы и бассейны для всевозможных студенческих соревнований.

3.

Пашка Пахомов приобщился к «хиве» три года назад, в середине первого курса. Тогда он был на распутье — крутая метаморфоза, которая стряслась с бывшим школьным отличником и золотым медалистом Павликом Пахомовым на границе средней и высшей школы, неожиданно забросившим занятия и лекции, раскручивала Пашку в совершенно неведомом даже ему самому направлении. Он поругался с однокурсниками, рассорился с лучшим своим другом комсоргом группы Тимофеем Головановым. Его тут же обвинили в противопоставлении личности коллективу — формулировка Тимофея Голованова — и начали прорабатывать и склонять на собраниях. Вокруг Пашки образовалась пустота.

На первом курсе, посещая академические занятия по физкультуре, готовясь вместе с однокурсниками к сдаче норм ГТО, Пашка впервые обнаружил существование на кафедре физического воспитания и спорта особых, ни на кого из его однокурсников не похожих людей. Здесь не было разделения студентов на курсы и факультеты, а такие слова, как, например, «лекция» или «семинар», вообще произносились очень редко. Студенты, аспиранты, преподаватели, доценты и даже доктора наук (Курдюм, например), сидели рядом на подоконниках, непрерывно острили, хохотали над каждой удачной шуткой, играли друг с другом в шахматы, «обзаванивали» всюю своих противников, не обращая никакого внимания ни на разницу в возрасте, ни на то, что ты, скажем, всего лишь навсего второкурсник, а напротив тебя сидит за шахматной доской почтенный член-корреспондент, давно уже избранный в какую-нибудь королевскую академию.

Здесь обо всем на свете спорили только на равных, не признавали никаких авторитетов, не давили степенями и званиями, охотно выслушивали заведомые парадоксы. Здесь можно было высказать любую мысль, даже самую нелепую, и никто не называл бы ее несостоятельной сразу, а корректно и вежливо был бы произведен подробный анализ твоего поспешного умозаключения, и молодой, здоровый научный задор был бы отделен от нездорового

вой наукообразной шелухи, и первый — одобрен, а вторая — осуждена.

Здесь горячо обсуждались самые жгучие проблемы современной физики, химии, биологии, истории, географии, геологии, математики, философии, филологии, и от этого казалось, что в узком коридоре кафедры физического воспитания и спорта на его длинных деревянных подоконниках сосредоточен весь огромный современный мир со всеми его жгучими и нерешенными проблемами.

И Пашка, рассорившись с однокурсниками и даже с Тимофеем Головановым, целиком перекочевал на кафедру физкультуры. «Хива» приняла его в свое лоно дружелюбно и на равных началах.

Со временем Пашка, конечно, примирился и с однокурсниками и с Тимофеем Головановым, но принадлежность и привязанность к «хиве» осталась неизменной и постоянной.

...В тот день, с которого началось наше повествование, «хива», как обычно, сложив на последнем подоконнике портфели, книги и конспекты лекций, гоняла мяч в баскетбольном зале. И, как всегда, судьей этого дикого игрища был Костя Хачатуров. Пашка и Люсьен-Гаврила мгновенно подключились к поединку и были введены в состав одной из команд.

К началу третьего часа игры счет перевалил (как это часто бывало) за двести очков. Привлеченные беспорядочным топотом ног, громкими криками, взрывами смеха и непрекращающимся весельем в зале, постепенно начали накапливаться всякие случайные зрители, для которых доступ на все «дикие» сражения «хивинцев» — в отличие от тренировок клубных университетских команд — был всегда абсолютно свободен.

Потом стали собираться и постоянные обитатели кафедры физического воспитания. Первым в зал вошел Лева Капелькин. Потом появился в своем зелено-желто-бело-малиново-голубом свитере Леня Цопов. Владелец выдающегося трикотажного изделия, несмотря на то, что входил в сборную страны по борьбе, испытывал к «хиве» некое снисходительное расположение — не увенчанные разрядами, но страстно преданные спорту «хивинцы» напоминали ему его спортивную юность.

Опираясь на палку, в зал вошла Нонка, сразу же за ней прибыли Тарас и Курдюм. Последней в зале появилась стройная и белокурая Славка. И тут же все сразу поняли, что не пройдет и двух минут, как в зале окажется Валера — лучший баскетболист университета, мастер спорта по легкой атлетике.

Валера влетел вслед за Славкой не через две минуты, а через две секунды. Вместе с ним в зал вошли Федот, Хрусталева и Барашкин — коллеги Валеры по баскетбольной команде мастеров МГУ. Это все были высокорослые, атлетически сложенные ребята с разных факультетов университета: Федот был биологом, Хрусталева — мехматовцем, Барашкин числился на химфаке, но самой выдающейся фигурой среди них, несомненно, был Валера.

Валера обладал выдающейся спортивной фигурой и в прямом, физическом смысле слова. Представь себе на мгновение мраморного микеланджеловского Давида, стоящего на первом этаже Музея изобразительных искусств в Москве в углу возле лестницы. Оденьте его мысленным взором в трусы, майку и баскетбольные кеды, вдохните в него жизнь, и перед вами возникнет Валера — лучший баскетболист университета, аспирант физического факультета, безнадежно влюбленный в Славку, в нордически недоступную, по-варяжски холодную, стройную, как газель, сероглазую, белокурую и невозмутимую Славку.

Познакомившись со Славкой в первые дни ее поступления в университет на философский факультет, Валера — он был тогда уже на третьем курсе физфака, — к всеобщему изумлению, немедленно бросил легкую атлетику и тут же переключился на баскетбол. За два года он добился невероятных успехов, проделав путь от новичка до команды мастеров, но гордой и недоступной Славки Валера добиться так и не смог. На пылкого, «полумраморного» Валеру она не обращала вроде бы никакого внимания. Валера мрачнел, худел, все лучше и лучше играл в баскетбол и, не теряя все-таки последней надежды, постоянно преследовал Славку.

...Первым оценил создавшуюся в зале лирическую ситуацию Лева Капелькин. Обведя взглядом всех игроков и зрителей, Лева уставился наконец в ту сторону, где около шведской стенки, возле вытанувшей струной белокурой Славки нежно громоздился несчастный греческо-римский Валера.

— Кончай игру! — закричал Лева Косте Хачатурову, выскакивая на середину зала. — Давай свисток! Есть гениальное предложение — матч века! «Хива» против мастеров.

— «Хива» устала, — мрачно сказал Костя Хачатуров.

— Тогда я за «хиву» выйду, — выдвинул Лева на всеобщее обсуждение следующую часть своего плана. — Кто со мной против мастеров встанет?

— То есть, конечно, я, — тут же отозвался Тарас.

— И я, — встал рядом с Тарасом Курдюм.

— И я, — медведем шагнул вперед верзила Леня Бульдозер.

— Так, четверо уже есть, — констатировал Лева, — нужен пятый.

Он посмотрел на собственно «хиву», устало толпившуюся вокруг Кости Хачатурова.

— Одного человека можете выделить? — обратился Лева к «хивинцам». — Ну, кто самый смелый?

— Пускай Пашка Пахомов попробует, — неуверенно сказал Костя Хачатуров. — Он сегодня лучше всех играл.

— Идешь к нам, Пашка? — спросил Лева.

Пашка не верил собственным ушам. Его, рядового «хивинца», зовут играть в одной с ним команде сам Лева Капелькин, великий Лева Капелькин. И в какой команде! Где будут сразу трое мастеров спорта — Тарас по шахматам, Леня Цопов по борьбе, Лева по футболу, да еще Курдюм — общепризнанный гений математики.

А против кого они будут играть? Против первой сборной МГУ, против Федота, Хрусталева и Барашкина, а главное — против самого Валеры, который всегда был Пашкиным идеалом, Пашкиным кумиром, недостижимой и неосуществимой Пашкиной мечтой.

Задохнувшись от счастья и проглотив подошедший к горлу комок, Пашка молча подошел к Лева и преданно встал рядом.

Между тем первая сборная — Федот, Хрусталева и Барашкин — не только не выражала никакой готовности встретиться с вновь организованной командой (болельщики тут же окрестили ее «ню-хивой»), но вроде бы даже и не замечала никаких Левиних организационных усилий по подготовке «матча века».

Но не таким человеком был Лева Капелькин, чтобы, начав какое-то дело, оставить его незаконченным. Лева подошел к Валере, извинился перед Славкой и, обращаясь непосредственно к лидеру первой сборной, спросил его в упор:

— Будете с нами играть?

— С кем это с вами? — неохотно повернулся к Лева Валера.

— С «хивой».

— С «хивой»? — удивился Валера. — А зачем?

— Матч века, — объяснил Лева, — «хива» против мастеров. Два тайма по десять минут. Даете нам двадцать очков форы.

— Нас только четверо, — попытался отвязаться от Лева Валера, — неполный состав.

— А вы Славку возьмите пятой, — подмигнул Лева Валера.

— Славку? — еще более удивился недогадливый Валера. — Но ведь она...

Он хотел было произнести слово «женщина», но хитрый Лева, перебив его, обратился прямо к Славке:

— Слава, сыграешь за мастеров?

— С какой это стати я с мужиками буду ломаться? — пожалла плечами Славка. — Убьете еще. Один Ленка-Бульдозер чего стоит. Толкнет плечом — и ничего от меня не останется.

И тут сработала главная идея глубоко задуманного Лева плана.

— Славочка, — гордо выпрямился Валера, — давай сыграем вместе. Никто тебя не только плечом — пальцем не тронет. Я лично за это отвечаю.

Перспектива защищать Славку от опасности и целых двадцать минут находиться в непосредственной близости от нее полностью захватила Валеру. Возможность сразиться с верзилкой-самбистом Ленкой Цоповым сильнейшим образом увеличила его шансы в ухаживаниях за Славкой. Безответной Валериной любви судьба в лице Лева Капелькина предоставляла счастливый случай продвинуться вперед к успеху и добиться хотя бы небольшой взаимности. Валера с благодарностью посмотрел на Лева, и сердце маленького футболиста сжалось от радости: план его, кажется, приближался к осуществлению.

— Играть предлагается на двенадцать бутылок пива, — выдвинул Лева последний аргумент. — Если через двадцать минут, то есть к концу второго тайма, счет будет в вашу пользу, — пиво ваше, если не отыграете фору — пиво наше.

— Ребята! — крикнул Валера Федоту, Барашкину и Хрусталеву. — «Хива» хочет выставить нам дюжину пива. Просит двадцать очков форы и предлагает, чтобы за нас играла Славка!

Федот, Барашкин и Хрусталев отвесили в сторону Славки галантный полупоклон, как бы давая этим понять, что принимают ее в свои ряды.

— Ладно, согласна, — тряхнула белокурой головой Славка. — Пойду переоденусь.

И, сопровождаемая возбужденным гулом болельщиков, пошла в женскую раздевалку.

Известие о великом баскетбольном поединке между мастерами и «хивой» с быстротой молнии облетело все старое университетское здание на Моховой улице. Из библиотек и читальных залов, из аудиторий и научных кабинетов спешили на кафедру физкультуры и спорта все новые и новые толпы болельщиков и зрителей. Зал, где должно было произойти неповторимое состязание, был забит до отказа.

Судить поединок взялся Костя Хачатуров, Нонке было поручено вести протокол встречи — фиксировать изменения в счете и полученные игроками штрафные замечания. Серьезная и важная Нонка торжественно восседала за принесенным откуда-то маленьким судейским столиком.

Когда в зал вошла Славка, все ахнули от удивления — до того красива была она в своей белоснежной спортивной форме. Майка плотно обтягивала круглые Славкины плечи. На белых полотняных трусах были заглажены спереди и сзади острые стрелки. Упомянутой прямой и стройности Славкины ноги были облачены в элегантные белые носки и такие же белые баскетбольные кеды. Великий скульптор итальянского Возрождения Микеланджело Буонарротти, пожалуй, совсем не ошибся бы, если бы одновременно со своим Давидом изваял из мрамора и прекрасную Славкину фигуру, которая могла стоять рядом с Давидом как на центральной площади города Флоренции, так и в Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Словно бы исправляя допущенную Микеланджело оплошность, Славка подошла к первой мужской сборной команде МГУ и встала рядом с Валерой. Зал замер в немой паузе. Стоящие друг возле друга Валера и Славка на самом деле были похожи на воплощенную мечту великих скульпторов всех времен и народов об идеальной человеческой паре.

Раздался свисток Кости Хачатурова, и великое состязание «хивы» и мастеров началось. Мяч, конечно, сразу оказался у мастеров, Федот, не глядя, откинул его Хрусталеву, Хрусталев, тоже не глядя, подбросил мяч вверх к стороне щита Левиной команды, над штрафной площадкой «хивы» взвилась вверх фигура Валеры, и лидер первой сборной забросил мяч в корзину.

Зал взорвался аплодисментами.

— Лева, готовь пиво! — крикнули из толпы болельщики.

Теперь игру от своего кольца начала «хива». Лева, собрав всех игроков в кружок, долго и многозначительно объяснял им что-то шепотом. Точно выполняя Левины инструкции, два великана, Тарас и Ленка-Бульдозер, поперли напрямик от своего кольца к щиту мастеров. Курдюм в это время метался с вытаращенными глазами и растопыренными пальцами в штрафной площадке мастеров.

Лева Капелькин немного пробежался дриблингом. На него напал Хрусталев. Но Лева недаром был мастером спорта по футболу. Он ловко увернулся от Хрусталева и закрыл мяч корпусом. За Пашкой Пахомовым должна была следить Славка, но она почувствовала себя еще не совсем уверенно среди огромных мужских рук, плеч и спин, и Пашка Пахомов на мгновение оказался свободным от опеки. Этим тут же воспользовался хитрый Лева Капелькин. Он послал Пашке молниеносный пас. Пашка поймал мяч, подпрыгнул и направил бросок в корзину мастеров.

— Ура-а! Ура-а! — завопили болельщики и зрители. — Дави мастеров! Молодец, Пашка! Валера, готовь пиво!

Пашка, бывший на седьмом небе от счастья, мчался обратно к своему щиту. И вдруг среди радостных и веселых болельщиков он увидел хмурое и озабоченное лицо своего группомсорга Тимофея Голованова. «Ага, — подумал Пашка, — и Тимоха выполз из своего любимого читального зала, не удержался. И его захватило. И что же он увидел? Как его друг Павел Пахомов, которого он, Тимоха, ругает на каждом собрании, играет среди сплошных мастеров спорта».

Первая сборная между тем, раздраженная нахальством «хивинца» Пахомова, пошла в ответную атаку. Три передачи, и Валера, сделав от центрального круга два огромных шага, рванул вверх в неимоверном прыжке к щиту соперников. Пролетев по воздуху чуть ли не половину всего зала, Валера точно вышел под кольцо и заработал два очка.

Это, безусловно, был выдающийся мяч. Такое можно было увидеть только на больших соревнованиях — на первенстве Москвы, например. И зал, не смотря на то, что девяносто процентов зрителей болело за «хиву», наградил Валеру взрывом восторженных криков и аплодисментов.

Мастера снова сократили фору на два очка, но хитроумный Лева тут же предпринял ответный демарш.

Тарас и самбист-тяжеловес Леня оттеснили своей массой от щита игроков противника, и Лева, нырнув в образовавшееся пространство, забил мяч в кольцо мастеров.

Это была уже настоящая сенсация. «Нью-хива» на равных играла с мастерами! Зал недоуменно гудел. Мастера разозлились. За две минуты Федот, Барашкин и Хрусталева, разыграв несколько молниеносных комбинаций, забили «хиве» подряд три безответных мяча.

Левина команда начала нервничать. Курдюм несколько раз выронил мяч из рук, хотя на него никто не нападал. Тарас, споткнувшись на ровном месте, растянулся на полу под веселый хохот зрителей во весь свой огромный рост.

Мастера начали атаку. Барашкин и Хрусталева, передавая мяч друг другу мелкими пасами, красиво и ловко двигались почти плечом к плечу к щиту «хивы». Самбист Леня, будучи не в силах выдержать это обидное зрелище, ринулся на них и уложил на пол обоих.

— С поля Стегоцефала! — заорали возмущенные болельщики. — Долой Бульдозера! Гнать его в шею! Эта дубина нам всех мастеров перекалечит!

Лева Капелькин совсем приуныл. «Хива», даже «нью-хива», все-таки оставалась «хивой», а мастера — мастерами. С Тараса пот лил в три ручья. Курдюм давно уже «вешал лапшу». В Левиной команде оказывать хоть какое-то сопротивление противнику могли только он сам, Лева Капелькин, и Пашка Пахомов.

— Пашка, — свистящим шепотом заговорил Лева, — неужели мы просто так, за здорово живешь, отдадим им такую фору? Надо играть, Пашка! Надо ложиться костями!

Лева отдал Пашке пас, но перед Пашкой, как молния, сверкнула греческо-римская фигура Валеры, который, перехватив адресованный Пашке мяч, уже неудержимо мчался к их кольцу.

— Держите его! — отчаянно закричал Лева. — Что же вы стоите, как вареные?

Валера взметнулся вверх в своем знаменитом прыжке. Мгновенно оценив ситуацию, он увидел, что все девять игроков обеих команд столпились под щитом и только десятый игрок — Славка — стоит, никем не прикрытая.

И вместо того, чтобы самому забрасывать верные два очка, Валера откинул мяч Славке. И Славка, изогнув в талии белоснежную и стройную свою фигуру, бросила мяч женскими руками в кольцо мужской команды и под гром аплодисментов всего зала точно попала в корзину.

На Леву Капелькина страшно было смотреть. Лицо его пылало гневом. Благородная инициатива — свести Валеру и Славку в одной команде — оборачивалась теперь против него ужасным унижением его личного спортивного честолюбия.

— Кто Славку держит? — заорал Лева на своих игроков. — Почему она свободно по всему полю гуляет? Не хватало нам еще Славке проигрывать, да?

— Я Славку держу, — упавшим голосом признался Пашка Пахомов.

— Так держи ее плотнее! — рявкнул Лева Капелькин. — Не отходи от нее ни на шаг! Приклейся к ней! Мужик ты или повидло?

Это был горький, а главное — совершенно незаслуженный упрек. Весь зал видел, что Славка забила мяч не потому, что Пашка плохо держал ее, а потому, что прыгучий и ловкий греческо-римский Валера подарил ей эти два очка из собственных рук. Но тем не менее обидный упрек в том, что он, Пашка, мужчина, играет хуже Славки, женщины, был брошен публично, во всеуслышанье.

От Славки пахло духами и еще бог знает чем — женским, кружащим голову. У Пашки рябило в глазах, подкашивались ноги, когда он видел туго обтянутую майкой Славкину грудь, стройную спину и пушистые белокурые завитки волос на шее. Но с какой бы стороны ни пробовал Пашка подступить к Славке, его постоянно встречало то правое, то левое Валерино плечо. Валера то нападал на Пашку и незаметно, в рамках правил, бил его резким движением плеч в грудь и спину, то вставал на пути Пашки к Славке, и Пашка, бессильно тыкаясь в него своими худыми ключицами, непрерывно испытывал боль от постоянных столкновений с Валерой.

И Пашкой постепенно овладело какое-то новое, неизвестное ему раньше чувство. Неожиданно он поймал себя на мысли о том, что голова его гораздо больше, чем Славкой, занята непосредственно самим Валерой, великим и неподражаемым Валерой.

И Пашке вдруг захотелось стать лучше Валеры. Не в том смысле, чтобы быть физически сильнее его, — этого просто не могло произойти. Пашке вдруг захотелось доказать всем, что он может стать не таким, каким он был вот в эти самые последние секунды — нелепым, неуклюжим «хивинцем», жалко тыкающимся в плечи Валеры, не умеющим удерживать на баскетбольной площадке даже Славку, женщину, хотя и белокурую, хотя и белоснежную, но все-таки женщину.

Слово «повидло», произнесенное Левою Капелькиным в азарте игры, от горечи надвигающегося поражения, вдруг отбило в Пашкином состоянии какую-то границу, какую-то черту, которую ему захотелось немедленно переступить.

Пашка не желал быть больше «повидлом», ему не хотелось быть больше «хивой» — жалкой и бесправной «хивой», ютящейся на последнем подоконнике кафедры физического воспитания и спорта. Пашке вдруг захотелось стать лучше самого себя.

— Лева! — громко закричал Пашка неожиданным для всех ломающимся басом. — Неужели мы просто так, за здорово живешь, отдадим им такую фору? Играть надо, Лева! Костями надо ложиться!

Пашка прошел от своего кольца несколько метров дриблингом и вдруг, неожиданно ускорившись и невольно, не осознавая еще этого, подражая Валере, сделал два разрешенных правилами больших шага и рванулся вверх в прыжке — конечно, не в таком мощном и высоком, как Валерин прыжок, но рванулся.

Мастера, не ожидавшие от Пашки такой прыти, тоже рванулись к нему, но было уже поздно. До летев почти до самого щита Валериной команды, Пашка взмахнул рукой, и мяч оказался в корзине.

Зал взорвался аплодисментами.

— Ура, Пашка, ура-а! Дави мастеров!

Мастера начали игру со своей половины. Мяч попал к Славке. Привыкшая к близости Пашки около себя, Славка неуверенно оглянулась по сторонам и не очень сильно бросила мяч в ту сторону, где стоял Валера.



Пашка, как метеор, кинулся наперехват. Опередив на какую-то долю секунды Валеру, не догадывавшегося даже о том, что Пашка Пахомов обладает такой стартовой скоростью (а никакой стартовой скоростью Пашка не обладал, просто дух окреп в нем, проснулось самолюбие), Пашка поймал мяч перед самым лицом лучшего игрока университета, взметнулся под кольцом и точно положил мяч в корзину.

В спорте иногда так бывает: то, что сначала получается у одной команды, потом начинает получаться только у другой. Удача, сопутствовавшая мастерам, переметнулась на сторону «хивы». И лидером «хивинских» атак единолично сделался Пашка Пахомов. Вся «хива» играла теперь только на него, Пашка забил еще два мяча. Зрители и болельщики неистовствовали, бесконечно скандируя Пашкины имя и фамилию. Мастера недоумевали — никогда еще им не приходилось видеть, чтобы в течение одного тайма так резко изменился класс игры одного и того же человека.

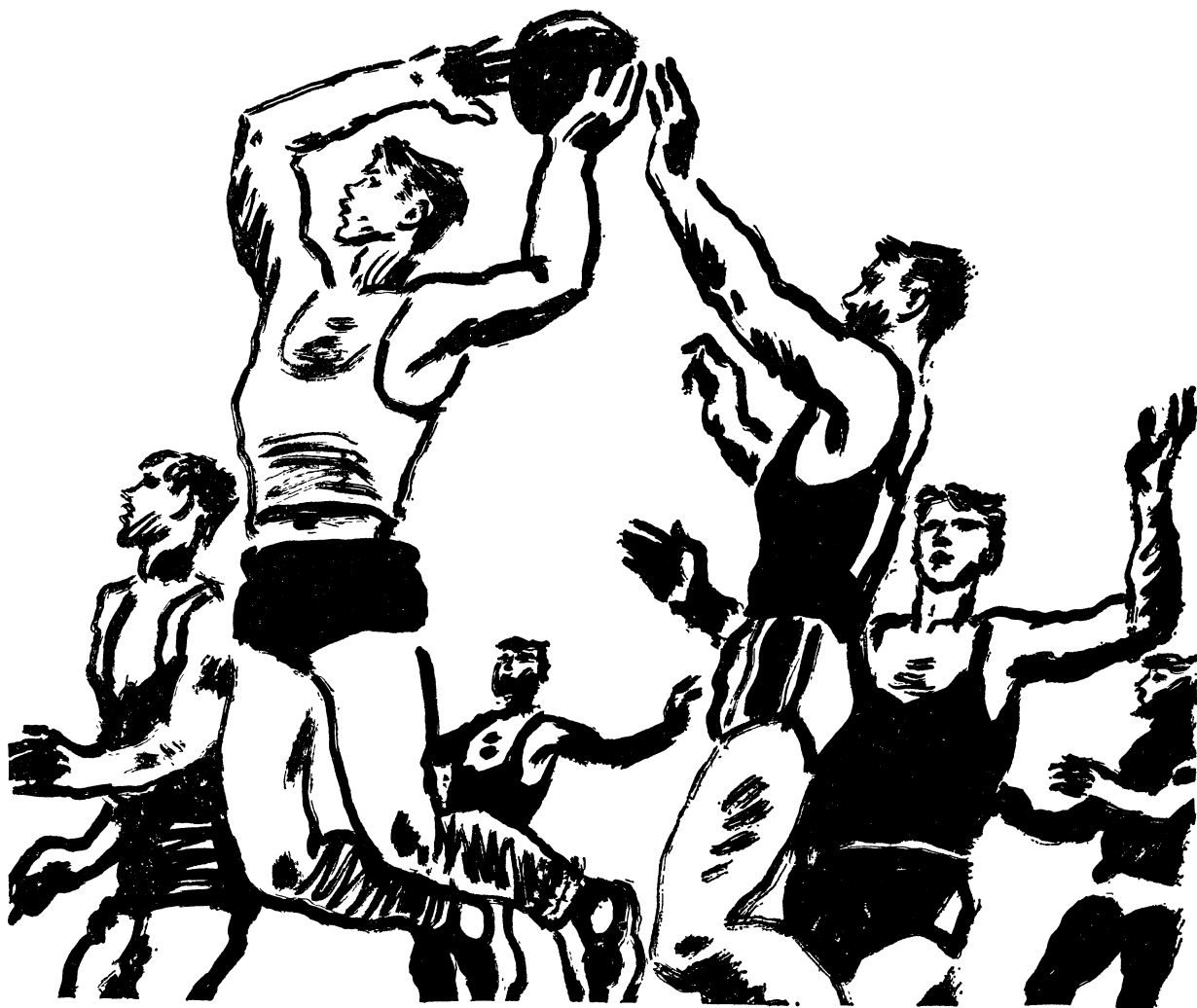
Фора выросла до восемнадцати очков. Растерявшаяся Славка изо всех сил пыталась держать Пашку, бегала за Пашкой по всей площадке. Серые Славкины глаза и белокурые волосы порой находились всего в нескольких сантиметрах от Пашки,

сердце которого чуть было снова не дрогнуло от тайной влюбленности в Славку.

Но в этот день в душе Пашки Пахомова родился настоящий спортсмен. Он отогнал чувства, в очередной раз обвел Славку и хотел было уже бросить мяч по кольцу, но в это время раздался свисток судьбы Кости Хачатурова. Первая половина «матча века» окончилась. Был объявлен пятиминутный перерыв между таймами.

В перерыве все только и делали, что говорили о Пашке. Фамилия его была у всех на устах. Было совершенно ясно, что в университете появился новый классный баскетболист... Вот вам и «хива»! Вот вам и бессистемные тренировки под руководством рыцаря печального образа на общественных началах Кости Хачатурова. Вот вам и «дикие» многочасовые игры, которые так любили осуждать штатные тренеры клубных команд. Был, оказывается, смысл во всех этих бессистемных тренировках, во всех этих «диких» многочасовых играх, если вырос в «хиве» такой игрок, как Пашка Пахомов, сумевший забить пять мячей подряд мастерам?

Да, Пашка действительно был героем первой половины матча «ню-хивы» с мастерами. Он сидел



в раздевалке, и вся команда — Курдюм, Леня Цопов, Тарас и Лева Капелькин — с удивлением разглядывали его, будто видели первый раз в жизни.

— Ты вообще-то не устал, Пашка? — озабоченно спросил Лева. — Все-таки два часа перед этим гонял, а?

— Нисколько, — храбрился Пашка. — Я чем больше играю, тем меньше устаю.

Все заулыбались. Пашка был младше всех, и поэтому хвастовство его было понятно и всеми оправдывалось.

— То есть я совершенно точно считаю, что сегодня у Пашки звездный день, — глубокомысленно изрек Тарас.

— А ты, лоб здоровый! — напустился на Тараса Лева Капелькин на правах капитана. — Не мог, что ли, Валеру пару раз прихватить, чтобы он своими козлиными прыжками не красовался?

— Прихвачу, — пообещал Тарас, — во втором тайме обязательно прихвачу.

— Теперь задача для Курдюма, — повернулся к нему Лева. — Толку от него сегодня в игре было как от козла молока. Больше мешал, чем помогал. Поэтому во втором тайме Курдюм должен будет следить за всеми мячами, которые окажутся на по-

лу... Как только увидишь, что мяч уронили где-нибудь на пол, так сразу беги туда и ложись на него, чтобы мастерам не достался. А в остальное не вмешивайся, понял?

Доктор наук радостно согласился со своим новым амплуа — вести борьбу за мяч только на полу.

— Ну, вот вроде бы и все, — подвел итоги Лева. — Держитесь крепче, ребята! Ведь дело же не в двенадцати бутылках пива, правда? Характер надо показать, волю, выдержку! Сумели же мы у них первый тайм выиграть? Почему бы и второй не выиграть?

В коридоре заливался свисток судьи Кости Хачатурова, вызывавшего команды на второй тайм.

— Пошли, — коротко сказал Лева, и «нью-хива» двинулась из раздевалки.

В коридоре, у входа в зал, Пашку окликнул Тимофей Голованов.

— Здравово! — дружелюбно улыбнулся Тимофей.

— Здравово, — сдержанно ответил Пашка.

— Играешь ты сегодня как бог! — восхищенно сказал Голованов.

— Благодарю за внимание, — усмехнулся Пашка. — Чем обязаны вашему присутствию в столь несерьезном месте, как кафедра физкультуры?

Тимофей Голованов внимательно посмотрел на Пашку.

— Да, играешь ты сегодня как бог,— задумчиво повторил Тимофей,— а вот ни на одной лекции не был.

— Ладно,— поморщился Пашка,— смени пластинку, надоело.

Ему было просто смешно слушать сейчас Тимофея. Он, Пашка Пахомов, показал сегодня игру высочайшего класса, о нем говорит весь университет, и в этот торжественный день вдруг появляется зануда Тим Голованов и начинает читать ему нотации.

— Если говорить откровенно,— серьезным голосом начал Тимофей,— то я пришел сюда совсем не случайно. Я искал тебя.

— Ну, вот нашел. И что дальше?

— Завтра у нас будет комсомольское собрание. Явка обязательна.

— Буду,— коротко пообещал Пашка.

— Собрание назначено на восемь часов утра...

— Зачем в такую рань-то?

— После девяти часов нет ни одного свободного помещения.

— Пашка! Пахомов! — закричал, выскакивая из зала в коридор, Лева Капелькин. — Ты где? Иди скорее, там без тебя не начинают!

— Иду! — отозвался Пашка. — Иду!

Он снисходительно посмотрел на строгого и серьезного Тимофея, и ему вдруг стало жалко друга: вот ведь педант, не поленился прийти на кафедру физкультуры, которую он искренне ненавидел, чтобы предупредить комсомольца своей группы Пахомова о том, что собрание назначено на восемь часов утра.

...С самых первых минут второго тайма игра пошла не по тому стратегическому плану, который нарисовал «ню-хиве» в раздевалке Лева Капелькин. В первом тайме мастера хотели порезвиться, поразвлекаться с «хивой», но неожиданная игра Пашки Пахомова поставила под угрозу их репутацию. Теперь требовалось срочно восстановить авторитет первой сборной. И мастера вышли на поле совершенно новой командой. Во-первых, была посажена на скамейку Славка, а во-вторых, никто не позволял себе уже никаких вольностей и красивых прыжков. Мастера действовали как хорошо налаженный, четкий механизм: три-четыре передачи, кто-нибудь выскакивал на свою любимую «точку», получал пас и точным, почти автоматическим броском посылал мяч в корзину «хивы».

Первая сборная не показала во второй половине ни одного индивидуального приема. Игра ее строилась на академическом коллективизме и сухом практицизме, и счет матча неудержимо менялся. К началу шестой минуты фора была уже полностью ликвидирована. Болельщики, по дилетантскому своему недомыслию ценившие в баскетболе только красивое индивидуальное мастерство и личный романтизм каждого игрока — стиль Пашки Пахомова, — сдержанно приветствовали успех первой сборной.

Несколько раз срывал аплодисменты Курдюм. Доктор наук, не проявлявший никакого интереса к мячу, пока он находился в руках игроков, зорко следил за всеми падениями мяча на пол. И как только он, выпав из чьих-либо рук, оказывался на полу, Курдюм стремительно, головой вперед бросался под ноги игроков, накрывая мяч своим телом. И это дало повод болельщикам для разговоров о том, что Курдюм, занимаясь с младенческих лет высшей математикой, по всей вероятности, совершенно напрасно сгубил свою молодость на алгебраические формулы и уравнения. Из него мог бы получиться весьма неплохой регбист.

Пытались повлиять на ход «матча века» своими мамонтообразными фигурами и Тарас с Ленией-Буль-дозером. Забыв все наставления Левы Капелькина, они, легкомысленно оставив без защиты свое кольцо, пытались забросить в корзину противника несколько мячей.

Но аспирант Валера не дал Тарасу и Лене Цопову ни малейшего шанса изменить счет. И борец-верзила не выдержал Валериного успеха и позора своей команды. Улучив момент, он сделал попытку бросить Валеру через бедро, но Валера что-то такое сделал с ногой и рукой Лени Цопова одновременно, в результате чего Леня-Стегоцефал сам полетел в толпу болельщиков под оглушительный хохот последних.

Это было началом конца. Рассвирепевший Буль-дозер кинулся на Валеру. Барашкин и Хрусталеv, надеясь спасти жизнь лучшему баскетболисту университета, бросились оттаскивать Цопова от Валеры. Неожиданно Лева Капелькин, издав воинственный клич, в котором была вся горечь поражения, как пантера, прыгнул с разбега на спину Барашкина. Федот пытался стащить Леву, но «олимпиец» Тарас, решив не давать в обиду маленького футболиста, оттолкнул Федота. В живот Тарасу врзался Хрусталеv, которого немедленно атаковал Пашка Пахомов.

И тут-то Курдюм, задумчиво наблюдавший всю сцену со стороны, бросился в ноги динамичной скульптурной группе, и вся «ню-хива» вместе с мастерами завалилась на пол.

Рыцарь на общественных началах Костя Хачатуров отчаянно свистел в свой свисток, Нонка стучала в пол палкой, Славка требовала вызвать милицию. На поле хлынули болельщики, и противоборствующие стороны были, наконец, расцеплены и разведены каждая под свое кольцо.

Мастера, не пожелавшие больше иметь с дикой «хивой» никаких дел, высокомерно отказались от выигранных двенадцати бутылок пива и гордо покинули зал.

Уже в дверях их догнала Славка и носовым платком вытерла пот со лба изрядно помятого в столкновении греческо-римского Валеры.

Валера обнял Славку, Славка положила голову на Валерино плечо, и на глазах замерших от удивления зрителей и болельщиков они вышли из зала рядом друг с другом.

Увидев это, Лева Капелькин, несмотря на всю драматичность и даже трагичность ситуации, печально улыбнулся. Один положительный результат встречи мастеров с «ню-хивой» все же дала: судьба Валеры и Славки была решена. Благородный замысел будущего юриста Левы Капелькина был приведен в исполнение.

Часть вторая

ПЯТАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ

1.

На следующий день ровно в восемь часов утра Пашка Пахомов вошел в длинный и узкий коридор факультета журналистики, расположенного на втором этаже одного из старых университетских зданий на Моховой улице, во дворе которого стояли в противоположных углах камен-

ные фигуры великих революционных демократов Герцена и Огарева. Как новая восходящая звезда университетского баскетбола, Пашка Пахомов опаздывать на комсомольское собрание своей группы не имел теперь, конечно, уже никакого права.

Пройдя мимо пустынных в этот ранний утренний час маленьких и тесных аудиторий, Пашка уловил в конце коридора жужжание голосов своей родной комсомольской группы и непосредственно устремился на эти звуки, узнать которые, как пчела узнает издали гул родного улья, Пашка, наверное, тоже смог бы на очень далеком расстоянии.

Пятая французская группа четвертого курса факультета журналистики, к которой имел честь принадлежать студент Пахомов, томила около входа в шестнадцатую аудиторию — самую большую аудиторию второго этажа, полукруглые ряды которой крутым амфитеатром восходили от черной грифельной доски к потолку.

— Ребята, смотрите, кто пришел! — радостно кричал, увидев Пашку, Боб Чудаков, первый фронт и щеголь пятой французской группы. — Сам Пахомов пожаловал. Здорово, Павел Феоктистович! Сколько лет, сколько зим?

Пашка солидно, за руку, поздоровался с Чудаковым (не мог же он после вчерашнего своего успеха на кафедре физкультуры по-прежнему изображать из себя легкомысленного и ветреного Пахомова). Борис Чудаков считался хорошим Пашкиным приятелем. Не другом, как, например, Тимофей Голованов, а просто приятелем. Боб Чудаков слыл не только первым фронтом и щеголем в пятой французской группе, но и первым музыкантом и знатоком джазовой музыки на всем четвертом курсе. Он хорошо играл на рояле, знал наизусть множество модных мелодий и вообще был сверхсовременным и сверхмодерновым юношей.

Потом студент Пахомов все так же солидно пожал руку Юрке Карпинскому, по прозвищу Карпо, бывшему балетному танцору; Степану Волкову — выходцу из глубин Псковской области, выучившему длинными зимними вечерами в своей деревне под завывание метелей наизусть почти всю Большую Советскую Энциклопедию; Рафику Салахану — лучшему курсовому поэту; Эрику Дарскому — сыну знаменитого кинорежиссера музыкальных комедий на колхозные темы; Лехе Белову — демобилизованному из армии старшине; и, наконец, башкирскому вундеркинду Фариду Гафурову, самостоятельно изучившему в городе Уфе пять европейских языков.

После этого Пашка повернулся к девицам пятой французской группы и отвесил в их сторону несколько галантных полупоклонов. Девы все были как на подбор: пышноволосая блондинка Руфа; две подружки-модницы Инна и Жанна; черноокая горянка Сулико Габуня; непрерывно изображавшая из себя лев-толстовскую героиню (Наташу Ростову) Светка Петунина; дочь известного дипломата Иольда Ткачева; неизлечимая сплетница и скандалистка Галка Хаузнер (по прозвищу Кляузнер); и, наконец, отличница, певунья и хохотушка Оля Костенко — самое миловидное существо во всей пятой французской группе.

И только проделав все это — рукопожатия и поклоны, Пашка Пахомов подошел к своему лучшему другу группоморгу Тимофею Голованову и чопорно поздоровался с ним.

— Здравствуй, Павел, — торжественно ответил Тимофей Голованов.

Он поставил в списке комсомольцев пятой французской группы против фамилии Пахомова жирный черный крест и, аккуратно сложив вчетверо список, спрятал его в карман.

Жест этот обозначал следующее: все комсомольцы группы в сборе, собрание можно начинать.

— Товарищи, прошу занимать места, — голосом радиодиктора объявил Голованов и гусиным шагом двинулся в шестнадцатую аудиторию.

Все толпой хлынули за ним.

Пятая французская с шумом рассаживалась в полукруглых рядах круто уходящего к потолку амфитеатра. По установившейся еще с первого курса традиции в первом ряду всегда одиноко восседал староста группы Леха Белов; за ним, во втором ряду, помещались Степан Волков, Рафик Салахан и Фарид Гафуров; средние ряды занимали обычные девы, а уж зато на самый последний ряд под потолком не мог претендовать никто, кроме Боба Чудакова, Карпо, Эрика Дарского и уж, конечно, самого Пашки Пахомова.

Тимофей Голованов стоял внизу возле трибуны, с которой университетские профессора и доценты читали студентам факультета журналистики свои зажигательные лекции. На фоне грифельной доски Тимофей (темный костюм, белая рубашка, галстук) выглядел весьма внушительно. Значительность его позы подчеркивала большая коричневая папка делегата комсомольской конференции. С выражением снисходительной терпеливости группоморг наблюдал за своими непоседливыми подопечными.

Наконец, все расселись по местам и уgomонились. Голованов положил перед собой на трибуну делегатскую папку и вытащил из нее несколько исписанных листов бумаги.

— Товарищи, — проникновенно начал Тимофей, — на повестке дня нашего сегодняшнего комсомольского собрания два пункта. Первое: об участии нашей группы в работе курсовых агитбригад на строительстве нового здания университета на Ленинских горах. И второе: разное.

При слове «разное» сидевший в последнем ряду между Бобом Чудаковым и Юркой Карпо Пашка Пахомов саркастически усмехнулся. Уж кто-кто, а Пашка прекрасно знал, что на каждом собрании лучший друг затевает «разное» только для того, чтобы лишний раз пролесочить Пашкину крамольную личность.

Свое сообщение по первому пункту повестки дня Тимофей Голованов начал издали. Сначала он рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на районной комсомольской конференции. Потом рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на вузовской комсомольской конференции. Потом он рассказал об опыте работы агитбригад, о которых говорилось на факультетской комсомольской конференции.

И только подробно и обстоятельно изложив все это, он начал говорить об опыте работы агитбригад на их собственном четвертом курсе.

— Агитбригады нашего курса работают на строительстве новых зданий университета на Ленинских горах пока еще очень плохо, — сурово говорил Тимофей, и в голосе его звучал металл непримиримости к этому отстающему участку комсомольской работы. — Не составляет исключения в этом вопросе и агитбригада нашей пятой французской группы. Половина наших агитаторов в этом году еще ни разу не была на строительстве нового здания. Как можно оценить этот факт? Только как нашу собственную безответственность, перерастающую в беспринципность. Можно ли дальше терпеть такое положение? Дальше такого положения терпеть нельзя. Я предлагаю ликвидировать это отстающее звено нашей комсомольской работы. А вытащив одно звено, мы вытащим всю остальную цепь. Нам нужен аврал. Да, да, самый настоящий аврал. Я предлагаю

гаю, чтобы сегодня, после окончания занятий, вся наша группа, как один человек, без исключения — подчеркиваю, без исключения! — выехала на строительство нового здания университета и выполнила свой комсомольский долг.

Ах, какой тут шум поднялся в шестнадцатой аудитории! Пятая французская сверхбурно реагировала на любимый лозунг своего комсомольского вожака «все как один, без исключения». Причем наиболее активно выступала, конечно, женская часть собрания.

— Я не могу сегодня после занятий! — драматическим контральто кричала Светка Петунина. — У меня репетиция! Я сегодня Наташу Ростову художественному совету клуба должна показывать!

— И я не могу сегодня! — кричала Галка Хаузер, по прозвищу Кляузнер. — Почему заранее нельзя было предупредить? Хотя бы за два дня? Ко мне сегодня родственники из Ростова должны приехать!

— И мы тоже не можем сегодня, — высказались вместе Инна и Жанна. — У нас сегодня весь вечер абсолютно занят.

— А почему именно сегодня? — внесла свою лепту в общую сумятицу Изольда Ткачева и тут же дипломатично добавила: — Разве нельзя выбрать какой-либо другой день?

Потом в обсуждение выдвинутого предложения включилась и мужская часть собрания.

— Опять аврал, — басом изрек из последнего ряда Юрка Карпинский. — У других людей все как у людей, а у нас сплошные авралы.

— Я, например, сегодня в концерт иду, — заявил Боб Чудаков, — повышаю свой, так сказать, культурный уровень. И вот на тебе!

— А у меня сегодня ответственное заседание литературной студии! — темпераментно сказал Рафик Салахан. — Разве могу я пропустить ответственное заседание литературной студии?

— В шведском языке есть прекрасная поговорка, — привел иностранный пример невозмутимый башкирский вундеркинд Фарид Гафуров. — Все хорошие дела делают только не торопясь.

Тимофей Голованов, философски скрестив на груди руки, терпеливо наблюдал за аудиторией. Пока высказала свои доводы против аврального похода наиболее несознательная, с точки зрения комсорга, часть пятой французской группы. Тимофей ждал поддержки со стороны сознательных комсомольцев. И эта поддержка не замедлила последовать.

— Товарищи, — встал в первом ряду демобилизованный старшина Леха Белов и согнал за спину складки своей гимнастерки, выцветшей от долгой и безупречной армейской службы. — Как-то нехорошо сегодня у нас получается, недисциплинированно. Товарищ Голованов выдвинул предложение. Надо его обсудить, а не кричать, как цыгане на базаре. Все-таки дисциплину надо соблюдать. Дисциплина должна быть во всем. Дисциплина и порядок.

— Каждый только об себе печется, — тряхнул рукой головой выходец из глубин Псковской области Степан Волков. — Один на концерт бежит, будто рояля никогда в жизни не видел. Другая тетку из Ростова обнять торопится, будто тетка последний день на земле живет. А ведь там, на строительстве, нас люди ждут. Многие из деревень приехали, образования пока не имеют. Им с нами поговорить хочется, узнать, как и чего в разных странах делается, живое слово от нас услышать. Так неужто мы не подсобим людям глаза шире на белый свет открыть? Неужто от богатства нашего, от профессоров наших да от лекций услышанных ничем с ними не поделимся?

— Товарищи! — качнулась, изгибая стройную талию, Сулико Габуня. — Волков правильно сказал: каждый, кто отказывается ехать сегодня на стройку, думает только о личных интересах. Но ведь мы же прежде всего комсомольцы, а уж потом любители музыки, театра, литературы и своих собственных родственников.

Аудитория дружно захохотала. Смеялись все, даже те, кого задела своей шуткой Сулико.

— Мы все будущие журналисты, — напористо продолжала Сулико, — поэтому встречи и разговоры с рабочими, строящими такое огромное и современное здание, как дворец науки на Ленинских горах, это не только наш прямой комсомольский долг, но и наша будущая профессия. Так что же нам интереснее — пить чай с тетушкой из Ростова или изучать судьбы и проникать в интересы тех людей, о которых нам в будущем придется писать на страницах газет и журналов? Разве это не интересно — знать, как живут и работают, о чем думают современные рабочие и строители?

— А кто говорит, что неинтересно? — подал голос из последнего ряда сын знаменитого кинорежиссера Эрик Дарский. — Давайте рассуждать логически. Надо прежде всего выяснить — почему Голованов выбрал именно сегодняшний день? Если есть в этом какой-то смысл, надо ехать сегодня. Если нет, можно назначить и на другой день.

— Прошу слова! — метнулась к трибуне тоненькая фигурка Оли Костенко.

Она встала около скрестившего на груди руки, серьезного и важного Тимофея Голованова, и вся пятая французская группа невольно заулыбалась. Тимофей был строг и хмур. В своем темном, наглухо застегнутом костюме он был похож почти на профессора комсомольских наук, а Оля в полудетском синем платье с белым отложным воротничком напоминала скорее школьницу-отличницу из десятого класса на выпускном экзамене, так юна, свежа и непосредственна была она, таким розовым румянцем пылали ее круглые щеки, такими искренними блестками искрились ее живые и добрые глаза.

— Ребята! — весело, звонко и радостно начала Оля, и в шестнадцатой аудитории сразу стало тихо, потому что все знали — Костенко всегда говорит интересно и дельно. Все помнили также и о том, что еще в школе в своем Ставропольском крае Ольга Костенко была одной из лучших старших пионервожатых страны и за это ее избрали тогда делегаткой на всесоюзный комсомольский съезд.

— Ребята, — повторила Оленька, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась сказать сейчас о чем-то самом главном в своей жизни, — мне кажется, что наше собрание пошло сейчас куда-то не в ту сторону. Мы начинаем обвинять друг друга. Одни считают важным для себя одно, другие — совсем другое. Но для человека все важно — и пить чай с тетушкой из Ростова, и слушать концерт, и репетировать любимую роль, и читать свои стихи в литературной студии. И совсем не надо противопоставлять все это нашей комсомольской работе. Я повторяю, все важно в человеческой жизни — и личное и общественное. И поэтому сейчас не нужно обвинять друг друга, не нужно выяснять — кто прав, а кто неправ. Гораздо важнее выяснить другое. В одних случаях мы получаем удовольствие от поступков, которые делаем только для себя. В других случаях мы получаем удовлетворение от дел, которые совершаем для других. Я предлагаю сейчас каждому подумать и дать ответ прежде всего самому себе: что вообще в жизни приносит тебе больше удовлетворения — первое или второе? И может

быть, не надо употреблять здесь такое слово, как «азрал». От него пахнет каким-то пожаром или стихийным бедствием. А ведь мы не горим и не тонем, нас насильно никто никуда не гонит. Мы сами — и вместе и каждый по себе — решаем наши дела.

И застучала каблучками, возвращаясь на свое место.

Пашка Пахомов смотрел сверху из последнего ряда на Ольгу Костенко, и она чем-то напоминала ему баскетболистку Славку. «Вот ведь сижу здесь,— думал Пашка,— слушаю всякие возвышенные слова о сочетании личного и общего счастья, а на кафедре физкультуры, наверное, только и разговоров сейчас, как о моей вчерашней игре против мастеров. А я ничего этого и не слышу. Обидно».

Вообще-то говоря, Пашка Пахомов испытывал к Оле Костенко некие симпатии. Но все это было очень неопределенно и расплывчато, потому что такие же симпатии Пашка испытывал, например, и к пышноволосяй блондинке Руфе, и к надменной си-неокой красавице Изольде Ткачевой, и даже к во-ображал Светке Петуниной.

Справедливой истины ради надо было бы, конечно, сказать, что за годы своего пребывания в «хиве» Пашка Пахомов так и не сумел до конца выяснить для себя вопрос, какое место в его жизни должна занимать женская половина человечества. Напряженное «хивинское» бытие на кафедре физкультуры не оставляло совершенно никакого времени для твердых сердечных привязанностей.

И тем не менее Пашка иногда увлекался девицами как со своего факультета и курса, так и с других факультетов. Но увлечения эти и начинались и заканчивались в основном внутри Пашкиного сердца, прочно отданного кафедре физкультуры вообще, и баскетболу в частности.

Но как уже было сказано выше, к Оле Костенко Пашка Пахомов хотя и «заочно», но некоторые постоянные симпатии все-таки испытывал. И поэтому во время ее выступления Пашка, который в обсуждении проблемы аврала никакого участия не принял — он берег силы для «разного», — внимательно наблюдал за Ольenkой из своего последнего ряда.

...Тишину нарушила пышноволосяя и пышная во всех отношениях Руфа.

— Товарищи,— лирическим грудным сопрано заявила Руфа,— я предлагаю поставить на голосование два предложения: первое — не ехать сегодня всей группой на стройку, и второе — ехать сегодня всей группой на стройку.

— Кто за то, чтобы голосовать за поступившие предложения? — обратился к собранию долго молчавший Тимофей Голованов.

Взметнулись руки.

— Итак, кто за то,— сурово произнес Тимофей,— чтобы не ехать сегодня всей группой на строительство нового здания университета на Ленинских горах?

Поднялись три руки — Боба Чудакова, Рафика Салахьяна и Галки Хаузнера.

— Трое,— торжественно и одновременно злорадно отметил группкомсорт Голованов,— всего трое...

Голос группкомсорга окреп.

— Теперь ставлю на голосование второе предложение... Кто за то, чтобы всей группой ехать сегодня на строительство нового здания университета на Ленинских горах?.. Считаю: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать... Абсолютное большинство!

Пашка Пахомов, внимательно наблюдавший за Олей Костенко, мечтательно задумался, улетел мыс-

лями куда то в заоблачные дали и по этой немаловажной причине участия в голосовании как по первому предложению, так и по второму, конечно, не принял.

Но в это время сияющая Оленька обернулась к последнему ряду, за который она боялась больше всего, и почти одновременно с этим раздался голос группкомсорга. Тимофей Голованов, соблюдая до конца все правила демократического централизма, которые он в избытке радостных чувств по поводу торжества массовой комсомольской сознательности своей группы чуть было не нарушил, «снял» Пашку с его розовых небес:

— Кто воздержался?

И Пашка Пахомов, так толком и не поняв, за что он голосует, возвращенный «обратно» в шестнадцатую аудиторию лишь поворотом Оленькиной головы и зычным тимофеевским голосом, автоматически поднял руку.

Собрание захохотало навзрыд. Смеялись все, даже те, кто голосовал против аврала.

— Ну, Пахом, ну ты даешь! — булькал рядом с Пашкой Боб Чудаков.

— Пахом, как всегда, в своем репертуаре! — веселился бывший балетный танцор Юрка Карпинский.

— Зачем человека разбудили? — умирал со смеху Фарид Гафуров. — Человеку, может быть, хороший сон снился, а вы его голосовать заставили!

— Ну чего вы к нему пристали? — возмущался во втором ряду справедливый Степан Волков. — Ну, воздержался и воздержался. Чего тут смешного?

— А когда он не воздерживался? — съехидничала Галка Кляузнер. — Я такого случая что-то и не помню.

Остальные девицы, кроме Оли Костенко и Изольды Ткачевой, дружно подхихикнули Галке. Оля догадывалась о тайных Пашкиных симпатиях в свой адрес, а Изольда вообще никогда не смеялась и даже не улыбалась — берегла лицо от морщин.

— А ты, Кляузнер, молчи! — набросился на Галку Рафик Салахьян. — Человек, может быть, стихи сочинял, а вы тут ржете, как лошади на конюшне!

Рафик знал о том, что когда-то Пахомов, еще на первом курсе, в бытность свою не Пашкой, а Павликом, тяготел к сочинительству и написанию на чистом листе бумаги зарифмованных строчек — это и привело золотого медалиста Пахомова на факультет журналистики. И поэтому теперь, в силу поэтической солидарности, защищал бывшего товарища по цеховой принадлежности от грубых нападок однокурсников.

— Тихо, товарищи, тихо! — миротворящим жестом поднял на кафедре обе руки Тимофей Голованов. — Первый пункт нашей повестки исчерпан. Абсолютным большинством голосов принято решение ехать сегодня на стройку всей группой. После окончания последнего часа занятий все собираются около раздевалки и оттуда коллективно следуют на Киевский вокзал, где мы садимся в электричку и едем до станции «Матвеевская», от которой я поведу вас кратчайшей дорогой через овраг к поселку строителей университета...

— ...а теперь переходим ко второму пункту нашей повестки,— продолжал Тимофей Голованов. — Товарищи, вчера меня вызывали к декану нашего факультета...

— К самому декану?! — в один голос ахнули Инна и Жанна.

Для них это была совершенно фантастическая по своей недоступности инстанция.

— Как вы уже, наверное, все догадываетесь,—

продолжал Тимофей,— речь шла о студенте нашей группы Павле Пахомове. Число пропущенных лекций и семинарских занятий дошло у Пахомова до астрономической цифры...

«Вот он зачем вчера на кафедре физкультуры приходил. И ведь не сказал, что к декану из-за меня вызывали. У, змей»,— беззлобно подумал про себя Пашка, который, конечно, был обижен на родную комсомольскую группу за то, что она подвергла его, когда он воздержался при голосовании, такому неслыханному конфузу и осмеянию, но теперь, после сообщения о вызове группкомсорга к декану, обижаться было уже некогда— Пашка весь обратился в слух и внимание.

— Декан просто ужаснулся, когда один из работников деканата положил перед ним справку о количестве пропущенных Пахомовым занятий за три с половиной года, проведенных в университете,— продолжал Тимофей Голованов.— «Вырисовывается такая картина»,— сказал мне декан,— что студент Пахомов все эти три с половиной года в университете практически как бы и не обучался...

«А все Глафира наябедничала»,— подумал про себя Пашка.

— «Но позвольте,— сказал мне декан,— каким же тогда образом ухитрился этот ваш Пахомов сдать все экзамены и зачеты за три курса? Ведь он же не слушал до конца ни одного курса лекций, не занимался толком ни в одном семинаре. Ведь это же сплошная липа получается, все его сданные экзамены и зачеты. Выгнать его надо немедленно из университета!»

«Ну и пускай выгоняет,— уныло подумал про себя Пашка,— в баскетбол буду играть, мастером спорта стану, не пропаду».

— Декан также сообщил мне,— продолжал Тимофей,— что он поручает работникам деканата подготовить приказ об отчислении Пахомова из университета. «Одновременно»,— сказал декан,— я буду просить все наши комсомольские организации — факультетское бюро, курсовое бюро и вашу пятую французскую группу — обсудить персональное дело студента Пахомова. Решение об исключении Пахомова будет принято на основании решений всех названных комсомольских инстанций.

«Курсовое бюро. Факультетское бюро. Персональное дело,— подумал про себя Пашка.— Это уже что-то новенькое. Пожалуй, такого «разного» не было еще ни разу».

— Сегодня нам предстоит решить вопрос о том, на какой день мы назначим обсуждение персонального дела Пахомова,— продолжал Тимофей Голованов.— Докладчиком как группкомсорг, наверное, должен быть я. Прошу высказать свои мнения, товарищи комсомольцы.

Пятая французская молчала.

Конечно, все знали, что нахальное Пашкино поведение по отношению к деканату рано или поздно вызовет ответный гром небесный, то есть строгие карательные меры. Но меры эти представлялись всем максимум в форме «самого что ни на есть последнего строгого выговора с самым что ни на есть последним строгим предупреждением». Все-таки перебирался же студент Пахомов с курса на курс — с грехом пополам, но перебирался. Тем более удивил всех холодный и бесстрастный тон группкомсорга Голованова, которым тот «подвешивал топор» персонального дела над головой своего лучшего друга.

— Ну, что же вы молчите, товарищи комсомольцы? — суконным голосом спросил Тимофей Голованов.— Я, кажется, ясно поставил вопрос: на какое

число назначаем мы обсуждение персонального дела Пахомова?

У Пашки вдруг как-то нехорошо сделалось на душе. До сегодняшнего утра и буквально до последней минуты ему казалось, что последняя черта все же не так близка. Да, конечно, он сам все сделал для того, чтобы истощить всякое терпение деканата. Но теплилась все-таки, всегда теплилась в продвинутой Пашкиной душе некая нереальная мысль об отдаленности давно заслуженного им решающего наказания, не угасал луч надежды на разлитую будто бы в окружающей атмосфере некую всеобщую гуманность и всепрощающую справедливость.

И вот теперь луч этот гас, надежды остывали, справедливое возмездие приближалось стремительно и неотвратимо.

— У меня есть вопрос,— раздался неожиданно в тишине голос Бориса Чудакова.— Почему мы должны сразу назначать день обсуждения персонального дела Пахомова? Может быть, мы сначала обсудим другой вопрос — стоит ли такое дело начинать вообще?

— Стоит,— четко ответил Тимофей Голованов.— Есть твердое указание разобрать персональное дело Пахомова.

— Чье указание? — крикнул из последнего ряда Юрка Карпинский.

— Деканата и лично декана,— ответил Тимофей.

— Деканат, а тем более лично декан не могут давать комсомольской группе никаких твердых указаний,— встал с места Эрик Дарский.— Комсомольская группа сама должна решать вопрос о персональных делах своих комсомольцев.

— Вот мы сами и решаем этот вопрос,— поднялся в первом ряду староста группы Алексей Белов.— Вчера Пахомов пропустил шесть часов лекций и два часа семинарских занятий. Позавчера — четыре часа лекций и два семинара подряд. В понедельник — целых три лекции. Что же это, товарищи, получается? А получается весьма печальная картина — двадцать два часа только за первые три дня недели. А сколько раз приходил Пахомов на лекции на прошлой неделе? Всего один раз... Так вот, я вас спрашиваю, товарищи комсомольцы, разве этого недостаточно для того, чтобы возбудить против Пахомова персональное дело за его недисциплинированность?

— Ты еще уголовное дело против него возбуди! — крикнул Рафик Салахан.

— Я поддерживаю предложение Белова о персональном деле Пахомова,— сказал Степан Волков.— Государство отпущает средства на наше образование, профессора читают нам лекции, чтобы расширять наш кругозор. А что делает в это время Пахомов? Он эти средства пускает на ветер, он свой кругозор расширять не желает. Зачем же он тогда числится в университете? Зачем занимает место среди студентов нашего факультета? Ведь он же совсем не использует право на образование, которое бесплатно дает ему государство. Так, может быть, этим правом на бесплатную учебу воспользуется кто-нибудь другой? Может быть, на эти деньги поучится какой-нибудь парень или девушка, которых папа с мамой способностями не наградили, которые золотых медалей не получили, но которые хотят учиться, хотят лекции слушать, на семинарах заниматься и приобретать знания?

— Молодец, Степан, правильно! — крикнула Сулико Габуня.— Хватит нам с Пахомовым нянчиться, хватит его на руках носить! Он взрослый мужчина, а не мальчик, и должен нести ответственность за свое поведение. Мы все видим — Пахомов совершенно не хочет учиться. И прав был декан, когда

сказал, что все сданные Пахомовым экзамены — сплошная липа! Разве мы не знаем, как сдавал их Пахомов? Все это происходило на наших глазах. Пахомов морочил головы преподавателям, требовал вопросы на сообразительность и не знал никакого конкретного материала. Но когда мы окончим факультет журналистики и начнем работать в газетах и журналах, от нас будут требовать знаний, а не умения сдавать на халтуру экзамены. А таких знаний у Пахомова никогда не было и не будет. Я поддерживаю предложение о разборе персонального дела Пахомова.

— Разрешите мне? — поднял руку Боб Чудаков и, быстро сбежав вниз, встал рядом с Тимофеем Головановым. — Я смотрю, у нас здесь все жутко принципиальные люди собрались. Разве это собрание? Это же утро стрелецкой казни, а не собрание. Выбрали одного человека и долбим его кувалдой по голове: ты и такой, ты и сякой, и при голосовании воздержался, и экзамены сдаешь на халтуру. Ужас, а не человек! Просто демон какой-то с хвостом и рогами... А мы все сами ангелы, да? У нас крылья сразу начали? Лопатки на спине болят? Да кто из вас ни разу не халтурил на экзаменах? Кто ни разу шпаргалкой не пользовался? Поднимите руку!.. То-то и оно. И поэтому не надо, дорогие товарищи однокурсники, все на одного человека сваливать. Сначала на самих себя надо посмотреть, а потом уж других воспитывать. Как говорится, в чужом глазу соломинку увидели, а в своем!..

И, не закончив мудрое изречение, Боб Чудаков с досады махнул рукой и рысью взбежал к потолку, в свой последний ряд.

А навстречу ему уже мчался к трибуне Юрка Карпинский.

— Сулико Габуня говорила здесь о нашей будущей профессии, — безо всяких вступлений начал Карпо. — Так вот и я хочу об этом поговорить. Вчера у нас была лекция по политэкономии. На ней нам рассказывали о прибавочной стоимости. Скажи мне, пожалуйста, Сулико, если в будущей твоей газете, где ты станешь работать, тебе предложат написать статью о прибавочной стоимости — хватит тебе только тех знаний, которые ты получила на вчерашней лекции?

— Карпинский, ты уводишь собрание не в ту сторону, — строго сказал Тимофей Голованов. — На что ты намекаешь, когда говоришь о прибавочной стоимости?

— А намекаю я вот на что, — поучительно поднял вверх указательный палец правой руки Карпо. — Скажем, Боб Чудаков хочет в своей будущей журналистской жизни заниматься проблемами музыки. Имеет он на это право? По-моему, да. Боб сам играет на рояле, хорошо знает ноты, разбирается во всяких там гармониях, сольфеджиях и прочих фадиезах. А где он узнал об этом? На лекциях? Как бы не так! Он сам всем этим интересуется, на концерты ходит, специальную литературу изучает. Вот это и есть та самая прибавочная стоимость, те самые знания, которые он в своей будущей работе будет использовать.

— А какое имеет отношение то, о чем ты говоришь, — нахмурился Голованов, — ко второму пункту нашего собрания?

— Самое прямое. Пахомова ругают за то, что он увлекается спортом и слишком много времени проводит на кафедре физкультуры. А может, он хочет стать после окончания нашего факультета спортивным журналистом? Где же он еще сможет изучить проблемы спорта, как не на кафедре физкультуры? Ведь нам-то лекций о спорте никто не читает...

— Оставь ты свою демагогию, — поморщился Тимофей. — Для того, чтобы изучать проблемы спорта, совсем не обязательно пропускать лекции. Почему это проблемы спорта нужно изучать именно во время лекций по политэкономии или диалектическому материализму?

Слова попросила Изольда Ткачева. Одернув свой модный заграничный костюм (Инна и Жанна так и впилась пламенными взглядами в иностранное швейное изделие), Изольда вышла на трибуну и гордо вскинула голову — гордость была главной чертой характера студентки Ткачевой.

— Товарищи, — сказала Изольда, — я предлагаю взглянуть на проблему, которую мы сейчас обсуждаем, с двух точек зрения. С одной стороны, Павел Пахомов действительно очень плохо посещает занятия. Он редко бывает на лекциях и не ведет никаких конспектов. В этом году я не видела его почти ни на одном семинаре. Но, с другой стороны, Пахомов действительно сдает все экзамены и зачеты. Как объяснить этот парадокс, я не знаю. Но тем не менее он существует, этот парадокс. Поэтому я и предлагаю обсудить проблему Пахомова с двух точек зрения. С одной стороны...

— Конкретно! — крикнула Светка Петунина. — Что ты предлагаешь конкретно?

Изольда гордо передернула плечами, фыркнула и сошла с трибуны. Она принципиально не терпела, когда ее перебивали во время выступления. Принципиальность была второй главной чертой характера студентки Ткачевой.

Место Изольды немедленно заняла Светка Петунина.

— То-ва-ри-щи!.. — взывала Светка надломленным голосом.

Ей казалось, что именно так должна была выступать на комсомольском собрании сама Наташа Ростова, если бы она была не только графиней, но одновременно еще и комсомолкой.

— Товарищи! — в немом восторге перед трагичностью своего голоса закинула назад голову Светка и несколько секунд молча смотрела в потолок прямо над собой. — Мы решаем сейчас человеческую судьбу. На многие месяцы, а может быть, даже на годы вперед мы определяем сейчас жизнь человека, который три года учился вместе с нами. Когда Лев Толстой был зеркалом русской революции, он открыл законы диалектики человеческой души. Заглянем в душу Павла Пахомова. Что мы увидим там? Мы увидим там тоже диалектику души. Своеобразную, но диалектику — единство и борьбу противоположностей, переход количества в качество и, может быть, даже отрицание отрицаний. Передо мной выступала Изольда Ткачева, и она была абсолютно права, когда сказала, что на проблему Пахомова нельзя смотреть с одной точки зрения — исключить, мол, и все. Нет, на проблему Пахомова надо смотреть с двух точек зрения, то есть диалектически. Когда Лев Толстой...

— ...был зеркалом русской революции! — хором крикнули из последнего ряда Боб Чудаков и Юрка Карпинский.

— Вот именно, — радостно подтвердила Светка, — когда он был им, он говорил, что в человеке все должно быть прекрасно...

— Это Чехов говорил, а не Толстой! — закричал Эрик Дарский.

— Не имеет значе-ния! — снова завывала Светка надломленным голосом. — Тем более мы не должны исключать Пахомова из университета!

— Петунина, ты, как всегда, все путаешь, — степенно сказал Тимофей Голованов. — Речь пока идет не

об исключении Пахомова, а об его персональном деле.

Светка махнула на группкомсорга рукой и сошла с трибуны.

— Кто еще просит слова? — спросил Тимофей. — Дай скажу, — поднял руку Фарид Гафуров. — Я с места буду говорить. Не надо никакого персонального дела! Что мы, первокурсники, что ли? Почему нам должен кто-то приказывать? Хотя бы даже декан факультета?

— А я что говорил? — крикнул из последнего ряда Эрик Дарский.

— Надо голосовать, — кратко закончил свое немногословное выступление Фарид Гафуров. — Я против персонального дела.

— Рано голосовать, — возразил Тимофей, — еще не все высказались.

На трибуну поднялась Руфа.

— Я за персональное дело, — кокетливо качнув своей замысловатой прической, сказала Руфа.

— Доводы! — крикнул Юрка Карпинский. — Какие у тебя есть доводы?

— У меня нет никаких доводов, — близоруко сощурилась Руфа, — я за персональное дело без всяких доводов. Пахомов — прогульщик, его поведение бросает тень на всю нашу группу.

— А я против персонального дела! — яростно вскочила с места Галка Хаузнер-Кляузнер.

Вся пятая французская знала, что маленькая, худая и коротко стриженная Галка всей душой ненавидит пышноволосую и вообще пышную во всех отношениях Руфу. И поэтому никто даже не стал спрашивать у Хаузнер, почему она против. Причина была и так ясна. За три с половиной года, проведенных в одной группе, Галка ни разу и ни в чем не согласилась с Руфой. На любом собрании, на любом семинаре Галка всегда была против любых предложений и высказываний Руфы. Сердце незаметно и щуплой Галки сжигала ненависть к красавице Руфе, и, собственно говоря, именно это прискорбное биологическое обстоятельство и было главной причиной возникновения и закрепления за Галкой Хаузнер ее прозвища — Кляузнер.

— Хорошо, Хаузнер, садись, мы тебя поняли, — миролюбиво погасил возможный конфликт Тимофей Голованов.

Тимофей пытливо смотрел в список комсомольцев своей группы. Выступили по второму пункту повестки дня вроде бы все — против каждой фамилии у Тимофея был поставлен крестик. Оставалась только одна Оля Костенко. Ее-то Голованов и побаивался больше всего. Он знал, что Оля с ее богатым комсомольским опытом — все-таки делегатом всесоюзного съезда была — может в любую минуту повернуть собрание на сто восемьдесят градусов.

— Костенко, — напряженно спросил группкомсорг, — а ты почему молчишь? Ты за персональное дело или против?

Оля тихо спустилась вниз.

— Ребята, — начала она странным и каким-то непохожим на свой собственный голосом, — мы учимся вместе три с половиной года, но сегодня я будто в первый раз увидела некоторых из вас, и мне, откровенно говоря, стало как-то не по себе, как-то грустно сделалось на сердце. Ну почему мы каждый раз превращаем комсомольское собрание в судебное разбирательство? Ведь мы же не милиция и не прокуратура. Кто дал нам моральное право фабриковать персональное дело Пахомова как основу для его будущего исключения из университета? Ведь это уже получается не только персональное дело, а просто настоящее обвинительное заключение!

В шестнадцатой аудитории стало тихо-тихо.

— А во всем виноват ты, — повернулась Оля Костенко к Тимофею Голованову. — Это ты с самого начала дал собранию неверное направление. Ты как бы заранее предрешил судьбу Пахомова: деканат, мол, его все равно исключит, и поэтому нам, то есть комсомольскому собранию, остается только бумажку для деканата приготовить — протокол обсуждения персонального дела, на основании которого декан подпишет приказ об отчислении. Почему же ты оказался таким черствым человеком, Голованов? Ведь Пахомов считается твоим другом...

— Разговор сейчас идет не о том, кому кому друг, — надменно поднял вверх подбородок Тимофей, — а о персональном деле Пахомова. Говори прямо — ты за персональное дело или против?

— Ты так ничего и не понял, о чем я говорила, — тяжело вздохнула Оля Костенко.

Несколько секунд она молча и пристально смотрела на группкомсорга.

— Ну, ладно! — вдруг сделала решительное движение рукой Оля. — Придется, видно, Голованов, разговаривать с тобой на другом языке.

Она резко повернулась к аудитории.

— Товарищи комсомольцы, — бодрым и немного официальным голосом заговорила Ольга Костенко, — комсорг нашей группы Голованов сформулировал второй пункт повестки дня нашего собрания так: на какое число назначаем мы разбор персонального дела комсомольца Пахомова? В ходе обсуждения формулировка этого пункта изменилась, потому что мнения выступавших разделились — большинство поставило под сомнение целесообразность персонального дела Пахомова вообще. Таким образом, появились два новых предложения. Первое: персональное дело Пахомова разбирать надо. И второе: персонального дела Пахомова разбирать не надо, или, говоря другими словами, такого дела начинать вовсе не следует. Правильно я говорю?

— Правильно, правильно! — загудела аудитория.

— Насколько я разбираюсь в правилах проведения первичных комсомольских собраний, — продолжала Костенко, — такое изменение первоначальной формулировки повестки дня Уставу комсомола не противоречит. — Она повернулась к Тимофею. — Вы не находите нарушения Устава в этом изменении, товарищ Голованов?

— Нет, не нахожу, — с достоинством ответил Тимофей.

— Ребята, — снова обратилась Оля к аудитории своим обычным веселым голосом, — а не кажется ли вам, что мы уже обсудили персональное дело Пахомова? Не формально, не в официально назначенный день и не в соответствии с заранее назначенной повесткой дня, а просто так, произвольно, в ходе естественного развития нашего комсомольского собрания? Ведь каждый комсомолец уже высказал свое мнение о Пахомове. Так зачем же нам заниматься формализмом и назначать какой-то особый день, когда мы уже имеем сложившееся мнение всей нашей группы о Пахомове?

В шестнадцатой аудитории повисла многозначительная тишина. Все поняли — что-то произошло. В затейной Тимофеем громоздкой процедуре предварительного назначения дня собрания по персональному делу Пахомова образовалась какая-то трещина. Умная и опытная в комсомольских делах Оля Костенко сократила многоэтажный бюрократический «проект» группкомсорга Голованова до простейшего вида, до понятной и до конца ясной сути дела.

— Что же ты предлагаешь конкретно? — нахмурился Тимофей.

— Я предлагаю, — радостно начала Оля Костенко, и голос ее опять зазвучал так, как будто она собиралась сказать сейчас о чем-то самом главном в своей жизни, — я предлагаю исключить слова «персональное дело» из повестки дня нашего собрания вообще. Я предлагаю проект решения по второму пункту записать в такой редакции: комсомольское собрание пятой французской группы, обсудив поведение студента Пахомова, объявляет ему за неоднократное нарушение учебной дисциплины, пропуск лекций и семинарских занятий строгий выговор без занесения в учетную карточку. Комсомольское собрание пятой французской группы считает возможным ходатайствовать перед деканатом об оставлении Пахомова в числе студентов факультета журналистики. Комсомольское собрание пятой французской группы берет на себя ответственность за дальнейшую учебную дисциплину студента Пахомова и возлагает на всех членов группы контроль за исполнением этого решения, а также коллективно обязуется в том, что впредь студент Пахомов без уважительных причин не пропустит ни одной лекции и ни одного семинара.

Оля перевела дыхание и добавила:

— Но этот проект решения станет нашим официальным решением только в том случае, если Пахомов встанет сейчас и скажет, как он относится к высказанным сегодня критическим замечаниям в его адрес. Мы должны убедиться в том, что Пахомов сделал правильные выводы из той критики, которая прозвучала здесь по поводу его поведения.

— Кто за то, чтобы по второму пункту повестки дня была поставлена на голосование формулировка, предложенная Костенко? — поспешно и вроде бы даже слишком поспешно обратился к собранию Тимофей Голованов.

За предложенную Олей Костенко формулировку почему-то голосовали все, даже недавние самые суровые Пашкины обвинители — в том числе и Леа Белов, и Степан Волков, и даже Сулико Габуня.

— Единогласно, — удовлетворенно и вроде бы даже слишком удовлетворенно, к немалому удивлению собрания, констатировал просиявший вдруг неожиданно для всех Тимофей Голованов.

И, глядя на своего группкомсорга, впервые улыбнувшегося за целый час собрания, просияла вслед за Тимофеем и вся пятая французская. И в самом деле, зачем нужно было назначать какой-то особый день для разбора персонального дела Пахомова, когда такой разбор уже произошел? Умница Оля Костенко тонко подметила и четко объяснила эту ускользнувшую от всеобщего внимания особенность сегодняшнего собрания. И нужно ли оно вообще, это злополучное персональное дело, когда и так уже все ясно, когда общее мнение группы о Пахомове действительно уже сложилось? Теперь все зависит только от самого Пахомова. Понял ли он достаточно глубоко то, о чем говорилось сегодня на собрании? Принял ли близко к сердцу критические замечания, высказанные в его адрес? Умница Оля Костенко очень здорово поставила в прямую зависимость результаты предстоящего голосования от позиции самого Пахомова. Убедят его слова пятую французскую, что группа не зря ходатайствует перед деканатом? Если убедят, тогда результаты голосования будут одни. Не убедят — совсем другие.

— Павел, — торжественно и строго, словно государственный обвинитель, дающий особо опасному преступнику последнюю возможность спасти свою криминальную жизнь, сказал Тимофей Голованов, — тебе предоставляется слово...

Пашка, просидевший как бы в прострации всю вторую половину собрания, встал и молча уставился на лучшего друга. Сказать, что студент Пахомов был удивлен или озадачен всем происшедшим, значило бы не сказать ничего. Когда его ругали и клеймили позором Леа Белов, Степан Волков и Сулико Габуня, Пашка, в общем-то, был спокоен. Ничего другого именно от них он и не ожидал. Когда его изощренно защищали, прибегая ко всяческим выкрутасам и хитростям, Боб Чудаков, Юрка Карпинский и Эрик Дарский, Пашка тоже был спокоен — Боб, Эрик и Карпо считались все-таки его друзьями-приятелями.

Но когда обсудить «проблему Пахомова» с двух точек зрения предложила холодная синеокая красавица Изольда Ткачева, когда со своей «диалектикой души» нелепо вылезла на трибуну Светка Петунина, когда Фарид Гафуров впервые произнес знаменательную фразу «никакого персонального дела не надо», когда исторгла свой нервный выкрик против персонального дела даже вздорная Галка Хаузнер, — когда случилось все это, Пашка насторожился.

Ситуация была сверхнеобычная. Пашка всегда считал, что пятая французская относится к нему, студенту Пахомову, резко отрицательно. А из-за чего, собственно говоря, пятой французской относиться к нему по-другому?

Пашка жил в «хиве», а не в группе. На девяносто девять и девять десятых процента Пашка был законченным «профессиональным» обитателем кафедры физкультуры и спорта, а не студентом пятой французской. Со своей группой он вечно ссорился, непрерывно ругался, она, группа, как бы вовсе и не существовала для него, ее делами и жизнью он откровенно пренебрегал.

И вдруг выяснилось, что не вся пятая французская относится к нему резко отрицательно. Вдруг выяснилось, что не только Карпинского, Чудакова и Дарского волнует судьба студента Пахомова. Оказалось, что судьбой этой озабочены и Фарид, и Рафик, и Светка с Изольдой, и даже Галка Хаузнер-Кляузнер.

Было от чего насторожиться.

Но самый главный удар по болезненному Пашкиному самолюбию пятая французская нанесла, конечно, в тот момент, когда вопреки строгому указанию деканата и лично самого декана единогласно проголосовала за отмену персонального дела студента Пахомова, а также за то, чтобы ходатайствовать перед деканатом об оставлении этого злополучного студента на четвертом курсе. Голосовали, забыв о своих нападках на Пашку, и Леа Белов, и Степан Волков, и Сулико Габуня, и — что было уже совершенно непонятно — сам Тимофей Голованов, идейный, так сказать, вдохновитель и строгий охранитель второго пункта повестки дня, который, как успел заметить Пашка, почему-то первый поднял руку за новую формулировку второго пункта, предложенную Олей Костенко.

Этого великодушия, этого поголовного гуманизма, этого единогласно проявленного благородства по отношению к своей, в общем-то, малопочтенной особе — столь самокритичное убеждение родилось у Пашки, естественно, уже во время собрания —

студент Пахомов выдержать, конечно, не мог уже никак.

И что-то такое произошло внутри у Пашки, сдвинулась в его уме и сердце некая устойчивая конструкция. Он был уязвлен в самые потаенные глубины своего существа. Он был одновременно и унижен, и возвышен родной комсомольской группой, а если говорить совсем откровенно — впервые в своей жизни студент четвертого курса факультета журналистики Павел Феоктистович Пахомов по-настоящему испытал столь сильное коллективное воздействие всей группы на свое внутреннее состояние, главным регулятором которого до этого чаще всего были, пожалуй, только личные настроения и оценки; разве что в «хиве», благодаря коллективному характеру баскетбольного игрища, удавалось ощутить иногда похожие чувства — краткие секунды единения своего «я» с общим состоянием всей команды.

Да, перепад высот — от грозного «немедленно исключить» до ходатайства группы «об оставлении» — был слишком велик. И поэтому Пашка потерян стоял в последнем ряду, молча глядя на возвышавшегося внизу, около трибуны, лучшего друга.

— Ну, что же ты молчишь, Пахомов? — нарушил наконец тишину Тимофей Голованов. — Мы ждем.

— Пускай вниз сойдет! — крикнул из второго ряда Фарид Гафуров. — Пускай с трибуны говорит! Пашка уныло поплелся по ступенькам шестнадцатой аудитории вниз.

Пятая французская в шестнадцать пар любопытных зрелков с интересом смотрела на студента Пахомова, стоящего на кафедре.

Сдержанно, прямым и открытым взглядом отличника боевой и политической подготовки наблюдал за Пашкой демобилизованный старшина Алексей Белов.

Поблескивая очками (пять европейских языков все-таки не шутка), пытливо изучал Пахомова башкирский вундеркинд Фарид Гафуров.

Пышноволосая и пышная во всех отношениях Руфа смотрела на Пашку пригорюнившись, подперев по-деревенски щеку ладонью.

Инна и Жанна, непрерывно прихорашиваясь иправляя многочисленные бантики, пряхки и пуговицы, успевали все-таки бросать иногда на Павлика (они называли его только уменьшительно-ласкательным именем) мгновенные, как булавочный уголок, взгляды-бусинки.

Светка Петунина, не забывая ни на минуту о диалектике души и повторяя одновременно про себя монолог Наташи Ростовской, улыбалась Пашке своим пунцовым, восторженно-пламенным лицом.

Галка Хаузнер, злобно, по-лошадиному косясь на Руфу, все время мрачно, с заговорщицким видом подмигивала Пахомову.

Боб Чудаков рисовал в воздухе сложные нотные знаки, словно пытался передать Пашке на расстоянии музыкальную партитуру наиболее подходящего в эту ответственную минуту поведения.

Юрка Карпинский, вспомнив свои старые балетные замашки, изображал из себя «умирающего лебедя», каковым, с его точки зрения, и надлежало быть Пашке на трибуне.

И, наконец, Эрик Дарский старался облегчить трудное положение студента Пахомова показом отдельных сцен из популярных фильмов, адресуясь в основном к зрел немому кино, так как безмолвное Пашкино стояние на трибуне, по мнению Эрика, наиболее полно соответствовало именно дозвучившему периоду развития кинематографа, а говоря

точнее, первому этапу существования неподвижных фотографических изображений — плохо проявленных и примитивных дагерротипов.

Одним словом, вся пятая французская по мере своих сил и возможностей старалась помочь Пахому обрести дар речи и произнести ожидаемые от него заветные слова, но Пашка безнадежно молчал.

— Так мы готовы выслушать тебя, Павел, — солидно и спокойно повторил свой педагогический призыв Тимофей Голованов. — Комсомольцы нашей группы хотят знать, какие выводы ты сделал из сегодняшнего обсуждения твоего поведения.

Пашка затравленно посмотрел на лучшего друга: группкомсорг Голованов олицетворял своим безупречным внешним видом полное соединение всех общественных и личных добродетелей. А студент Пахомов, в короткой куртке, грубошерстном свитере, помятых штанах и стоптанных ботинках, являл собой, конечно же, безрадостную картину самых глубоких противоречий между началами общественными и личными.

Пашка отвернулся от Тимофея... Оля Костенко в синем своем платье с белым отложным воротничком грустно смотрела на взъерошенного Пахомма. И было в ее взгляде какое-то новое, знакомое Пашке выражение — затаенная женская тревога за него, Павла Пахомова, отъявленного прогульщика и разгильдяя. Оля словно опасалась чего-то, словно ждала от забубенного баскетболиста неожиданной выходки, и Пашке, увидевшему в Олиных глазах это новое выражение, вдруг сделалось очень горько на душе — ни разу в жизни еще не было так горько.

— Ребята, — выдавил из себя Пашка, — ребята... Он вдруг быстро-быстро заморгал ресницами и отвернулся.

— Да хватит вам его мучить! — визгливо крикнула, ко всеобщему изумлению, маленькая Галка Хаузнер. — Ну, что мы отцы-инквизиторы какие-то, что ли? Он уже давно все понял, пускай на место идет! Пятую французскую словно прорвало.

— Давай, Пахом, топай сюда! — рявкнул из-под потолка Юрка Карпинский.

— Измучили малого! — поддержал его справедливый Степан Волков.

— Кончай, Голованов, утро стрелецкой казни! — поднялся в последнем ряду Боб Чудаков.

— Диалектически надо подходить к человеку! — взывала Светка Петунина. — Когда Лев Толстой...

— Долой Голованова! — яростно перебил ее Рафик Салахан. — Это он, бюрократ, во всем виноват!

— Садись, Павел! — сделала энергичный жест рукой Сулико Габуня. — Что ты там стоишь?

— Пахомов, ну скажи хоть что-нибудь! — сердито требовала Изольда Ткачева вопреки своему твердому правилу не волноваться и не проявлять эмоций ни при каких обстоятельствах.

— Он, может быть, не все понял головой, но зато все почувствовал сердцем! — доказывала грудным голосом взволнованная Руфа.

— Голосовать надо! — с итальянским акцентом закричал Фарид Гафуров.

— Верно, голосовать! — присоединился к Фариду Эрик Дарский.

— Пашечка, беденький! — щебетали Инна и Жанна.

— Тише, товарищи, тише! — согнал за спину складки гимнастерки Леха Белов. — Все-таки дисциплину соблюдать требуется...

— Ты будешь голосовать или нет?! — вскочила с места, обращаясь непосредственно к Голованову и буравя его горячим, ненавидящим взглядом, Оля Костенко.

Но Тимофея не так просто было сбить с намеченной линии.

— Костенко, ты противоречишь сама себе! — громко парировал группкомсорг. — Ты же сама говорила, что мы должны сначала выслушать Пахомова и убедиться, что он сделал правильные выводы!

— Он уже сделал все выводы! Он уже все понял! — посыпалось со всех сторон. — Сколько можно одного человека воспитывать? Не тяни резину, Тимоха! Ставь второй пункт на голосование!

При слове «Тимоха» группкомсорг напряжился. Неуважительно-пренебрежительное производное «Тимоха» от многозначительно-величественного «Тимофей» тревожно коснулось головановского слуха. Это был первый сигнал о том, что собрание затянулось и аудитория проявляет признаки раздражения. Как опытный комсомольский вожак Голованов сразу же принял решение — повестку дня необходимо сворачивать.

Но из разговорчивого обычно и даже болтливого Пахома сегодня не удавалось вытащить ни одного слова.

— Пашка! — с отчаянием в голосе спросил Тимофей. — Ну, почему ты все время молчишь? Неужели тебе совершенно нечего нам сказать?

Неожиданная интонация тимофеевского голоса произвела на Пашку впечатление. И, кроме того, лучший друг не произнес надменно-официальное слово «Павел», а первый раз за все собрание назвал его привычно и доверительно — Пашкой.

— Ребята, — неловко шагнул Пахом вперед, — ребята... — В горле у Пашки застрял предательский комок. — Ребята, — повторил Пашка, и на глазах у него навернулись слезы.

Легкой тенью метнулась вниз к кафедре стройная фигурка Оли Костенко.

— Голосую! — нервно крикнула Оля, обращаясь к аудитории. — Кто за то, чтобы, объявив Пахомову строгий выговор без занесения в учетную карточку, взять за него коллективную ответственность перед деканатом?

Пятая французская единым порывом, разряжающим наконец-то общую напряженную обстановку, единогласно проголосовала за предложение Оли Костенко.

И что было самое удивительное во всем этом — первым, так и не дождавшись от Пашки покаянных слов, поднял руку Голованов.

Все завершилось, казалось бы, самым благополучным образом. Группкомсорг невидя на личные отношения с Пахомовым проявил принципиальность и настойчивость в выполнении данного ему деканатом поручения... Но для того-то и существует демократия общего комсомольского собрания, чтобы исправлять излишнюю строгость и категоричность решений администрации. Комсомольцы пятой французской, понимая всю тяжесть совершенных Пахомовым проступков, тем не менее нашли возможным дать ему еще один шанс на исправление. С педагогической точки зрения собрание поступило, безусловно, правильно, снизив Пахомову меру наказания, так как в каждом наказании главным является не сама степень кары, а результат, который (судя по состоянию Пашки) без всяких сомнений был достигнут. Пахомов понял всю глубину своей вины и то, что коллектив комсомольской группы кровно заинтересован в его судьбе. Таким образом, все получалось как нельзя лучше: порок был наказан, гуманизм проявлен, добродетель восторжествовала. Теперь можно было и расходиться, можно было заканчивать собрание, тем более что до первой лекции, то есть до звонка, который должен

был возвестить о начале учебного дня, оставалось всего лишь несколько минут...

И тут в шестнадцатой аудитории факультета журналистики на комсомольском собрании произошло нечто такое, чего не мог ни угадать, ни предвидеть даже самый проницательный прорицатель в мире.

Группкомсорг пятой французской группы Тимофей Голованов — одна из наиболее положительных личностей не только на своем курсе, но, может быть, даже во всем университете: золотой медалист в школе, круглый отличник в университете, именной стипендиат, член не только курсового комсомольского бюро, но и факультетского комитета комсомола, постоянный обитатель всевозможных президиумов и досок почета — этот самый сверхположительный и даже сверхидеальный Тимофей Голованов совершил непонятный и даже в какой-то степени отрицательный поступок.

Неожиданно непоколебимый комсорг вдруг повалился на стоящий рядом с профессорской кафедрой стул и оглушительно захохотал.

Недоуменная, мертвая тишина повисла в шестнадцатой аудитории — только булькающий, радостный и в то же время совершенно нелепый тимофеевский смех плескался около грифельной доски.

Рядом с комсоргом с глупейшим видом стоял его лучший друг, пребывание которого в университете еще несколько минут назад висело почти на волоске.

А из-за полукруглых деревянных рядов круто уходящей к потолку аудитории здесь и там торчали неподвижные головы.

Приступ безудержного хохота, столь внезапно овладевший группкомсоргом Тимофеем Головановым, стал постепенно ослабевать. Очнувшись от всеобщего оцепенения и участники собрания. Кто-то сделал робкое движение, кто-то перевел дыхание, кто-то испуганно спросил: «Ой, что это с ним?»

Наконец, Тимофей замолчал. Дернувшись еще несколько раз, он немалым усилием воли подавил в себе последние раскаты беспричинного смеха и, достав аккуратный белый носовой платок, вытер набежавшие на глаза слезы.

— Что с тобой? — неуверенным голосом спросила наконец Оля Костенко, находившаяся ближе всех остальных к Тимофею.

Группкомсорг продолжал вытирать носовым платком слезы.

— Что с тобой? — повторила Оля и сделала робкий шаг к Тимофею. — Что случилось?

Голованов встал со стула и спрятал платок в карман.

— Ребята, — улыбнувшись, начал Тимофей, — а ведь я ни в каком деканате не был, никто меня туда не вызывал...

В шестнадцатой аудитории снова стало тихо.

— Да-да, — продолжал Тимофей, — никто меня в деканат не вызывал, никто не говорил, что Пахомова хотят исключить...

— Как не вызывал? Как не говорил? — единым выдохом ахнула вся пятая французская.

Голованов сокрушенно покивал головой, как бы подтверждающая абсолютную правдивость своих теперешних слов, опровергавших его прежние, ложные заявления о вызове в деканат.

— И декан не предлагал тебе обсудить персональное дело Пахомова? — в ужасе спросила Оля Костенко, начиная догадываться о том, что вся пятая французская пала жертвой какого-то дьявольски хитроумного тимофеевского плана.

— Конечно, не предлагал! — радостно подтвердил

Тимофей.— Разве мог бы декан предложить мне такое вопиющее нарушение комсомольской демократии?

— Так зачем же ты устроил всю эту комедию? — отшатнулась от Голованова Оля Костенко.— Зачем был нужен весь этот маскарад?

— А затем я устроил всю эту комедию, что я действительно лучший друг Пахомова! — заорал Тимофей на всю шестнадцатую аудиторию.— Затем я устроил всю эту комедию, что до сегодняшнего собрания всем вам наплевать было на Пахомова! Он погибал у вас на глазах из-за своего проклятого баскетбола, а никто из вас ни разу даже не подумал о том, что его действительно могут выгнать из университета за прогулы! Никто из вас даже не почесался, чтобы остановить этого запойного баскетболиста в его гибельном увлечении!

Пятая французская, пристыженная справедливостью предъявленных обвинений, подавленно молчала.

— Я не собирался устраивать никакого маскарада! — продолжал орать Тимофей.— Я хотел просто обсудить поведение Пахомова на собрании! Но вчера, разыскивая его, я увидел, как он играл против команды наших мастеров... Эх, ребята, если бы вы видели, как играл вчера этот негодяй против мастеров! Ведь он же талант в спорте! Ведь он почти один чуть было не обыграл и Валеру, и Федота, и Хрусталева, и Барашкина! Вы бы только послушали, что о нем говорили вчера на кафедре физкультуры! Его же называли почти гением!.. И вот тогда я подумал о том, что если Пахомова выгонят за прогулы из университета, то все мы — вся пятая французская! — будем виноваты в том, что наш факультет потерял такого замечательного спортсмена, а наша группа, — в общем-то, неплохого парня и, может быть, даже способного журналиста в будущем. Ведь он же писал когда-то стихи, этот Пахомов, подумал я вчера на кафедре физкультуры. Ведь он же окончил школу с золотой медалью... И тогда я решил, что лечить Пахомова нужно каким-то очень сильным средством — таким же сильным, как и его страсть к баскетболу. И я придумал всю эту историю с персональным делом, исключением и вызовом к декану. Я сознательно пошел на это, чтобы как следует дать Пахомову по мозгам, чтобы встряхнуть его!.. А теперь можете судить меня, теперь можете назначать мое персональное дело — я заранее согласен на любое наказание...

Пятая французская молчала. Пожалуй, еще ни разу за все три с половиной года, проведенных вместе в университете, никому из группы не приходилось испытывать столько разнообразных и противоречивых чувств одновременно. Тот перепад высот (от грозного «немедленно исключить» до ходатайства «об оставлении»), который ощутил в середине собрания Павел Пахомов, теперь, в конце собрания, переживала вся группа. Слишком большой контраст был в поведении и манере говорить начинавшего собрание Тимофея Голованова — и Тимофея Голованова, завершающего грозное судилище над криминальной и теперь уже совершенно легендарной личностью студента Пахомова.

Умом, конечно, все понимали, что на такую сложную и даже опасную авантюру (с точки зрения своего авторитета группкомсорга) Тимофей мог пойти действительно только из чувства большого товарищества. Инспирируя мнение деканата и даже самого декана, Голованов рисковал очень многим, но, как говорится, чего не сделаешь для лучшего друга.

А вот сердцем принять столь сложный замысел Тимофея Голованова, удавшийся, кстати сказать,

почти на сто процентов, сердцем принять эту многоходовую «педагогическую» комбинацию было, конечно, трудно.

И поэтому пятая французская напряженно молчала.

— Ребята, — как всегда, первой овладела своим настроением Оля Костенко и обратилась сразу ко всей аудитории.— Ребята, у меня есть два предложения, голосовать за которые, наверное, можно одновременно. Первое: объявить комсоргу нашей группы Тимофею Голованову устный выговор за дезориентацию комсомольского собрания. И второе: объявить комсоргу нашей группы Тимофею Голованову благодарность...

— За что? — хищно крикнула с места Галка Хазнер.

— За что? — задумалась Оля.— Пожалуй, я сейчас не смогу дать точную формулировку этому предложению... Может быть, за то, что после сегодняшнего дня Тимофея действительно можно уверенно считать самым лучшим другом Паши Пахомова...

— Голосуй, Ольга! — хором рывкнули из последнего ряда Боб Чудаков и Эрик Дарский.— Время идет!

— Кто за эти предложения? — улыбнулась Оля Костенко.— Повторяю: голосовать можно одновременно...

И снова шестнадцать рук взметнулось над полукруглыми, круто уходящими к потолку деревянными рядами аудитории.

И почти одновременно в коридоре зазвенел звонок, возвещавший о начале очередного учебного дня как на самом факультете журналистики, так и во всем Московском государственном университете имени Ломоносова.

(Окончание следует)

ДМИТРИЙ
НЕЧАЕНКО



☆☆☆

Лошади спускаются к реке,
над селом

плывут покой и пенье.
Дорогое мне соединенье:
родины и песни вдалеке.

Дорогая память: меркнут травы
на покосе, смолят самосад
мужики соседские, на равных
с пацаном, со мною говорят.

Луг темнеет. Звезды на подходе.
Я почти не слышу этих слов,
на соломе скрипнувшей подводы
падая в орешниковый сон,
и от слов почти неотличимо
фыркание пасущихся коней,
и шумит протяжная лещина,
и ворчит под камушком ручей...
Лошади сбредутся. Превратится
в камень слово, в шепот рыб — вода.
Родина не может прекратиться
в сердце человека никогда.
Говорят, поэту нужно тему...
Соловьи без темы говорят.
Я пройду,

как будто дрожь по телу,
по земле подсолнухов и хат.
А помру — и те же мужики
отдохнуть присядут на покосе,
помолчат, достанут папиросы
и раскочегарят костерки.

Тайными лесными вечерами,
перестав смеяться и дышать,
новый мальчик будет целовать
девочку с глубокими глазами,
и, к закату выйдя налегке,
замерев, увидит: все родное —
аисты гнездятся над избою,
лошади

спускаются
к реке...

☆☆☆

Я гуляю сегодня, как бывало давно —
где не звякнет подойник
поутру о ведро,
где нас жизнь городская
прислоняет и трет,
локоть к локтю качая
в синих трюмах метро.
И старухи в сирени,
осыпающей двор,
словно так и сидели
на скамейках с тех пор,
шпаря новости прессы
и окрестных домов...
Воздух рвется от резких
милицейских свистков.
Ничего я не спутал,
все теперь узнаю:
с деревенским испугом
я приехал в Москву,
был бездомной собакой
и пошел не в музей,
а шатался по паркам,
где была карусель.
Целовались лавки,
материлась шпана,
разноцветные лампы
ветер в листьях шатал.
Автоматы как люди.
Стал я с ними дружить,
удивлялся, откуда
газировка бежит,
был первейшим зевакой.
И о каждом из дней
как-то буднично жалко
вспоминается мне:
белый холод бумаги,
горный ветер строки —
я в рабочей общаге
сочиняю стихи.
Сны летают по койкам,
громко капает кран.
Спит безоблачно Колька
и тревожно Степан,
он средь ночи проснется,
спросит: «Что настрочил?
Чем тебя, — засмеется, —
божий дар осенил!»
Я скажу ему строго:
«Тут господь ни при чем,
дар во мне не от бога,
а от мамки с отцом».
И светло мне живется
без размолвки с судьбой,
и никак не дается
рифма к слову «любовь»,
и курю я от злости,
и бросаю писать.
И тяжелые звезды
надо мною висят
за окошком, и слабо
улыбнусь я во сне...
И, конечно же, слава
снится, глупому, мне.

ЕЛЕНА
АНАНЬЕВА



Настенный
календарь

Мой месяц сладостный — апрель!
Как он играл со мною в прятки.
И дни неслись. И без оглядки
я прожила тебя, апрель.

Мой месяц радостный — июнь!
От восхищения немея,
как я мечтала о премьере
начала лета, мой июнь.

Мой месяц важный, мой сентябрь!
Вдали от дома рокот моря...
И шум столичного прибора
уходит из души, сентябрь.

Старинный недруг мой — январь!
К чему лукавить, я предвижу:
я выюгу бурно ненавижу —
нас примирит жара, январь.

Но равнодушен календарь
к восторгу, горю, счастьем, муке.
И все ж протягиваю руки
к тебе, настенный календарь,

к тебе, движение природы,
к тебе, дарованная жизнь!
Я улыбаюсь. Улыбнись
и ты движению природы!

Она мудра. Но без затей
не пережить ее причуду —
то зной, то холод, то простуда?
И все же нас она мудрей.

И все же хорошо, что есть,
как смена жизни, смена года,
когда торжественно природа
нам дарит мир, какой он есть!

☆☆☆

Стихи, стихи... Как пишет Юнна Мориц,
когда слова вздохом твердят уста,—
шотландский замок полон богородиц,
и музыка таинственно-чиста.

И свет струится, убаюкая душу,
на бледный лоб, и странные глаза
смирненно отражают только душу —
иначе жить, иначе быть — нельзя!

Пока судьба, скитаясь и тревожась,
вершит ей предназначенный полет,
и пусть вершит, и пусть вершит, как может,
и в соты пусть несет нетленный мед.

Трудись, живи. Как долог слог у прозы.
Разматывая нить всесущного ума,
уже как будто мир блаженно дарит розы,
но только сей букет не пища пь для ума!

Верши, верши судьбу. Послушна добродетель.
А разум вновь и вновь решает, что же петь:
и то ль живьем гореть, когда душа — воитель,
то ли привычку несть — всегда себя жалеть.

Но что ни говори, стихи все та же мука,
все тот же страшный крен раздерганной души —
и только бы успеть,хватило б только духа
на белый хрупкий лист ее перенести.

Хватило бы ума смешать не жизнь, не сказку —
смертельный, душный всхлип души
среди чистых стен,—
но вот наивный день исторгнет снова краски,
тогда душа вздохнет — ей только свет взамен,
ей только юный блеск всезнающего мира.
От сердца отлегло. Печать не склеит уст.
И трепетно звенит и плещет словом лира,
и гибкая строка вздохом слетает с уст.
И странная судьба не требует паденья
лбом о дощатый пол и выход на крыльцо...
Но страшно и светло, как будто providенье
явило наконец поэзии лицо.

☆☆☆

Хвала ноябрю, когда души нежны,
когда, засыпая, тревожна природа,
когда в ожидании Нового года
заранее снятся веселые сны.
Хвала ноябрю, когда льются дожди
и зонтики над головами раскрыты.
Но лето сквозь холод мелькнет впереди —
и сразу восторги зимы позабыты.
И сразу же хочется моря, и нег,
и солнца, палящего прямо в затылок,
и страшчо подумать, что будущий снег
уляжется крепко — простудный и стылый.
И шарф потеплей, и пальто потеплей,
и шапку на уши, и в валенки — ноги...
А лето — роскошная зелень полей —
уже нереально среди зимней дороги.
Но все же пока лишь ноябрь за окном,
пока еще снег не хозяин в округе.
Давай же покуда мечтать о другом,
хотя бы о страстной рождественской выюге...

Полночная звезда

Сегодня ночь тянулась, как пустырь.
До горизонта пустота и темень.
И мне казалось, что подлунный мир
звезд сладкозвучных не приемлет племя.
И мне казалось, лунная стезя
не возбуждает романтичность боле —
и слабый вздох и бурная слеза
душой забыты, подчиняясь воле.
И мне казалось, боль и пустота
над мирозданием на века повисли,
но вот вошла полночная звезда
и рассекла лучом прозрачным мысли.
Она горела миллионы лет.
И мир, застывший в праздных сновиденьях,
не понимал, откуда этот свет —
ужель она горела на поленьях!
Ужель она сожгла себя дотла!
Но отчего же этот свет не тает!
Души твоей пустые зеркала
с чего теперь нас вместе отражают!
То все она — звезда судьбы моей,
то все ее старания и муки.
Спокойно спи. Среди дневных затей
я лишь к звезде протягиваю руки.
Лишь к ней одной плывет моя душа —
пространство разверзается с усилием.
Звезда горит и реет не спеша
над душами, вдруг вспомнившими крылья!

Пицунда

Весь этот мир как будто лишь для нас.
И моря шум. И теплый ветер веет.
Но почему-то разум мой не верит
в блаженный миг и в этот южный час!
Все слишком сказочно, воздушно и тепло.
В предчувствии судьбы душа немеет.
И в лунном свете апельсин белеет, —
как будто черно-белое кино,
как будто безупречна светотень,
и так бесстрастно проступает время,
как будто, руки положив на темя,
всей кожей ночь не принимает день.
Что ты молчишь! Луна горит в ночи,
отдохновенно освещая землю.
Ты скажешь слово — я тебе не внемлю.
Такая тишина. И ты молчи.
Молчи посередине тишины.
Молчи и слушай, как звенит природа,
как, радуясь всевластию, погода
блаженна под влиянием луны.
И кажется, что вечность за спиной.
Расслаблены и беспокойны мысли.
И в этот миг мы оба бескорыстны,
как эта ночь, которая со мной.
И счастье с неудачей пополам
отступит, отдаваясь в плен дремоте.
Такая ночь досталась нам на взлете
к другим как будто мыслям и делам.

Расстрелянным детям

«Сегодня утром был ликвидирован детский
дом «Колони анфан» в Изье-Эне..»
(Из документов Нюрнбергского процесса)

Жан-Мари, Мария, Марта...
Как печальны имена.
Жан-Мари, Мария, Марта,
кем вы стали для меня!

Жан-Мари, Мария, Марта,
скрыло время жизнь и свет.
Имена — Мария, Марта,
Жан-Мари... Вас больше нет!
Жан-Мари, Мария, Марта,
вскрикнуть не позволит смерть!
Автоматы, автоматы...
Больно. Больно. Холод. Смерть.

Фотография трюится.
Жан-Мари, так не случится —
снова смерть не повторится,
не обезобразит лица
автомата резкий треск,
и не охнет сонный лес!
Ах, Мария, Маша, Маша,
Марта, Катерина, Паша,
выражение ваших глаз
так спокойно, словно чаша
смерти не коснулась вас:

Жан-Мари, Мария, Марта,
а непржитая жизнь —
невозвратна, неоплатна.
Смерть под дулом автомата,
под прицельным смертным криком —
небо, поле, няня, Мика,
Жан-Мари... И повилка
наклонилась. Поклонись!

Только та, что рядом с вами,
ей бы тоже жить да жить,
только та — все понимала,
крепко-крепко обнимала,
быстро-быстро говорила
вам, чтоб только говорить:
«Жан-Мари, Мария, Марта,
дети, что вы? Все прекрасно!
И не плачьте и не бойтесь.
Стойте прямо, гордо стойте,
так, как ласточка в полете
замирает в тишине.
Тихо, дети,
верьте мне!»

Только детские ключицы
выпирали из темницы
тела хрупкого
и стоны губ не тронули немых...
Лес навеки содрогнулся
и проснулся, и проснулся
от предзимней сладкой спячки,
содрогнулся и затих
в скорби вечной,
в скорби страшной
и глаза зажмурил крепко,
чтоб не рухнуть, видя их...

Жан-Мари, Мария, Марта,
если кану безвозвратно,
если кану без следа,
памятью о вашей боли
всколыхнется сине море,
черно-синяя вода.
И застынет навсегда,
словно горе, горе, горе,
человеческое море!..
Только жизнь не повторится.
Явь страшнее, горше сна!
Словно смерть, висит таблица,
на таблице — имена:
Жан-Мари, Мария, Марта...

АЙМАН
АБУ-ШААР



Молодой сирийский поэт,
литературовед.
Живет в Дамаске.
Окончил в 1984 году
Институт востоковедения
в Москве.

Святой страх

Да, я боюсь...
Вдруг выстрелят в меня — и на дороге
упаду,
и тайный документ найдут в моем кармане.
И вытащат его, а я — в бреду,
и грязными руками пройдутся — как по
ране.

Да, я боюсь...
Кровь потечет моя, а кровь такая у меня,
что код моей судьбы, моей борьбы откроет.
Она расскажет все, секреты не храня,
и враг узнает план, наш тайный план —
по крови.

Перевела с арабского
Р. КАЗАКОВА.

☆☆☆

Было ли это,
Или мечта обманула?..
Поцеловала меня на глазах у рассвета —
«Прощай...» — шепнула
И ускользнула.
Слышал ли я, как ты ушла,
Или послышалось?..
Веки мои — крылья шмеля,
В сладости слипшиеся.
Но хлопнула дверь — горный обвал
От мира меня отрезал —
Я встrepенулcя,
сон мой упал
И разлетелся вдребезги.
Мне бы только вырваться вон
И за тобой в погоню,

Но ослепил меня
медный звон
Солнечного гонга,
Круглый
горячий
звон...

Мы с тобой —
раздвоенный ствол
дерева одного,
Прошлое наше в земле глубоко,
все дальше
мы от него.

Ветками,
листьями тянемся ввысь,
Но никогда нам не срастись,
Нас разделяет пустой небосклон
И нестерпимо горячий звон
Солнечного гонга,
Круглый
горячий
звон.

Как я давно за тобой бегу
И догнать тебя не могу.
Кажется,
вижу тебя в толпе,
Но за тобой
мне не поспеть...
Я стерегу тебя по ночам
В темных тоннелях снов,
Кажется, я тебя встречал,
Близко была ты, но...
Стоит руку мне протянуть —
Гаснет неясный свет.
В жизни люблю я тебя одну,
Только
тебя в ней
нет.

Вот и опять твоя тень
— Подожди!
Прочь от меня не беги!
Сердце мое,
Твои шаги бьются в моей груди!..

...Вот и опять повторится это —
Ты поцелуешь меня
на глазах рассвета...

— Не отпущу тебя!
Слышишь?
Веришь!!

...Но разлетелся сон,
Снова в мечту захлопнулись двери,
А наяву
только медный звон,
Солнечного гонга
Круглый
горячий
звон...

Перевела
М. ЛОЗИНСКАЯ



изельная подводная лодка, приютившая на борту Николая Черныха, не была ему чужой. Первый год своей службы он проплавал на ней. Лодка носит имя «Якутский комсомолец». Самым памятным событием для Николая, связанным с этим кораблем, был полет вместе с делегацией от экипажа в город Якутск и поселок Тикси, встреча с шефами — комсомольцами Якутии.

...На неохватной глазом водной равнине слепяще-белыми заплатами кое-где плавали льды. Августовское солнце выглядело усталым. Затя-

МИХАИЛ
ГОДЕНКО

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

РОМАН

нудное изжелта-серой водянистой марью, оно не в силах было обогреть нахолодавшее за долгие месяцы зимы пространство. То и дело накатывала нудная хмарь, лепила сырими хлопьями снега, напрочь застилая свет. Когда комковатая рваная наволочь уходила прочь, на голубую полуду неба вытекало бледным желтком солнце, и под его лучами вспыхивали белым огнем редкие станицы плавающих льдов. Еще несколько дней тому назад бухта Тикси лежала спокойно, поблескивая вольными водами. Материковые ветры унесли было ломаный лед в море, но затем подул с океана, сперва подняло волну, позже принесло льды. Бухта покрылась торосами, плотными спайками, над ней запуржило по-зимнему. Высокий остров, поднимающийся посередине бухты, до этого уже начавший одеваться бледной дымкой робкой зелени, снова нахлобучил на себя белый пушистый малахай, как бы напоминая этим, что короткая пора неверного северного лета миновала, того и гляди нагрянут холода.

У границы ледяного затора замер черно-белый, похожий на диковинную птицу, присевшую на воду, ледокол «Семен Челюскин». Но не тот славноизвестный пароход «Челюскин», который, будучи зажатым в ледовых тисках, удивлял когда-то мир героизмом и стойкостью. Нет, это не он.

Нынешний «Семен Челюскин» — корабль второго поколения громкой династии, сын «Семена Челюскина», унаследовавший полное отцовское имя. Он тоже много и честно успел поработать на Большом Северном пути.

Ледокол флажками марсового сигнальщика передал слова приветствия каравану судов, попросил следовать за ним. Он налегал массивной, высоко поднятой грудью-килем на ледовое покрытие, ломая, топил его, крошил на мелкие крижины. Низко сидящей, раздавшейся вширь кормой разводил ледовый лом по сторонам, оставляя за собой просторную полосу чистой воды.

...Моряки-подводники прилетели в Тикси ночью. Их поселили на ледокольном судне «Семен Челюскин». Когда они еще спали, судно ушло

Рисунки
Г. Пондоццо

О к о н ч а н и е. Начало см. в № 8 за 1985 год.

в море, чтобы встретить караван и привести его в порт. Потому проснувшись гостям-подводникам показалось, что они прибывают в Тикси морским путем.

Николай Черных стоял на баке, глядя во все глаза на приближающийся неведомый берег. Вот проплыл мимо остров с круто ломаными боками, оставшись за кормой справа. Вон там, прямо по курсу, у подножия горы, прилепился поселок. Уже стали различимыми крупные желтые здания порта. Террасой повыше расположились похожие на них строения. Еще дальше и еще выше бурели темные кубы деревянных жилых построек в один и в два этажа. Сопка, раскинувшаяся амфитеатром, определила черты поселка. Справа и слева от жилых массивов — пустынная рудая земля, изрезанная разломами, круто сбегаящими вниз. В теневой стороне разломов ярко белел застаревший снег.

В порту — у причалов и на рейде — густая толча с судов. Медленно двигались по стенке порта краны. Наклоняя ажурные клювы, они выуживали грузы из трюмов, поднимали их на невидимых паутинках-стропях, относили далеко на берег. На рейде суда разного достоинства, разной окраски: желтые, зеленые, бурые, оранжевые. И все это виделось намертво вмороженным в бело-ледяную просторную подставку.

Николай Черных смотрел на вершину пологой сопки, над которой зависало чистое солнце, на сверкающе-белые лоскуты снега во впадинах и не верил, что все это видит наяву. Якутия, Тикси, море Лаптевых... Думал ли он когда о них? Так, может быть, вскользь вспоминал перед экзаменом по географии, не больше. Зачем они ему? Что они для него значили? Никогда не предполагал, что его дорога проляжет здесь. И почему именно здесь? Мало ли бухт, мало ли портов и на севере и на юге? Почему на его пути должна лежать именно Тикси — холодная, забытая богом страна? Интересно, сколько же отсюда до его Семипалатинска? Где он, Семипалатинск — теплый благословенный край, и переселенческая слобода, что раскинулась по равнине близ города? Даже не верится, что они существуют на свете. По такому времени лежат они, обдуваемые палящим суховеем. Пожухлые травы, побуревшие листья. Опустевшие поля уже чернеют зябью, кое-где высятся золотые скирды соломы, пахнет яблоками, подсолнечным маслом, пережженным творогом. Горчит во рту от дурманного приторного запаха сухого болиголова. Когда-то он срзал на пустыре трубку его полого — от сустава до сустава — ствола, вытаскивал палочкой ватную сердцевину. Брал в рот рябую скользкую фасолину, прикладывая трубочку из болиголова к губам, выстреливал фасолиной в затылок Нюська — младшей сестры. Она кривила рот не от боли, скорее от обиды, тянула по-овечьи:

— Ма-а-а!..

Мать разгребала спину над корытом, поправляла сползающий на глаза платок, грозилась:

— Вот я тебе!

Дедушка Мартын, опираясь на держак лопаты, покачивал седой головой, пытался пристыдить:

— Здоровило такой! Скажу батьке, он из тебя дурь разом вытряхнет.

Кольку бранят, а ему до щекотки радостно. Почему так?..

Отец все где-то на бригадах да на совещаниях. Сквозь сон услышишь, как мать откидывает крючок двери, впуская его в дом. Утром продерешь глаза, а его уже и след простыл. Только горчинка тронет за сердце: обиды, что ли, может, тоска? Слишком

мало видится с отцом, всегда испытывая жажду побыть с ним. Почему так тянет к отцу? Нюська, та, понятно, к мамке липнет: девчонка! А Кольке охота к отцу притулиться. То пиджак его накинёт на плечи, словно невзначай, то сапоги примеряет. В старой отцовской фуражке — еще фронтальной, офицерской, с лакированным козырьком, — бывало, целыми днями бегал...

Дудка вахтенного вернула Николая Черных к реальности. Переливисто засвиристала, человеческим голосом повелевая:

— Начать утреннюю приборку!

К вечеру на «Семен Челюскин» пожаловали шефы — представители комсомола Якутии. Их встречали на причальной стенке замполит подводной лодки Степаков и секретарь комсомольского бюро Яша Урусов. Яша — старшина первой статьи, он из пятой боевой части, как и Николай. Якут, коренастый, большоголовый, крупнолицый, с широко посаженными в косых разрезах век глазами. Родом Яша из поселка Сунтары, что на реке Вилюе, притоке Лены. Еще при швартовке посмотрел было Николай Черных в крупные, каштанового цвета глаза Яши, оживленно забежавшие в узких щелках, и подумал: «Кому край света, кому край родной».

Секретарь обкома комсомола Светлана Никина кинулась к Яше, обняла. Она знала его еще до службы. Урусов работал инструктором горкома в Мирном, в городе, где добывают алмазы.

— Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга! — К замполиту Степакову подошел секретарь Тикси-Булунского райкома комсомола Борис Дегтярев.

Замполит показал рукой на трап.

— Проходите, дорогие шефы. — Тут же спохватился: — Почему вас так мало?

Светлана Никина пояснила:

— Должны были приехать ребята из колхоза «Арктика», но вездеход подвел. Передали по рации, чтобы вы к ним пожаловали.

— Далеко? — спросил замполит.

— Быкова протока... Светлана улыбнулась, стягивая рот гузкой. Она стеснялась разоблачить свой, как ей казалось, постыдный недостаток: плотно посаженные широкие лопаточки верхних передних зубов в тесноте напоздали друг на дружку. Продолговатое смуглое лицо девушки, ее тонкие темные брови, карие глаза — все просило улыбки широкой, свободной. Но зубы не позволяли. Зря, конечно, она боялась их показать — насколько они ее не подвели, но ей казалось... Если вертолетом, час времени.

— Около того, — уточнил Борис Дегтярев. — Зато посмотрим Лену.

— Добро, — полусогласился замполит. — Давайте пока зайдем в наше временное пристанище — кубрик ледокола, посидим, все обговорим.

Винтокрылая машина долго вертела горизонтальными лопастями, прогреваясь. Лопасти винта казались неимоверно мягкими, эластичными, при малых оборотах они опускались концами вниз. И только набрав скорость вращения, вытянулись впрямую, образовав над машиной широкую, прозрачную стекла тарелку. Легко оторвавшись от земли, вертолет пошел свечой вверх, затем, качнувшись, с усилием упираясь винтом хвоста, развернулся, зависая

на месте, и, как бы падая набок, понесся в сторону материка.

Вертолет трясло и кидало, словно безрессорную коляску по глубоким рывинам поганой дороги. Стук мотора, шипение забортного воздуха, врывающегося в дверные и в иллюминаторные щели, мелкая, с ознобным зудом, вибрация корпуса, позванивание металлических, плохо принаитованных вещей — все это раздражало, создавало неуют в салоне.

Николаю Черныху хотелось поговорить, выпросить у того же Бориса Дегтярева о его житье-бытье здесь, на краю земли, но пришлось рукой махнуть: в таком гае не услышишь людского слова, только глотку надорвешь. Сидевший напротив старший лейтенант-торпедист, считай, в самое ухо влазил своей соседке Свете Никиной, а разговор все равно не клеился. Света ежилась, как от щекотки, поводила плечами, вертела головой, показывая что-то на пальцах — пантомима да и только!

Начала одолевать прохлада. Добро, надели меховые куртки. Светлана зябко поводила плечами в своем демисезонном пальтишке. А старший лейтенант — командир торпедной группы, ясно, не догадался прикрыть ее полую своей просторной теплой одежины. Заполнит держал фасон, что ли? Сидел без куртки, в одном кителе. Куртка его брошена в хвост салона на кучу брезента. Борис Дегтярев, опытный, привычный к здешнему климату человек, одет надежно: кожанка на молнии, под нею шерстяной свитер грубой домашней вязки — удобно в любую погоду.

Где же Быкова протока, где Быков мыс?

Николаю, конечно, не разобраться. Здесь все сплошь изрезано протоками, утыкано мысами, испещрено островами. Рябая территория, как посмотреть свысока, непригодная для человеческого обитания.

Борис потянулся рукой через плечо Николая Черныха к иллюминатору, показал пальцем вниз, прогудел над самым ухом:

— Становице.

— Где, где? — Николай не мог поймать приметы.

— Рефрижератор видите?

Николай скосил взгляд, заметил на водной полосе плоское, как почудилось с высоты, судно. На том берегу, на полого разостланной серо-песчаной равнине, белели брезентовые палатки.

— Стан, стан! — обрадовался своему открытию.

Машину завалило набок, понесло вниз, вот-вот трахнется об землю. Зависая на месте, раскачивалась с борта на борт, словно качели, снижалась осторожно, поставила резиновые ноги-колеса на песок, утихла.

Налетевшие лайки с визгом и храпом кидались к гостям, подпрыгивая высоко или становясь на задние лапы, пытались ткнуться мордами людям в самое лицо, лизнуть руку.

— Работяги! — объяснил Борис, оглядывая собак. — Добродушные. Церберы — те вон за палатками, на цепи прикованы.

Черныху интересно стало:

— Что же они поделывают, работяги?

Яша Урусов повернулся к Николаю Черныху, замереваясь ответить вместо Бориса. Заметно дрогнули полукружья бровей, мясистые губы истончились в широкой улыбке.

— Отдыхают покуда. Однако скоро падет снежок — впрягутся в лямки.

Рослый кобель, став на задние лапы, полуобнял Николая за талию, семеня за ним. Николай локтем прижал собачью голову к своему боку.

— Выносливые, видать?

— Яша, расскажи морякам про Ивана Жохова, — попросила Светлана Никина.

— Не слыхали, однако? — удивился почему-то Урусов.

— Откуда же?

— Гой-гой, все газеты писали! Герой тыла. В войну все случилось...

— А ты откуда знаешь? — шутливо толкнул его в бок Николай. — Тебя еще и на свете не было.

— Якуты говорят. — Яша делает ударение на последнем слоге, впрочем, как и все якуты.

— Что говорят?

Ближние к Урусову, наклоня головы на ходу, стали прислушиваться.

— Что говорят, что говорят? — вроде бы недовольно повторил Яша Урусов. — Настоящий якут, говорят! Тундры не боится, пурги не боится. Море — не страшно, лед — не страшно. Сырую рыбу кушает, сырое мясо кушает. Оленина — хорошо. Нету оленины — собаку кушает.

— Расскажи толком, что случилось? — уже обеспокоенный судьбою какого-то Ивана Жохова, подталкивал Яшу Николай.

— В войну дело было... — Урусов, не замечая того, остановился, его плотно обступили прилетевшие с ним гости. — Мясо надо на фронт, шкуры надо, меха... Главное, однако, меха — на вес золота! Охотников нет. Где охотники? На Большой земле воюют. Один оставшийся дома охотник должен за десяти-рых стараться... — Яша Урусов на службе обычно говорит без акцента и не косноязычит, а здесь, в родной обстановке, видимо, разволновался. — Поехал Иван Жохов крайний тундра проверять капканы, один поехал на собачью упряжку. Месяц нету — подождем, нормально. Два нету — волнуемся, однако: где Иван Жохов? Три месяца нету, четыре месяца нету — ай, как нехорошо! Пять — совсем плохо... — Урусов, открыв рот, пошире раздвинув щелки глаз, обвел всех взглядом, начал рассказывать как будто совсем о другом: — ...Иван Жохов один скакал на собачьей упряжке по льду, проверял капканы, бил собаля. Шибко удалился в море. Буран отколол лед, унес Ивана Жохова. Долго носил. Все запасы скушал Иван Жохов. Собаки голодные, Жохов голодный. Решил, однако, пса резать. Маленько ел, маленько собак кормил. Второго зарезал. Когда льдину прибило к Новосибирским островам, хорошо стало, однако: зверя много. Проверил капканы — большой улов. Новые поставил. Свежевал зверя, мясо замораживал и для себя, и для собак, шкурки сушил... Полгода прошло, молебен по нему отслужили, однако.

— Молебен? — кто-то спросил недоверливо.

— Молебен! — подтвердила Светлана Никина. — У нас вера русская, православная.

— То-то я слышу, у якутов наши фамилии, — Николай произнес слово «якутов» на новый лад, — имена наши.

— Ну-ну, не перебивать! — шумнули недовольно.

— Иван Жохов прямиком по Лене, — кивнул на реку Урусов, — по льду вернулся домой. Жив-здоров. Богатства привез — целую тундру. Клад! Сдал поставки за весь колхоз. И еще сверх того столько же от себя — в Фонд обороны. Герой тыла, якутский Ферапонт Головатый! Газеты писали, портреты печатали.

Они шли по левую сторону рукава реки, по ровному песчаному берегу. Их окружила целая ватага пацанов.

— Где Иван Гаврильевич? — обратился Борис Дегтярев к ребятне, спрашивая о бригадире.

Детвора наперебой залопотала по-здешнему, тыча замурзанными пальцами в сторону дальних лодок, видневшихся на протоке.

— Пойдемте на тону, посмотрите, как ловится севрюга. Хорошо сейчас идет!

— Иван Гаврильевич!.. Ого-го-гоу!... — Урусов приложил ладони ко рту рупором, повернулся к широкой протоке, на слюдяной поверхности которой колыхались черные, густо смоленные челны, заводящие сеть.

Ответа не было. Борис Дегтярев предложил:

— Айда, ребята, подмогнем девушкам! — И первый кинулся к сетям, которые с усилием тянули одетые в джинсы и ватные стеганки молодые якутки.

Николай Черных положил бечеву на плечо, взялся за нее, сырую, осклизкую, обеими руками, сгорбившись, пошagal в глубь берега, утопая ногами в сухом податливом песке. За ним, вдоль бечевы встали и некоторые другие ребята. Замполит Степаков ушел к дальней сети. Яша Урусов у ближайших соседей пристроился.

Повеселела рыбалка. Девушки-якутки загалдели, заголготали какими-то чаечными голосами.

Бригадир Иван Гаврильевич Дьяконов, заметив гостей (как было не заметить? Он еще в воздухе увидел шумно тарыхтящий вертолет), дружно работающих на сетях, приободрился. Он не любил бездельных туристов-экскурсантов, которые хотя и редко, но все же пробирались сюда. А эти гляди как — с ходу за работу. Понятно, морячки — свой народ. Дьяконова предупредили накануне:

— Подводники придут.

— Посмотрим, однако, — только и ответил старый бригадир.

Иван Гаврильевич вышагнул из лодки прямо в воду, не боясь замочиться: резиновые сапоги доставали ему чуть ли не до пояса. Лодку развернул носом от себя, подтолкнул в корму, приказав двум девушкам, оставшимся в лодке (обе в очках), идти к судну-рефрижератору и привезти оттуда замороженного омуля: решил попотчевать понравившихся гостей строганиной.

Когда на реку легли белые сумерки и высокий противоположный берег протоки как бы отделился, скрываемый ленивой завесой тумана, когда уже отшумел пир в просторной бригадирской палатке, когда население рыбацкого становища, усевшееся на бревнах, выловленных в Лене для топлива, прослушало беседу «большого морского начальника» — замполита подводного корабля, говорившего, казалось, обо всем на свете, да так ново и увлекательно, как никто до него здесь еще не говорил, — Николай Черных решил спеть. Что его подмыло, бог знает. Человек он импульсивный, увлекающийся. Может, белые сумерки растрожили и необычность обстановки, может, Светлана, подолгу задерживавшая на нем взгляд. Он спросил, найдется ли гитара. Гитару охотно принесли.

Усевшись поудобней на бревне, окруженный и малыми и старыми, чувствуя, как улегшийся рядом лохматый пес полизывает носок его ботинка, Николай долго и терпеливо настраивал инструмент. И вот прошелся щипками по струнам, перехватил нижние лады, повибрировал слегка грифом — гитара всхлинула жалобно. Вспомнил песню, которую сам сочинил когда-то. Начал тихо, исподволь, почти шепотом, вздыхая, скорее просто разговаривал, нежели пел:

**Снится избушка на горке,
Криницы живая вода.
Матросу бывает горько,
Но это, друзья, не беда.**

**Далекie синие очи —
Они нам верны не всегда.
Порой не хватает мочи,
Но это, друзья, не беда...**

Ударив по взвизгнувшим струнам, качнув грифом до стона внутри полого инструмента, поднял голос на горловой хрипчатый крик.

Вслед за неистовыми переборами словно наступил штиль после буйного ветра, все улеглось, слышались тихие слова:

**Нас мало, но мы в тельняшках,
Кипит штормовая вода.
Порою матросу тяжело,
Но это, друзья, не беда.**

**Порою ему одиноко —
И это, друзья, не беда,
Гуляло бы море широко
Да в небе светила звезда.**

И какой-то шальной, откуда-то пришедший странный, точно из другой песни, припев-мольба в самом высоком регистре...

Люди долго сидели молча, не могли опомниться. А он, потирая правое колено ладонью, улыбался растерянню и виновато.

Николаю приснились олени, о которых рассказывал Яша Урусов.

Он видит: огромные стада диких оленей несметной лавиной накатываются с островов на материк, смешиваясь с прирученными оленями, уводят их от людей в вольные, недостижимые края. И ничто не может остановить дикую силу, природную тягу живого существа к свободе. Николай видит, как поднимается взбитое тысячами копыт снежное облако, видит туман, образовавшийся над стадом от горячего дыхания оленьих ноздрей, слышит всхрипы, стоны, взвизгивание напряженных животов, сухой перестук сплетающихся в полете ветвистых рогов. И вот они, бывшие минутой тому назад домашними, послушными, прирученными, забыли враз всю науку, вырвались на волю, пьют ее жадно, окунаются в нее всем существом — до хрипа, до стога, до самозабвения.

Люди изобрели оружие, меткие арканы, ременную упряжь, длинные деревянные хорей, чтобы отобрать у них свободу. Но они разорвали путы, преодолели барьеры, возвращаясь в свое изначальное состояние.

Николай испытывает жажду скорости. Быстрее, быстрее!.. Он тоже несется вместе с оленьим стадом. Хрипя, дышит колючим, опаляющим легкие ветром, хватая ртом встречные удары снежных зарядов. Горячая сладость тает у него за щеками. Затем туманная неразбериха. И вроде бы обратный бег...

Ну да, он напоминает, про это тоже рассказывал Яша Урусов на берегу Быковой протоки. Да, рассказывал...

Нагулянные по свободе на Новосибирских островах олени тьмой-тьмущей возвращаются на материк. Идут по цепочкам островов — дорогой, проложенной их предками. Форсируют проливы вплавь. И вот материк, устье Лены с его многочисленными рукавами, мысами, протоками. Но что протоки вольным животным, преодолевшим морские просторы, что им полосы узкой воды!..

Беда тем и страшна, что всегда подстерегает неожиданно. На противоположном берегу рукава, в индивидуальных ровниках-укрытиях, застыли стрелки с ружьями на изготовку. Когда уморенное стадо выходит, стоная, из воды на пологость песчаного берега, надвигаясь плотной массой, бесчисленным фронтом, тут и раздаются, словно проломы в судьбе, выстрелы. Роняя кровавую пену, бодая землю рогами, ломая шеи, падают замертво олени. По всей равнине, насколько хватает глаз, и слева и справа, валяются подбитые. Десятки, сотни, тысячи!.. Уцелевшие с лета перепрыгивают через укрытия стрелков, в ужасе выкатив огромные иссиза-желтые глаза, спасаются в тундре. На этот раз пуля к ним была милостивой.

«А что это?» — беззвучно вскрикивает сомкнутым ртом Николай. Он слышит оглушающий бой ручного пулемета. Много их, пулеметов, секут пространство веерами пуль, косят железной косой оленье царство. Кунами валяются животные, сплетаются рогами, бьются предсмертно копытами.

Война!.. Да-да, это война их косит так безжалостно, не на выбор отстреливает нагулянных самцов, а всех поголовно, без разбора. Война... Она, оказывается, не только людей выкашивает, но и оленье стадо. Ее кормить надо, она прожорлива, ненасытна, потому кинула свои пулеметы аж сюда, в устье Лены. Вот куда достала! А ведь Николай еще недавно верил, что докатилась она только до Волги, всего-навсего...

10

Им помогли подняться по трапу центрального отсека на верхнюю палубу: инженер-лейтенанту, командиру реакторного отсека Алексею Горчилову, мичману Макоцвету Ивану Трофимовичу и старшему матросу Макару Целовальникову.

Недалеке показалось судно-спасатель. Его все ждали с нетерпением, особенно командир атомной экспериментальной, капитан второго ранга Мостов Анатолий Федорович. На приказание адмирала быстрее покинуть лодку и команде и ему самому, Мостову, отвечал, что желает лично передать корабль сменному командиру, посоветовать кое-что, поделиться наблюдениями.

Море посвежело. Кое-где на гребнях волн завиднелись белые барашки. Потому из-за качки спасатель не стал притираться бортом к борту, а спустил на воду шлюпки, переправил на них сменный экипаж на экспериментальную.

Мостов, уединясь с вновь прибывшим командиром, что-то долго ему объяснял, советовал. Пришедший только кивал и повторял единственное:

— Добро, добро!

Когда помогли перейти с борта на борт Горчилову, Макоцвету и Целовальникову, Анатолий Федорович Мостов в последний раз окинул взглядом свою лодку, прошелся взглядом от кормы до носа, мед-

ленно осмотрелся вокруг. Чем-то горячим обдало все внутри, мысль о непоправимости случившегося, потере чего-то невероятно дорогого сжала горло. Он одной рукой потирал подбородок, другую втиснул в карман кителя, сжав ее в кулак до хруста. Он медлил переходить на чужой корабль, медлил покинуть свою лодку. Словно замороженный посвежевшим вздохмаченным морем и таким высоким открытым небом, задумался, ушел в себя.

Стоял конец февраля — начало весны. Море, подогреваемое теплым течением, источало благодать. Не так далеко отсюда, на островах, рано зацвели вишни. На далеком Апеннинском полуострове и в недостижимом Ташкенте пышно цвел розовый миндаль. В Адене выходили в залив на утлых суденышках ныряльщики добывать жемчуг. На Чукотке охотники преследовали соболя. В Антарктиде санные поезда двигались при семидесятиградусном морозе со станции на станцию. В Аравийской пустыне, задыхаясь от знойного песчаного шторма, бедуины понукали медлительных верблюдов. Сухо шелестели пальмы у пляжей Центральной Америки, так же сухо шелестели волны Атлантического и Тихого океанов, накатываясь на широкие полосы золотого теплого песка. Как язвы на теле земли, в разных местах тлели малые войны. Вспыхивали разрывы снарядов, вздымая в воздух то песок Синайского полуострова, то болотистую жижу тропических долин Никарагуа, то рыжую землю Анголы и Намибии, то желтую глину Кампучии. И все эти немислимо протяженные пространства менее чем за сотню минут облетал шарик-спутник, заброшенный в небо человеком, скопировавшим шар земной, заставив его, шар-копию, летать вокруг, глядеть на свою Матерь, как бы говоря людям: «Какая она все-таки маленькая, наша обитель, какая она все-таки несказанно прекрасная! Неужели вы, так называемые высшие существа, цари и законодатели, поднимете на нее руку, неужели превратите ее в безжизненное холодное тело?..»

И еще подумалось Мостову: «Может быть, мы облучились сегодня ради того, чтобы не облучилась вся планета? Может быть, наша лодка является сегодня болевой точкой мира, солнечным сплетением, по которому жестоко ударил случай, как бы напоминающий о возможной и недопустимой катастрофе?..»

Покидая корабль, он разделся, оставив на себе только трусы и китель, не торопясь, перешел на дизельную лодку.

Дожидаюсь, пока ему помогут перейти с борта атомохода на благополучный борт соседней лодки, мичман Макоцвет глядел в небо. Ясное и открытое, оно сперва обрадовало его, затем насторожило. Он заметил высокие, еле видные перистые облака. Причем они не просто слоились, а порвав слои, сбивались комочками, становясь похожими на густо положенные разрывы зенитных снарядов. В народе такие облака называют «затиркой», они предвещают недобрую погоду.

Когда он, уже будучи в каюте на дизельной лодке, уснул наконец, ему все время снились умершие мама и татко. Сон был какой-то неглубокий, ненастоящий, он как бы делился на два слоя: нижний, первый слой — это то, что снилось: его родные, как они ходят по подворью, задают корм скотине, полют огород; и второй, верхний слой,двигающийся вместе с первым одновременно — он вроде бы и не сон, а полусон-полуявь, потому что в нем Макоцвет размышлял по-правдашнему, понимал, что тот, первый сон-слой, неправда, потому что мама и тат-

ко давно померли, и что это они пришли к нему только так, во сне; и еще он понимал: раз снятся мертвые — значит, дело идет к перемене погоды. Недаром же на небе он заметил густую затирку.

Проваливаясь в сон поглубже, он увидел Христосика — ворага своего, так и не пойманного, недобитого вражину, нелюдя и душегуба, прострочившего из автомата Марусиных родителей. Не поймал, не удалось расквитаться, и это будет мучить его до конца дней.

...Хутор стоял в долине. Зимой его заносило снегами, весной заливало обильными паводками. В хуторе всего семь дворов, потому назывался: Семихатки.

Ваня Макоцвет хорошо знал хутор, все его дворы, широко расставленные среди низинного мелколесья. В ту военную зиму часто бегал в Семихатки к дядьке Порфирию то с записочками, то с устными поручениями. Случалось, Порфирий посылал его в Кринички или еще дальше — в Богучары. Дядько Порфирий, слышал Ваня, часто просил командира группы взять его в боевую операцию, но командир так ни разу его и не взял, оправдываясь:

— Ты нам тут дороже!

Ординарцем у командира был Христосик — мелкорослый мужичок с птичьей головой. Кадровый военный, при отступлении отбился от части, пристал к партизанам. Служил он верой и правдой. И в бою не трусил и на переходах не пасовал. Наблюдались за ним и смекалка и военная хитрость. Бывало, водил группу на задание, всякий раз успешно. Поверили человеку окончательно, доверились ему. И он старался в полную силу.

Но вот однажды, когда группу прижали к глинистому обрыву горы, отрезав ей путь к ближнему лесу, когда все бойцы-партизаны были убиты или тяжело ранены, оставшийся в одиночестве Христосик (так он назвался, когда пришел в отряд) поднял руки. Его схватили, связали, отвезли в комендатуру. Говорят, поначалу держался стойко, ни людей не выдал, ни места расположения отряда. Но затем, когда заставили играть на пианино и когда при первом же аккорде, взятом Христосиком пальцами обеих рук, легшими на белые и черные клавиши, немецкий офицер, проводивший допрос, резко ударил крышкой пианино по длинным пальцам Христосика, и они хрустнули, точно пересохшие веточки, Христосик взвыл и повалился без сознания. Его отлили водой, посадили вновь за инструмент — он и надломился.

В ту ночь Маруся, шестилетняя дочка Порфирия, прибежала в село, постучалась в хату Макоцветов. Она упала у порога, долго не могла отдышаться. Мать Вани, хозяйка дома, подняла девочку бережно, посадила у стола на лавку, стала допытываться, что случилось. Маруся голосно рыдала, повторяя одно и то же:

— Усех порешил, усех порешил!..

— Кто порешил, расскажи толком.

— Мамку, татко — усех, усех...

— Ты его знаешь, кто он?

— А то как же, Христосик!

— Христосик?

— Ага, он привел их до нашего двора...

— Что ты, Мусенька, опомнись, Христосика замутили немцы.

Когда Христосик надломился, когда сдался фашистам вконец, они решили его же руками убрать по-

одиночке партизанских активистов. Был пущен слух, что Христосик скончался, показывали даже его место захоронения. А тем часом, переодели его во все серое — в немецкую солдатскую форму и кинули в лес с карательным отрядом.

Первой жертвой оказались родители Маруси. Когда каратели, выломав дверь, ворвались в хату, Маруся забилась под кровать. Оттуда она услышала, как застучал автомат, увидела, как упали на пол сперва мамка, затем татко, как под ними росли кровавые пятна, как пятна слились в одно и как от того единого отделился ручеек и покатился по пыльному полу прямо к Марусе под кровать. Слышала звон разбиваемой посуды, оконных стекол, слышала, как разговаривали между собой каратели, особенно запомнился голос Христосика — трубно-басовитый, странный голос. Она и раньше, еще когда Христосик был партизаном, слушая его, не верила, что это он говорит: голос был какой-то чужой, совсем не похожий на того человека, который им обладает. Верилось, у Христосика он должен быть высоким, визгливым, с хрипотцой.

А тут чистый густой басыще.

Когда Маруся высунулась из-под кровати, она увидела его, Христосика. Только раньше он ходил в валенках, в армейских галифе защитного цвета и в темной ватной стеганке. Шапка на нем была серая, армейская из искусственной мерлушки. Теперь же Христосик переменялся. Одет в тяжелые ботинки с высокими голенищами на шнуровке, немецкие брюки и куртку серо-сталистого цвета, суконную ушанку с козырьком. На груди — автомат с перекинутым через шею ремнем. Он же, Христосик, особо запомнила Маруся, командовал остальным:

— Поджигай!

Солдаты внесли в хату охапки соломы, подпалили от зажигалок жгуты бумаги, ткнули огонь в солому, удалились.

Когда уже умолкло тарахтение машины-вездехода и когда от дыма и горячего духа Маруся стала задыхаться, она опрометью кинулась из-под кровати, шмыгнула в открытую настежь дверь, подалась босая, простоволосая, в одной нижней рубашонке через бугор по снежным заносам в село искать защиты и приюта.

Ваня Макоцвет, слушая Марусю, начал одеваться.

— Ты куда? — строго обернулась к нему мать.

— Мне надо! — взмолился Ваня.

— На ночь глядя?

— До дядька Кочерги.

Кочергой звали командира отряда.

— Где его сейчас найдешь? Заплутаешь в лесу... — уже просила, а не приказывала мать.

— Найду!

Ваня вылетел из хаты. В лицо ему ударил сырой ветер, пахнувший тальм снегом. «Тяжело будет бежать, — подумалось. — Надо держаться вёрхом, кряжем, спускаться в лес у трех криничек».

Наткнулся на часового уже на рассвете. Тот был в белом маскировочном халате, капюшон на голове зажгутрован. Часовой не окликнул пришлого, а просто высунул из кустов на тропку ошкуренную белую палку, которую Ваня не заметил и о которую запнулся, упал лицом в снег. Часовой зажал ему рот рукавицей, попросил:

— Помолчи, паренек, потерпи. — Когда Ваня пришел в себя, партизан строго спросил: — Что ищешь? Скажешь, теленок пропал, отбился от коровы, забрел в чащу, так?

— Ни!

— А как?

— Шукаю Кочергу!

— Глянь-ка, каждому нужна кочерга! Что, нечем в печи пошуровать?

Ваня осмелел окончательно.

— Нечем!.. Веди быстрее, тебе говорят,— завел за спину руки.— На, вяжи. Накинь повязку на глаза, только веди быстрее!

На третий день, под утро, каратели ввязались с бой с передовой группой партизан, которая умышленно отводила их в сторону от лагеря. Ваня видел Христосика, тот вертелся на коне вдали, за передней немецкой цепью, что-то покрикивал по-ихнему. Видел и то, как Христосик качнулся в седле, бросил поводья, схватился за левое плечо: видать, пуля туда угодила. Конь какое-то время нерешительно топтался на месте, затем, развернувшись, понес седока к опушке, где стоял немецкий вездеход.

С тех пор Ваня не видел Христосика. А вскоре и все оккупационные власти откатились на запад вместе со своими битыми частями. Подумалось, Христосик убежал с ними, его не найти.

Прошло более десяти лет. Перед самой свадьбой, когда Ваня и Маруся, которых все привыкли считать братом и сестрой, решили пожениться, когда хлопотали с закупками всего необходимого для торжества, Маруся как-то прибежала домой сама не своя, задыхаясь, глотая слова, показывая в сторону автобусной остановки междугородных линий, наконец-то вытолкнула из себя:

— Там, там!..

— Что стряслось? Ай гроши потеряла? — Иван Макоцет начал подтрунивать над невестой.

— Христосик.

Отчужденно и забыто прозвучало это имя. Иван давно согласился с неотмщенной потерей. И вот...

— Где?

— На остановке.

— Обозналась!

— Чтоб мне провалиться!.. Выпрыгнул из автобуса, разминается. Потянулся сладко, прижмурился. Что-то показалось знакомым. А когда снял шляпу — тут я его и вовсе признала. Да как не признать, он всегда мне казался на хорька похожим.

Когда вместе прибежали к остановке, автобус тронулся. Иван попытался было догнать, но, запаленно дыша, остановился, в сердцах махнул рукой. Маруся потерянная разрыдалась. Но тут же, спохватившись, понимая, что слезами горю не поможешь, решила действовать.

— Вань, догони! — попросила.

— Еще чего придумаешь!

— Догони, Вань! — приказала строго.

— У меня крылья, что ли?

— Скачи на конюшню к дяде Спирке, возьми коня — и через гору, навprostец, наперерез!..

Иван даже не дослушал последних слов, он все сообразил, сорвался с места, подался на скотный двор. Коня седлать не стал: некогда. Бросил ему на спину дерюжку, схватился за холку, подпрыгнул, навалившись на лошадь животом, закинул ногу. Булавою словно передалось нетерпение седока, махал скоком, постанывая, поекивая селезенкой. Постепенно спина его под дерюжкой, служившей вместо седла, взмокла, он засапался, на удилах показалась пена.

Иван прискакал в город, намного опередив автобус. Ваел коня во двор станции, нашел место, где на табличке указан номер автобуса, его маршрут. Стал дожидаться.

Когда подошла машина, с шипением и грохотом распахнулись ее обе дверки, выходящие пассажиры с любопытством рассматривали юношу, подступившего к камому выходу, удерживающего на поводу

запаренного коня. Вышли все, дверцы захлопнулись, автобус откатился в дальний угол двора, стал под навесом.

Христосик как в воду канул.

Возможно, Маруся обозналась. Может, то был вовсе не он? Вряд ли... Она описала его до мелочей, и костюм его диагональный темно-синий, и белую нейлоновую рубашку, и клетчатый галстук, и шляпу с широкими полями модного кофейного цвета, а главное, лицо его — маленькое, как у хорька.

Такого в автобусе не оказалось.

II

Дизельные подводные лодки ушли вперед. Когда они удалились на значительное расстояние, судно-спасатель обогнуло черное тело экспериментального подводного атомохода, выглядевшего оглушенной взрывом и всплывшей на поверхность рыбой диковинного размера. Зайдя с носа лодки, судно застопорило машины, начало подбавывать помалу задним ходом. С его борта полетели бросательные концы — один, затем второй. Матросы носовой швартовой команды сменного экипажа атомной лодки начали сообща выбирать слабинку буксирных тросов. Тяжелые, маслянистые, они выползали удавами из темной воды, извивались, как живые.

Восточный ветер развернул стоящий в стороне эсминец форштенем в сторону атомохода. Еле заметно поклевывая носом, как бы кланяясь кому-то, он стоял в дрейфе. На верхней палубе одиноко маячила фигура академика. Он был весь в темном: на ногах темные бурки с хромовыми союзками, темные флотские брюки, убранные в бурки, темное длинное пальто с черным каракулевым воротником. Лишь голова его ярко белела, высокая, на длинной шее, наголо бритая, конусом сужающаяся к макушке. Лицо узкое, массивное, безбровое, со значительно выделяющимся длинным, чуть с горбинкой носом. Академик не отрывал глаз от швартовых работ, будто в них сейчас было для него заключено все главное. Но это только так казалось со стороны. Незрячие его глаза следили не за швартовой отсек атомохода. Видел трубопровод, видел врезанные в него вводы нового трубопровода, как это предположил командир БЧ-5 капитан третьего ранга Шилов. Казалось бы, немыслимое дело, противоречащее всем правилам и наставлениям, не предусмотренное никакими нормами, никакими циркулярами, теоретически кажущееся гибельным для корабля, — спасло корабль, стало той необходимой деталью, которая, может быть, и предотвратила гибель. Вот какие козыри выкидывает практика!

Случай с реактором несколько не поколебал веру академика в свой реактор. Устройство надежное, долговечное, мощное — как раз такое, которое и требуется для современного подводного корабля. Вот только трубопровод... Но это не конструкторский просчет, скорее всего случайность. То ли стенка его в том месте оказалась тоньше требуемого размера, то ли при изгибе дал вытяжку больше положенной, то ли какая-то необъяснимая слабость вселилась — определить сейчас трудно. Но случай из тех, которые бывают один раз в жизни. А между тем... И вход в реактор не предусмотрен, больше того, категорически запрещен: святая святых! Однако же пришлось войти. Оказывается, есть что-то сильнее всяческих запретов. Впервые вошел в

реактор атомохода человек в полном здравии, ясно мыслящий, понимающий все последствия своего поступка. И ничто его не остановило!.. А что толкнуло?.. Не то ли чувство, которое вело Курчатова — человека одержимого, отдавшего всего себя ради великого срочного и необходимого дела? Решался вопрос: или — или? Для безопасности государства, для равновесия мира безотлагательно требовалось противопоставить им свою атомную бомбу. И он «спалил» себя, чтобы не сгорели другие — сотни, тысячи, миллионы. Чтобы не было новых Хиросим и Нагасаки. Курчатов гасил собою тлеющий огонь будущей войны. Иначе говоря, лег грудью на амбразуру. И вот его наследник, можно сказать, его сын, инженер-лейтенант Горчилов, молоденький бледнолицый паренек с грустными большими глазами, тоже лег грудью на амбразуру. Академик знает его, бывал на лодке, видел этого юношу, робеющего перед начальством, по-детски застенчивого. Честно сказать, не подозревал за ним склонности к решительному действию. Такие способны больше к размышлениям, нежели к поступкам. Он первый на флоте вошел в реактор. Он... Кто же он? С кем можно сравнить, ведь не было аналогов в истории. Алексей Горчилов прикрыл весь экипаж, всю лодку собой, взял огонь на себя и в себя. Он представителю того поколения, чьи отцы гибли и продолжали гибнуть (осколки, пули, раны, болезни) от прошлой войны, а их самих начинает доставать будущая война, которая не должна состояться, которую необходимо предотвратить. Нам предотвратить!

Отцы и дети...

Мы много говорим, много спорим о конфликте между отцами и детьми. Порой стыдливо отмахиваемся от очевидного, пытаемся доказать, что у нас, в нашем обществе, нет места для конфликта, нет причин, его вызывающих. Но жизнь — она вещь упрямая, она не хочет подчиняться благим пожеланиям, у нее свои непреложные законы, в том числе конфликт между отцами и детьми. Да, диалектика: отрицание отрицания! Если бы не было конфликта — не было бы и развития, движения вперед. Дети идут дальше отцов, родительский консерватизм им мешает. Но главное как раз не в конфликте, не в наличии его — он очевиден: и биологический и социальный! — главное состоит в том, что генеральную линию развития жизни дети не отвергают, они ее поддерживают, главное состоит в том, что в критической ситуации каждое поколение и отцов и детей способно родить Джордано Бруно и Жюль-Кюри, Жанну д'Арк и Матросова, Курчатова и Гагарина. Может, они для того и гибли, чтобы жило человечество. Может, брали огонь на себя и в себя, чтобы мы не сгорели в дурном пламени войн и прошлых и будущих. А эти сегодняшние бойцы с атомной подводной лодки... Может быть, их опалил огонь готовящейся войны, против которой мы встаем?

А что такое война?

Бессмысленное истребление людей и ценностей, которое никогда и никому не приносило блага и никакие сложные вопросы не решало, а только больше запутывало, ту же затягивало узлы противоречий.

Вспомнилось размышление Льва Толстого: «Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать».

К одиноко стоящему на палубе академику подошел адмирал, тронув за локоть, предложил:

- Не спуститься ли нам в каюту?
- Что, есть новости? У вас был разговор со штабом флота?
- Пока нет.
- Ожидаете?
- Мы всегда чего-нибудь ожидаем, — уклончиво ответил адмирал. — Посвежело. Боюсь, простудитесь. — Он снизу вверх посмотрел на высокую непокрытую голову академика.
- Пустое... Я привык. С детских лет хожу без шапки.
- Правда?
- Даже насморка не бывает.
- Видать, у вас температура тела выше обычной?
- Возможно. — Помолчав, спросил: — Что вы думаете о тех ребятах, которые вошли в реактор? Как они вам видятся?

— Честно сказать, пока чувствую только одну тревогу и за них и за корабль. Тревога не дает возможности трезво, со стороны посмотреть на происшедшее. Пока я их не вижу. Это придет позже.

— У меня они постоянно перед глазами. Возможно, в несколько нереальном виде. Вижу их обнаженными, мускулистыми, могучими атлантами, которые на своих плечах выносят подводную лодку на поверхность и удерживают ее на плаву. Не правда ли, несколько высокопарная картина? Хочу избавиться от этого видения, стараюсь представить их простыми ребятами, обыкновенными парнями — и не могу. — Погладив высоко поднятую над покатыми плечами голову, иным тоном предложил: — Пожалуй, мне надо спуститься в лодку, посмотреть все в натуральном виде.

— Преждевременно, — не раздумывая, возразил адмирал. — Все возможное — сделано.

— Полагаю, радиация уже невысока.

— На базе провести лодку будет куда удобней.

— Пожалуй, так.

То ли правду говорят, то ли байки сочиняют о странностях академика. В домике, где он останавливается, приезжая на флот, в специально для него построенном коттедже, говорят, все краны медные. Сам попросил ставить только медь. Объяснил, что, приходя домой, надо брать руками за медные краны и этим как бы заземляться — заряды выходят вон. Под кроватью у академика стоит двухпудовая гири. Рассказывают, он ею и упражняется, и еще она служит вот для чего. Современный человек ходит в современной обуви, изготовленной из резины или других заменителей кожи, эта обувь изолирует человека от земли. Одежда синтетическая — даже потрескивает разрядами при раздевании. Так вот, чтобы оттянуть часть своей заряженности, надо разуться, прилепить на какое-то время босые ступни к чугунной массе гири.

Те, кто помнит военное время, рассказывают, что он занимался размагничиванием кораблей, чтобы уберечь их от магнитных мин.

В шесть утра всегда можно видеть академика на взлобке возле домика — оголенного по пояс, натирающегося снегом.

Николай Черных долго стоял молча у притвора двери, ведущей в жилую каюту дизельной лодки. Он неотрывно глядел на лицо инженер-лейтенанта Алексея Горчилова, лежащего под простыней на кожаном диване.

— Не узнаешь? — попытался улыбнуться Горчилов. — Неужели так изменился?

— Есть маненько, — честно признался Николай. —

Дак ведь не в фишки играли — дело делали,— добавил.

— Как лодка? — обеспокоенно спросил Алексей Горчилов.

— Чё, лодка? Железо и есть железо, чё ему сдается?

— Не говори...— Алексею хотелось добавить: «Мне она кажется живой, ей, поди, тоже больно». Но вслух не сказал, а только подумал об этом.— Железо тоже чувствует.

— Загибаете, товарищ лейтенант!

— Честно тебе говорю. Его надо понять...

— Новое дело! Никогда об этом не думал.

— Зря...

— Товарищ лейтенант, хотите, спою вам нашу, моряцкую?— оживился Николай, переводя разговор на другое.— Вот только возьму у ребят гитару. Я мигом.

— Добро.

Черных Николай опрометью кинулся в соседний отсек. Тихо перебирая струны, вернулся в офицерскую каюту. Следуя за ним, пришли еще трое матросов. Он сел в ногах у Алексея Горчилова, стал побренькивать, подстраивая инструмент.

— Какую? — спросил, лишь бы спросить. Все знали, что всегда первой он поет свою — песню собственного сочинения.

— «Нас мало, но мы в тельняшках»,— предложил кто-то, угадывая его желание.

Николай посмотрел на Горчилова, тот подтвердил кивком головы.

— Лады,— согласился Николай.

Какое-то время он, казалось, беспорядочно бегал пальцами по грифу, легче обычного щипля струны. Два первых куплета пропел, не повышая голоса:

**Снится избушка на горке,
Криницы живая вода.
Матросу бывает горько,
Но это, друзья, не беда.**

**Далекie синие очи —
Они нам верны не всегда.
Порой не хватает мочи,
Но это, друзья, не беда...**

Было непонятно, почему с такой робостью поет Николай, в каком-то щадящем темпе, в щадящем режиме. То ли он считал бестактным бить по живому, видя, в каком состоянии находится Алексей Горчилов, то ли считал, что после всего пережитого каждым его песня не к месту. Но, поняв по лицам, особенно по недоуменному взгляду Горчилова, что люди от него ждут другого, того настоящего, какое умел выдавать он в прежние дни, Николай вздохнул, постанывая, завибрировал грифом, ударил по струнам неожиданно резко, срываясь на крик, продолжил:

**Нас мало, но мы в тельняшках.
Кипит штормовая вода.
Порою матросу тяжело,
Но это, друзья, не беда.**

**Порою ему одиноко —
И это, друзья, не беда,
Гуляло бы море широко
Да в небе горела звезда.**

Стало несвободно дышать. Словно заверяя, что именно так и будет, что никто никого не бросит, никто не останется без помощи, повторил почти шепотом:



Гуляло бы море широко Да в небе горела звезда...

Какое-то время Алексей лежал, крепко смежив веки. Ни о чем не думал, ничего такого ему не виделось. Только казалось, что море рябит перед глазами, рябит, поигрывая мелкой зыбью.

Неожиданно для всех полупризнался:

— «Летят утки» сможешь?— Хотел было открыться совсем, заявив, что любит эту песню, что мама ее часто пела с соседкой, когда та, случалось, заходила посумерничать, но почему-то не признался, посчитал, видимо, что не по-матросски это — вдаваться в такие переживания.— «И два гуся...» — добавил.

Николай с готовностью откликнулся. Стал подбирать тон, чтобы и не высоко и не низко — по возможности, брал аккорды, что-то мыча про себя. Найдя нужное, начал бережно, протяжно:

Летят утки,
Летят утки
и два гуся...

Надолго растянул последние слова. Тяжело выдохнув «эх», выдал сокровенное, сделал горькое признание:

Кого люблю,
кого люблю —
не дождуся.

Николай поглядел на Горчилова, на его сузившиеся от боли глаза, посчитал, что и первая и вторая песни сейчас неуместны, жестоки. Оживленно вскинул гитару над коленями, перевернул ее тыльной стороной, принялся отбивать такт, словно на барабане. Искусно крутнув инструмент, поймав нужные лады, зачистил, наигрывая «Сибирскую польку». Все заулыбались, почудилось: повеяло хвойным настоем.

Алексей следил за быстро бегущими тонкими пальцами Николая Черныха и думал: «Сам бог тебя послал на нашу лодку».

12

Яблонька стояла в степи одиноко. Сколько обнимет взгляд — во все четыре стороны света — голая степь: ковыли, полынь, разнотравье: пестрое весной, однообразно бурое летом. В конце апреля зацветала дикая яблонька. К ней находило дорогу множество пчел, шмелей, ос. А вокруг нее, у ее подножия и дальше, до самого горизонта — маки. Живым пламенем они охватывали степь, и степь становилась бесконечно нарядной, похожей на праздник.

Дедушка Олжас приезжал сюда на ослике, приводил отару на выпас. Он всегда ехал медленно, не понукая осли. За ним шел неимоверно высокий одnogорбый верблюд, навьюченный всякой поклажей, за верблюдом — старый одnogоргий козел-атаман (рог потерял в бою за право на любовь, за честь быть вожаком!), за ним неразумное овечье стадо — отара.

В хвосте отары, глотая пыль и кислый овечий дух, брел Макарка Целовальников, длинношей пареня в подшитых валенках, ватных штанах и меховой безрукавке, надетой поверх тесной, с коротковатыми рукавами рубашки неопределенного цвета. На маленькой голове, глубоко надета — почти на самые уши — сидела старая офицерская фуражка с лаки-

рованным козырьком. Было похоже: Макарка весь вылезал из массивной меховой безрукавки, как черепашка из панциря, — и длинная шея с мелкой головой, и длинные руки, и длинные ноги.

Возле Макарки терлись рослые, словно телята, володавы. Они постоянно косили глазом на хозяина, ловили каждый его жест, готовые в любой момент кинуться туда, куда им прикажут: то ли завернуть и прижать к отаре отколовшихся и не в меру удалившихся баранов, то ли поторопить далеко отставших позади ягниц.

Дикая яблонька была центром мира, от нее начинался отсчет и пространству и времени. К ней приходили, как к заветному рубежу, ее оставляли, как дом родной. Дедушка Олжас въезжал на ослиати в ее редкую крапчатую тень. Кряхтя, переваливался на бок, нащупав ногой почву, не переносил вторую ногу через круп скотинки, стоя на одной ноге, подталкивал осла вперед, ставил на освободившееся место вторую ногу. Верблюд останавливался поодаль, терпеливо ожидая, пока хозяин, усевшись под яблонькой, упершись спиной в ее шелушащийся ствол, не выкурит свою трубку.

Видя, что старый чабан достиг заветного места, Макарка посвистом приказывал володавам сбить отару то ли правее, то ли левее яблоньки, — судя по ветру, — сам тоже направлялся к деревцу, стоя не в тени, а на солнцепеке, защищаемый от жары меховой безрукавкой, опираясь на длинную палку, ждал указаний пастыря.

Дедушка Олжас, выбив трубку о ствол яблоньки, кивал в сторону верблюда, Макарка шел к верблуду, развешивал его, тащил переметные сумы в тень. Достав пустой высокогорный глиняный кувшин простого обжига, шел с ним вон к той желтеющей глиняной осыпи, под которой поигрывал еле заметными пульсирующими бугорками прозрачный, ледяной свежести родник.

Когда тень яблоньки укорачивалась так, что солнце начинало припекать ноги старика, обутые в сырмятные ичиги, наступало время обеда. Макарка расстилал в тени пестрый коврик, дедушка Олжас несуетно доставал из сумы коржики, овечий сыр и красный стручковый перец. Они сидели, жевали, переглядывались, словно беседа молча. Понимали друг друга по жестам, взглядам, вздохам. Потому могли, за весь долгий божий день не произнеся вслух ни единого слова, чувствовать, будто наговорились вволю.

Так случилось, что к ним в степь, под яблоньку стала наведываться внучка дедушки Олжаса — Толпон. Темно-смоляные ее волосы заплетены в несколько тонких тугих косичек, длинный халат светло-вишневого цвета обшит по вороту, обшлагам и по низу серебристой тесьмой. На макушке пестрая тюбетейка, украшенная стеклярусом, который выглядел, как дорогие камни-самоцветы. Толпон равно улыбалась и дедушке и Макарке, шутила свои и без того сильно прищуренные глаза, глядя на играющего в яркой вышине кобчика.

Перед тем как дедушка собирался подремать, он кидал многозначный взгляд на Макарку, переводил его на Толпон и затем устремлял его в степь, в сторону источника. Понимая старика без слов, юные уходили подалее в простор, скрывались в ложбинке, где травы погуще, где местами еще колыхались на ветру редкие приподнявшиеся маки.

Общение Макарки с Толпон тоже не было многословным. Он гладил мелкие косички девушки, она в смущении теребила край своего халата. Иногда плела венки, тихо напевая что-то протяжное, а он лежал на спине, глядел в синеву и думал о том

как славно они заживут с Толпон после женитьбы. Как-то она потянулась к нему, чтобы надеть венок на его голову. Он, вдруг осмелев, перехватил ее руки, выронившие венок, прижал ее к себе. Впившись обветренными колючими губами в ее пухлые, согласные, но пока безразличные губы, начал терять сознание.

Верный его володав огненно-рыжей масти по кличке Бандит, лежавший неподалеку, сначала от-вернулся, затем и вовсе встал, побрел подальше.

Часто приходила под яблоньку Толпон, часто уда-лялась с Макашкой в логовину.

На следующий год, осенью, перед тем, как ей вызревало время рожать, старики, их родители, до-говорились о свадьбе.

Толпон родила девочку. По ее настоянию, — Ма-карка охотно согласился, — дитя назвали модным именем Марина. Чтобы быть поближе к Толпон и Марине, Макар оставил отару, попросился на сов-хозную ферму дояром. Недолгое время побыл на курсах в районном центре, вернувшись, принял ко-ров. Ни свет ни заря вскакивал с постели (время чувствовал без будильника, как вообще умеют его чувствовать сельские люди), торопился на ферму. В подсобке включал титан-кипятильник. Нацедив в ведро кипятку, разбавлял его холодной водой из-под крана, садился под корову, мыл вымя. Шлепком по заду провожал ее в станок, ограниченный желез-ными прутьями. Взяв в руки тяжелый доильный ап-парат, напоминающий шлангами и присосками спру-та, ловил коровьи титьки, надевал на них присоски, включал ток. Резиново-пластмассовый спрут дергал-ся, жадно высасывая молоко из вымени, гнал его по стеклянному трубопроводу в соседнее помеще-ние, где стояли серебристые баки-желудки, собира-ющие надой. А на дворе уже пофыркивали нетерпе-ливые машины с цистернами, крашенными в цвет парного молока.

По душе пришлось Макару его новое занятие. Только часто вспоминались яблонька и тот славный ложок, где Толпон плела венки. И еще ему было неспокойно из-за того, что он мало видел Маринку. Глянет на спящую, уходя, да посмотрит на уже давно уснувшую, вернувшись домой, — вот и все свидание. В редкие часы, когда ему удавалось вырваться с фермы днем, он брал дочку на руки, носил ее по комнате или выходил с ней во двор, присматривал-ся к ее кругу, как у Толпон, пухлому личику, заглядывал в щелочки темных глаз, говорил, гово-рил ей всякое — на редкость был разговорчивым. Дитя тоже, будто понимая его, лопотало что-то в ответ.

В Первомайский праздник втроем ходили на ми-тинг в Дом культуры. Когда директор стал зачиты-вать список лучших рабочих совхоза, назвал также Макара Целовальникова. Всех упомянутых попроси-ли подняться на сцену. Девушки-комсомолки повя-зали каждому из вызванных широкие кумачовые ленты через плечо. На лентах белым написано: «Передовик соревнования». Когда уже спустился Макар в зал, сел рядом с женой, держащей на ру-ках дочку, он не знал, как ему быть: то ли пора снимать ленту, от которой лицу стало жарко, то ли пускать повисит. Ничего не решив, просидел, увен-чанный, весь вечер и домой пришел в ленте.

Жил, словно околдованный счастьем. Иногда не-доумевал, за что ему так повезло в жизни. Иные ругали свою судьбу, проклинали весь белый свет. Макар не мог нарадоваться тому, что видел вокруг. У него было все, что необходимо человеку. Жива и еще не старая его мать, жив отец, который воевал два последних года, дошел до Ератиславы — и ни

единой на теле царапины. Отец работал трактори-стом. Главное везение, считал Макар, его Толпон. Он взял в жены лучшую девушку поселка — так считал, был в этом глубоко уверен. Дочь Маринка, похожая на Толпон. Скоро ее станут относить в яс-ли. И тогда Толпон вместе с Макаром будет ходить на ферму, ее обещают устроить в кормоцех опера-тором.

Совсем неожиданно пришла Макару повестка из военкомата. Толпон плакала, убивалась, а Макар уже мечтал о том, как, отслужив свой срок, снова вернется в поселок и тогда уже до самой кончины его отсюда никто и куда не вызовет.

Макара сильно удивило, что его взяли на флот. До этого он уже прикидывал, как будет выглядеть в защитной армейской форме, мысленно примерял гимнастерку, галифе, сапоги. Но его повезли на Балтику, в школу подплава, одели во все черное и такое нарядное, которого, сдавалось ему, он никак не заслужил. И опять Макар подумал, что ему слиш-ком везет в жизни. Иногда суеверно опасался: ког-да-то же и платить придется за такое везение. Из ничего — ничего не бывает. Все требует, чтобы его заслужили, даром не дается. Стал даже побаивать-ся своей везучести.

По второму году окончательно втянулся в службу. Ему присвоили звание старшего матроса. А по тре-тьему, когда служба, как говорят, уже покатила-ся под горку, успокоился вконец. Поверил в то, что вот она, его степь, вместе с яблонькой и дедушкой Олжасом, вот они, и Толпон и Маринка — до них рукой подать.

По приходе дизельной подводной лодки на базу Макару Целовальникову помогли подняться наверх первым. Когда уже был на палубе, заметил стоящих на пирсе санитаров. Поверх черных флотских шин-елей надеты неимоверно белые халаты, выделявшие своей яркостью даже на фоне недавно подсыпав-шего снега. Вдали на асфальтовом полотне стояли военные машины «скорой помощи» защитного цвета, напоминавшие Макару и формой и окраской ветеринарные машины, приезжавшие в степь, к ота-ре, только у тех кресты на боках были синими, а у этих алые.

Их отвезли в военный госпиталь, переодели в све-жее белье, поместили троих в одной палате. Врачи и сестры, пахнущие резкими лекарствами, в хала-тах, плотно завязанных на все тесемки, в колпаках и марлевых масках, вкалывали в разных местах те-ла иглы, подолгу вливали какие-то прозрачные ле-карства. Через некоторое время поднесли высокие, вроде стеблей, металлические стойки, на самом верху укрепили вместительные стеклянные посуды-ны, от которых спускались вниз тонкие резиновые шланги, вводили в вены, что у локтевого изгиба, массивные иглы, снимали со шлангов зажимы, по-хожие на обыкновенные бельевые прищепки, только меньшего размера — и жидкость в сосудах медлен-но, почти незаметно убывала.

Тем временем в аэропорту готовили самолет для специального рейса. Над базой появился шумно та-рахающий вертолет. Он облетел и пирсы и жилые дома, окрашенные в ярко-желтое — любимый цвет в Заполярье, — зависая, покачался над госпиталем, уйдя в сторону открытой площадки, плавно опу-стился на землю.

Когда их разместили в вертолете, он ударил лопастями винтов по воздуху так, что снег вымело до самых камней. С трудом оторвался, начал под-ниматься. И тут случилось что-то такое, непонятное

для провозжавших: то ли занесло машину боковым ветром, то ли винты — горизонтальный, основной, и вертикальный, хвостовой — не так сработали, машина стала раскачиваться, ее повело в сторону, и она чуть ли не приложилась к сопке со всего размаху. Натужно взревели моторы, подняли темный корпус с беспомощно повисающими колесами, вертолет качнулся, свечой пошел вверх. Только тогда все вздохнули облегченно, радуясь тому, что к одной беде не прибавилась другая, вовсе нелепая.

Их ждали. Вертолет опустился на площадке возле взлетной полосы. Принявший их самолет, казалось, соблюдая предельную осторожность, двинулся к взлетной дорожке, выйдя на нее, дал газ, легко разбежавшись, оторвался от земли у дальнего леска, взял курс на Москву.

13

Оперу он не любил. Считал противоестественным, когда, вместо того чтобы сказать несколько слов своему обидчику или другу, человек начинает под музыку долго и старательно вытягивать каждый слог, иногда спускаясь до басового звучания, иногда поднимая голос высоко-высоко, до предела. Считал, что мысль, переданная таким образом, многое теряет, ибо слушатель обречен следить не столько за самой мыслью, сколько за тем, красив ли голос, есть ли в нем наполненность, страсть, вытянет ли певец то или иное ударное место. Необходимо прислушиваться и к звучанию оркестра и к хору, которые зачастую, сдается, живут сами по себе, обособленно от героя, оставляя его наедине с муками и сомнениями.

Оперу он не любил. Но понимал и принимал отдельные арии, которые стали популярными, охотно слушал, даже сам себе напевал, воспринимая их как песни или романсы.

Оперу он не любил за ее перенаселенность, когда на сцене, где драматическое действие, где решается вопрос: быть или не быть? — мельтешат, вертятся, прыгают артисты балета, когда вместо уединенного общения героям мешают торжественные выходы, парадное блистание нарядов, украшений, орденов.

Оперу он не любил. Но она его тревожила какой-то загадкой. Он допускал, что если собирается такое количество жаждущих, заинтересованных людей, если так торжественно и нарядно алеет бархат кресел, если так ярко и значительно сияют люстры, играя хрусталем, блестя позолотой, если так всё замирает после постукивания о пюпитр дирижерской палочки, если все так ждут первых аккордов увертюры, если не сводят глаз с тяжелого занавеса, который, как всем верится, скрывает за собой мир удивительный и заманчивый, короче говоря, если все так охотно и глубоко заинтересованно обманываются всем этим, значит, во всем этом есть что-то такое, чего он, Алексей Горчилов, не понимает и не принимает, и потому, думалось, теряет какую-то непознанную радость в жизни. Все это и огорчало его и раздражало. И он раз за разом старался убедить себя, что полюбит оперу, поймет ее, разгадает ее скрытую прелесть.

Уже в этот раз его привлекла своей высокой значимостью, красотой и глубиной переживаний ария Антонида. Дочерняя любовь, предчувствие неотвратимой беды, горе и лишения народные — все в ней сплелось.

Алеша с благодарностью пожал руку Алле за то, что она уговорила его ехать в оперу.

По-особому следил за арией Ивана Сусанина, ловил каждое слово томительного прощания с миром, со всем тем, что довелось узнать и увидеть за долгую жизнь. Сегодняшний день Ивана Сусанина — последний его день, последняя заря в его нелегкой судьбе, которую он нес безропотно и достойно. Алеше было непонятно только, как можно добровольно решиться на такое. Неужели Сусанин не знал, на что идет? Знал и действовал сознательно. Где нашел столько силы? А смог бы он, Алексей Горчилов? Вряд ли. Уверен, не достало бы воли. Да и странно как-то, противоестественно идти навстречу своей гибели. Это, пожалуй, возможно, когда жизнь становится неумолимой, а так, когда все в тебе молодо, свежо, когда тело радуется движению, когда ты полон надежд, — вряд ли возможно. Оставить Неву, колышущую напористым ветром, колонны Исаакия, высокие, с позолоченными стрельчатыми наконечниками прутья ограды Летнего сада, голубую, дышащую знойным востоком маковку мечети?.. Никогда, никогда и ни за что на свете!..

Откинувшись на спинку кресла, закрыв глаза, он немного освободился от нахлынувшего страха, отвлёкся от картины гибели, которая по-своему рисовалась его воображению. Чтобы отдалиться, освободиться от потрясшего события, он наклонился к уху Аллы, шепнул еле слышно, не без гордости:

— Моряк.

— Кто? — повернулась к нему Алла в недоумении.

— Иван Сусанин.

— Не может быть.

— На Соловецких островах учился в школе юнгов, а затем плавал на катерах.

— Ничего не понимаю!..

— Я об артисте.

— А-а-а!..

— Североморец!

— Хвастай, хвастай.

Алеша любил этого певца. Высокий, крупный, он казался Алеше настоящим морячиной и настоящим артистом. Охотно слушал его в концертах, часто ставил на проигрыватель пластинку с его записью. Особенно нравились романсы «Гори, гори, моя звезда» и «Ямщик, не гони лошадей». Песни далекого прошлого, казалось бы, что в них такого, что могло касаться современного парня, молодого моряка. А поди ж ты, возьмут вот так — и сидишь, забывшая дышать.

У Аллы горели щеки. В гардеробной она высвободила руку из-под Алешиного локтя, отошла к зеркалу, тряхнула завитой с утра на бигуди копной каштановых волос, поправила их легким прикосновением пальцев, открыла черную сумочку-бобоночек, достала пудреницу, слегка коснулась щек пушком, провела им по носу, защелкнула пудреницу, защелкнула сумочку. Еще раз поглядев на себя в зеркало, поднесла к губам палец, провела им по бровям, снова к губам и бровям. Зачем-то огладила и так хорошо сидящее на ней вязаное шерстяное платье вишневого цвета, тронула серебряную цепочку со знаком Зодиака — Весы, направилась к вешалке, где уже стоял одетый в шинель Алеша. В одной руке он держал свою черную фуражку с золотым «крабом», на другую перевесил кроличью темную шубку Аллы.

Сегодня Алла была особенно хороша. У Алешы появилось желание обнять ее здесь, при всех, но он пересилил себя, все же, помогая надеть шубку, дольше положенного задержал руки на ее плечах.

Алла, скосив черные большие глаза, ответила благодарным взглядом. Решительно надев фуражку, твердо взяв спутницу под руку, повел к выходу.

Долго и безуспешно пытались взять такси, оставив попытки, пошли пешком к метро. С пересадкой доехали до конечной остановки, в район новостроев, где Алла недавно получила однокомнатную отдельную квартиру. Улучив момент, когда завернули за угол, он привлек ее, поцеловал воровато и поспешно. Она деланно удивилась:

— Лёха, ты что! Гляди, как осмелел. На северных морях так научился?

— А то где же? Прямо подо льдами океана!

— Чему еще там научили?

— Быть посмелее, не томить девушек, говорить им о своих чувствах!

— И что же ты решил?

— Решил сказать, что настоящий мой приезд будет последним.

— Опомнись, зачем накликаешь судьбу! — не на шутку расстроилась Алла.

— Не о том подумала. Последним холостым приездом. — Сделал ударение на слове «холостым».

Аллу словно обдало жарким ветром. Затаилась, ожидая, что он еще скажет. Она так ждала этого часа, молила бога, чтобы он скорее наступил. И вот он, кажется, пришел. Даже попридержала дыхание, боясь вспугнуть удачу, мысленно прося Алешу высказаться до конца. Он почему-то надолго замолчал. И ей стало невмоготу. Пряча лицо в воротник, подтолкнула его в разговор:

— Каким же будет твой следующий приезд?

— Следующий будет женатым.

Ей не хотелось упустить разговора, решила довести дело до конца.

— И на ком же ты женишься?

— На самой хорошей девушке!

— Я ее знаю?

— Лучше, чем я.

— Она согласна?

— Буду просить, умолять, заклинать!..

— В таком случае, вам с ней надо сходить в загс, подать заявление. Там ведь долгая очередь, — напомнила ему, что расписаться сейчас не так просто.

— Для нас делают исключение.

— Прямо уж!

— Правда. Для военных, да еще специально командированных...

— Командируют жениться?

— А ты что думаешь! Для приведения в порядок личных дел.

— Скажи, пожалуйста! — Аллу начала забавлять такая беседа. Она и верила и не верила. — Нет, Лёха, правда?

— Североморцы никогда не обманывают.

— Что-то ты сегодня какой-то не такой.

— Какой?

— Незнакомый вроде бы.

По дороге от метро до дома казался новым, решительным. Но поднявшись на восьмой этаж, вошли в квартиру, зажгли свет — и снова Лёха стал прежним Алешей. Алла даже поразилась перемене.

— Что с тобой?

— Ничего.

— Раздевайся, будем пить чай.

— Не хочу чая.

— Вина не держу.

— Мы на Севере пьем и спирт, — неудачно пошутил, криво усмехнулся.

— Спирта — тем более.

Он сел на тахту, дотянулся до журнального столика, взял книгу, начал листать, не посмотрев даже

ее названия. Глядел на страницы пустыми, незрячими глазами. Вдруг засомневался, ему показалось, не туда пришел, не то делает, упускает что-то важное, необходимое, невозвратное. Вспомнил, что с утра пообещал матери побыть последний вечер дома. Но позвонила Алла, предложила пойти в оперу, и он забыл о своих утренних обещаниях. И дядя Володя просил прийти пораньше, и тетя Лида, жена дяди Володи, тоже просила. Ему стало стыдно, что обманул их, что сейчас не с ними. А этот залихватский разговор о женитьбе!.. Зачем он? Уверен ли, что Алла тот человек, которого ищешь, с которым готов связать себя навсегда? Порой кажется: готов. Она, и только она. Но тут же приходит сомнение. Перед глазами встает Вера. Словно она заняла все в тебе, всего тебя и ты от нее никак не можешь освободиться. По приезде домой в этот раз искал случая, чтобы встретиться, пускай так, не специально, ненароком. Или хотя бы встретить ее подруг, узнать от них, как она, что она. Слыхал, у нее уже растет сын, зовут его Алешей. Не в твою ли честь назван? Не о тебе ли думала, когда «крестила» своего первенца? Может быть, она тоже тоскует по тебе, сожалеет о разрыве? Может быть, ищет повода и возможности встретиться с тобой, да никак не находит? Может быть, готова бросить все, порвать со всем, что ее связывает, и прийти к тебе. Ты бы принял, ты бы простил! Зачем же тогда Алла?

Она переодевалась в ванной. Сняла с себя все, накинула на обнаженное тело махровый кремовый халат с капюшоном и широким поясом, вышла в кухню, зажгла плиту, поставила чайник и снова вернулась в ванную. Уже стоя под душем, сквозь сипение и шелест водяных струй, сквозь лопотание брызг по полиэтиленовому берету, который надела и под который старательно убрала волосы, чтобы не попортить прическу, расслышала свист закипевшего чайника — чайник был модным, со свистком на носике. Ступив из ванны на коврик, приоткрыв дверь, попросила:

— Алеша, выключи, пожалуйста, чайник.

Она понимала: нельзя упускать своего часа. Все должно решиться сегодня. К этому дню Алла шла терпеливо, боролась за него, сколько есть сил. Она знала, что все будет зависеть от того, как себя поведешь.

Втиралась, стоя на синтетическом коврике, разглядывала себя в зеркале, врезанном в дверь ванной комнаты на полную высоту. Промокая пушистым полотенцем под грудью, остановила взгляд на родимом пятне, слабо проступавшем сквозь бело-молочную кожу. Ей вспомнилось, с какой жадностью прижимал губами к этому пятну тот, которого знала еще в Минеральных Водах, когда кончала десятый класс. Он работал на железнодорожном узле, инженер-путеец. Высокий, стройный, носил зеленый костюм, алый бархатистый галстук, всегда затянутый малым узлом. В первый год ее учебы в институте он дважды приезжал в Ленинград. Она приходила к нему в гостиницу, подолгу оставалась в номере. Он был ласковым и жадным, щедрым и широким, порой даже терпящим голову, как ей казалось. Обещал оформить брак. Но после перестал ездить, перестал звонить. Из письма подруги узнала, что Вадим Петрович, так его звали, перевелся в иное место, укатил в другой город, но в какой именно — подруга не ведала.

Сегодня все решится. Алеша должен принадлежать ей и только ей. Она три года о нем думает, три года его добивается. Успела за это время убедить себя: если не он, то никого больше у нее не будет, ни на кого больше не хватит ни чувства, ни

силы. Ее насторожила его перемена. Совсем недавно, когда подходили к дому, она было поверила в свою удачу, а вошли в комнату — все поблекло. Почему он такой переменчивый? Возможно, стужевался в незнакомой обстановке, только и всего? А то, может быть, просто случайный отлив, который наступает ни с того ни с сего. За ним может начаться прилив.

Потряхивая пышными волосами, она убрала с журнального столика газеты и книги, застелила его вышитой на гуцульский лад скатеркой, принесла чашки на блюдцах, вазу с пастилой, вазу с печеньем, сахарницу, резную деревянную подставку для чайника. Делала все молча, не глядя в его сторону сознательно. И это его задело. Попытался обратить на себя внимание, ловил ее руку. Когда она приблизилась к нему, старался обнять за талию, но она ловко уворачивалась. Когда она не села на тахту с ним рядом, как он того хотел, а придвинула пуфик, уместилась напротив, он даже обиделся. Словно снисходя и потакая его капризу, она пересела к нему, обдав его смесью запахов, в которой улавливались и дорогие духи, и пудра, и какой-то крем, и еще что-то непередаваемо женское. Он глупо улыбался, глаза были совсем затянуты счастливым туманом. А когда она дотронулась пальцами до мочки его уха, слегка помяла ее, он окончательно потерял голову. Необычайно милым показался ему этот дом, в котором бы хотелось остаться навсегда, несказанно дорогой показалась Алла — девушка, которую он, верилось ему, столько искал, о которой столько думал и вот наконец-то встретил, чтобы никогда больше не расставаться. Он упал головой на ее плечо. Ему страсть как хотелось дотянуться губами до заманчивой ложбинки на груди, которую не скрывал чуть распахнутый светлый халат, и в то же время Алеша боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть блаженства. И когда она, перебирая тонкими пальцами его волосы на затылке, чуть прижала его голову к себе, он вдруг осмелел до крайности. Освободившись из-под ее руки, отстранился, развязал пояс ее халата. Она вскрикнула боязно, запахнулась стыдливо. Это получилось у нее так естественно, так правдиво и целомудренно, что подтолкнуло его еще больше. Он подхватил ее на руки, прижался губами к ее шее у подбородка, задышав, положил на тахту, подошел к дверному косяку, нащупав выключатель, щелкнул им. Разделся и в спешке свалил одежду на пол. В темноте нашел Аллу, забившуюся в угол, плотно прижимающую обеими руками полы халата. Она слабо уворачивалась, вмиг охрипшим голосом просила не трогать ее, что-то говорила о матросской неверности, о непостоянстве, о том, что моряки ненадежные люди, семья им в тягость, она для них ничего не значит. Он, как мог, возражал ей, клялся, что все будет не так, как она говорит, уверял ее в том, что она для него единственно желанная и что никогда и ни на кого ее не променяет. Она сделала вид, что поддавалась на уговоры, расслабилась на какое-то время, будто опьяненная его объяснениями и клятвами, раскинулась безвольно. Запустив руки в ее пышные волосы, он прижимал ее голову к своей груди, ловил губами ее брови, глаза, нос, надолго прикипал к ее припухлым губам. Откинувшись на бок, какое-то время лежал, придерживая дыхание, усмиряя бешеный стук сердца. Словно вспомнив что-то, рывком приподнялся на локте, упираясь свободной рукой в тахту, начинал с прежней жадностью покрывать поцелуями ее тело. Алла все больше и охотнее откидывалась на ласку.

Утром они, счастливые, обновленные, с темными

кругами у воспаленных от бессонницы глаз, появились в доме на Большой Болотной. Мать Алеши, Серафима Ильинична, сидела в кухне, положив уставшие руки на стол. Возле нее стоял наполовину опорожненный пузырек корвалола. Тетя Лида, укоризненно покачив головой, кивнула на Серафиму, жалуюсь кому-то, протянула:

— Всю-ю-то ноченку просидела, глазышек не сомкнула. Господи, за какие прегрешения наказываешь? Мало ли она, горемычная, испытала, растя свое дитяtko без мужниной защиты? Мало ли сил положила, чтобы научить уму-разуму, вывести в люди? И вот теперь такая благодарность!

Алеша опечаленно попросил:

— Теть Лид, ну что, в самом деле!..

Показавшийся в дверях кухни дядя Володя принял урезонивать свою супругу:

— Запричитала, монашенка!.. Дело молодое, жениховское. Ай запомятавала, как мы с тобой, бывало, до белого восходу в прятки-догонялки играли?.. Собрала бы лучше на стол, нам с племянном подкрепиться не мешает на дорожку.

— У тебя всегда одна забота: подкрепиться. Глаза не продрал, а уже кусок в рот пихаешь.

— Поговори со мной, говорливая! — Дядя Володя поддернул полосатые пижамные штаны, поправил съехавшую с плеча лямку голубой, до серости застиранной майки, направился в ванную умываться.

Алла, ощутив всю неловкость своего появления в доме, шепнула Алеше:

— Проводи меня.

Серафима Ильинична, будто к ней были обращены слова, легко встала с табуретки, поправив узел платка на затылке, отдохнувшим голосом произнесла:

— Что ты, доченька! Сядем за стол, позавтракаем, поговорим, поедем вместе на вокзал провожать Алексея.

Почему-то она назвала его не как всегда, не Алешей — Алексеем. Возможно, хотела подчеркнуть его взрослость, самостоятельность, независимость, которая дает ему право быть, с кем он желает и сколько желает, уже до какой-то степени пренебрегая семейной зависимостью. В том, как она сказала, Алеша уловил нотки прощения, потому прояснившись глазами посмотрел на Аллу, будто говоря ей: «Все ладом, успокойся».

Застолья всегда проходили в комнате дяди Володи. Видать, потому, что здесь просторней, чем в других комнатах, и окна выходят во двор, здесь тихо, не то что у Серафимы Ильиничны, у которой под самым окном грохочет трамвай. А еще потому, что у дяди Володи и тети Лиды нет детей, значит, нет разбросанности, гаму-тарараму. Взрослым удобно: когда есть нужда поговорить уединенно, собираются у дяди Володи.

Алексею комната казалась роднее своей, большую часть времени и в детстве и в юности проводил в ней: уроки готовил, чертежи чертил, курсовые работы сочинял. Помнит, когда еще был пацаном, нашкодив, искал убежища здесь. Прибежит, бывало, юркнет под стол, накрытый длинной цветной скатертью, так что края свисали до пола — удобно хорониться. Серафима Ильинична войдет, разгневанная, с полотенцем в руках, которым обычно немного стегала Алешу, спросит:

— Где мой арап?

Дядя Володя, сидя на диване, покуривая, спокойно ответит:

— Не навещал покуда.

Когда собрали на стол, дядя Володя, что-то вспомнив, вдруг всхлипнул шумно, по его щекам

обильно покатались слезы. Не стыдясь их, не утираясь, спросил племянника:

— Помнишь, как я в сорок четвертом, когда уходи на фронт, подарил тебе пугач? Я тогда сказал: гляди, Алеша, фашист полезет — пали ему в брюхо. Вот... Сейчас у тебя на подводной лодке вон какой пугач, наверняка любой испугается... Стрели их, Алеха, сволочей, которые полезут!.. — Дядя Володя расплакался навзрыд.

Глядя на него, Серафима Ильинична и тетя Лида тоже всплакнули.

Чтобы как-то перебить тягостное настроение, нехотая вызванное дядиными воспоминаниями, Алеша живо поднялся, сходил в свою комнату, принес темно-синий моряцкий китель без погон, накинул на плечи дяди Володи.

— Носи на здоровье.

Рыхлое морщинистое лицо дяди Володи расплылось в улыбке. Он вдел руки в рукава, застегнулся на все пуговицы, выдохнул:

— Век не забуду!

Алеша решил, что наступил самый момент открыться. Встал, посмотрел на Аллу, обводя взглядом всех остальных, начал:

— Мама!.. Вы, дядя Володя... Тетя Лида. Хочу, чтобы все знали: мы с Аллой женимся.

У Аллы ослабела рука, она положила вилку на стол, замерла в ожидании. Знала до этого, что все решено, что все так и будет, что Алеша принадлежит ей, но одно дело — «она знала», другое дело — «все знают». Теперь знают все. Посмотрела на Алешу благодарно, и глаза ее опекло радостными слезами. Вот он, день, вот точка, к которой она стремилась так мучительно долго.

И Серафима Ильинична предполагала, что это случится, но век же ему ходить в холостых парнях, и знала, что именно Алле суждено войти в Алешину судьбу, но сейчас, когда все прояснилось, когда уже все догадки сбылись, она растерялась от неожиданности. Ей хотелось протестовать, уговаривать Алешу, чтобы повременил, зачем, мол, такая спешка. Но сил для протеста и уговоров она не находила. Потому сидела молчаливо, выглядела безучастной, зачем-то переставляла десертную тарелку с места на место.

Тетя Лида думала о своем, о том, что считала давно отболевшим, перегоревшим, на которое нет и в слепую, напомнит о себе. В памяти возникли те дни, когда стала матерью. Сколько было радости... Но судьба распорядилась жестоко. Ребенок, мальчик, умер двух лет от роду. Отплакала свое, отгоревала. Надеялась, что еще будут у нее дети, но они так и не появились.

Дядя Володя провозгласил:

— Совет да любовь, совет да любовь! Племянш, в чем же задержка? Айда играть свадьбу! Сейчас полквартала народу прибежит!

— Не так скоро, дядя, не вдруг. Вот сходим в дальнее плавание. Возьму специально отпуск, приеду — и женимся...

— Да чего там репу тянуть! Айда, распишитесь, и делу венец.

Серафима Ильинична вмешалась:

— Спешка ни к чему. Как они решили, так и будет — перерешать не нам.

Какой-то горьковатый холодок поселился внутри, какое-то сомнение охватило Аллу. Вроде бы что-то осталось недосказанным, что-то недоделанным, все-го-то пустяковая малость, но вот недостает ее — и на душе неровно. Она и верила в свою судьбу и не верила. Вспоминая вчерашний вечер, клятвы Алешы, его ласки, его сегодняшние слова, наконец-

то свершившуюся помолвку — она радовалась. Но то, что ему сегодня же предстоит уезжать куда-то в снега, в холода, то, что его дорога к ней лежит через дальние моря, то, что ей снова предстоят месяцы одиночества, — печалило. Она страшилась потерять то, что уже считала своим.

На Внуковском аэродроме Москвы их уже ожидали три машины «скорой помощи». Как только самолет вырuling на стоянку и, в последний раз взвывая турбинами, замолчал, к нему подошли вплотную белые кареты с крупными красными крестами по бортам. Подогнан высокий самоходный трап, отдраена дверь самолета.

Развивая скорость, недозволенную обычным машинам, «неотложки», миновав ворота аэродрома, обогнув громадный полукруг разворота, устремились по прямой магистрали поселка. Когда уже вырвались на Киевское шоссе, стали форсировать ход до самого полного, двигаясь по осевой линии, обходили множество машин, не переставая подавать прерывистые въездные сигналы, которые воспринимались всеми как сигналы бедствия и от которых остро щемило внутри.

Они проходили по магистрали, где триумфально двигался кортеж машин с первыми покорителями космоса, проходили по той магистрали, где обычно следуют охраняемые мотоциклистами черные лимузины с главами государств и правительств, прибывающих в Москву по высокому приглашению. В таких случаях магистраль, вернее ее обочины, запружены остановившим движением транспортом. На столбах освещения по два флага: один наш, другой государства, откуда прибыл гость. А от самого въезда в столицу, по ее широкому зеленому Ленинскому проспекту, с той и другой стороны проезжей части толпится встречающий высокие гости народ — шумный, пестрый, подвижный. В руках — малые флажки и цветы, на стенах домов, балконах, стендах — транспаранты, лозунги, украшения. И так до самой Октябрьской площади, а там — еще дальше, по улице Димитрова, мимо кинотеатра «Ударник», через Большой Каменный мост до Боровицких ворот Кремля.

Путь славы, дорога торжества. Но сегодня...

Они обходили заборы, пересекали перекрестки на красный опасный свет. Миновали центр города, вкатились во двор бывшего барского особняка с белыми колоннами, поддерживающими массивный фронтон.

Их давно ждали. Над ними засуетилось множество лиц в белых масках. В процедурной комнате, положив привезенных на высокие, как столы, каталки, раздев донага, обработали тело жидкостью, сделали какие-то уколы, почти не причиняющие боли, отвезли в соседнее помещение, отделенное шторами.

Их поместили в палате, что в конце длинного широкого коридора. Стены палаты крашены цинковыми белилами, стекла окон тоже густо забелены и затянута серыми, успокаивающими глаз шторами.

Их покормили девушки-санитарки. Приподнимая вместе с подушкой голову больного, поили бульоном из кружки с длинным носиком, с ложки подавали паровые тефтели, опять же из специальных кружек с носиком поили жидкостью, пахнущей хвоей.

Алексею Горчилову приснился странный и даже несуразный сон. Он видел множество адмиралов и

ученых, собравшихся в зале. Он один сидел за столом президиума, все остальные — внизу. В первом ряду различил высокую бритую голову академика. Ученые и адмиралы о чем-то спорили между собой, потому в помещении стоял плотный гул. Он сидел, смотрел в ряды и не понимал, зачем его сюда пригласили и где он находится: то ли у себя на Севере, в штабе флота, то ли в Москве, в конференц-зале Академии наук. Академик поднялся с места, наступила тишина, подошел поближе к сцене, глядя в лицо Алексею требовательными глазами, приказал, как подсудимому: «Встаньте!» Алексей повиновался. Академик, сменив тон, произнес почему-то просящим голосом:

— Алексей Александрович Горчилов!..

Алеша даже поежился от неловкости: зачем такое полное и официальное обращение, мог бы обратиться попроще, как, скажем, командир лодки Мостов: «Инженер!» или «Инженер-лейтенант!». А нет ли здесь Мостова? Алеша зашарил глазами по рядам. Да вот же он, в третьем ряду, с краю, у самого прохода. Только он ли? Конечно, он! Но почему же тогда на плечах адмиральские погоны? Вроде бы не слышно было о присвоении ему звания. Кроме того, почему перепрыгнули через капитана первого ранга? Из кап-два сразу в контр-адмиралы? Возможно, за спасение лодки? Может быть, и ему, Алексею Горчилову, тоже присвоено новое, более высокое звание, но он просто не осведомлен, его же далеко увезли, в самую Москву?

— Алексей Александрович Горчилов! — повторил громче прежнего академик. — Ученые и командование бессильны в поиске решения проблемы. Надеюсь, она вам известна?

— Нет-нет-нет, — поспешно запротестовал Алексей, — ничего не знаю!

— Адмирал Мостов! — Академик обернулся к командиру лодки. — Вы говорили!..

— Не верьте ему, он в курсе, просто запямятовал. Как-то хвалился мне, что может решить проблему ночного освещения глобально.

Академик снова посмотрел на сцену, покачал головой. И тут Алексей стал вспоминать.

— Чепуха какая-то!

— Бред!

— Где расчеты?

— Прошу следить внимательно, — нисколько не смутился Алексей. Подошел к широкой, во всю стену, черной доске, нащупал мелок. Из-под руки побежали длинные цепочки с буквенными и цифровыми обозначениями.

По залу прошел шелест, потянуло сквозняком, вспузырились занавеси на окнах, все повскакивали с мест. В гуле голосов нельзя было разобрать, одобрялся замысел или отвергался...

Открыв глаза, Алексей увидел: над ним склоняется доктор, внимательно рассматривает, приподняв простыню, его грудь, руки, живот, шею. Доктор осмотрел их всех троих, говоря что-то ассистенту на непонятной латыни, тот, кивая согласно, все записывал в блокнот.

Кровать Алексея Горчилова стояла у стены. Когда доктор со своим помощником покинул палату, он повернул голову в сторону соседней кровати, на которой лежал Макар Целовальников, заметил на его изменившемся лице слезы, спросил:

— Чем ты расстроен, Макар?

— Маринку жалко, дочку.

— С чего вдруг? Надеюсь, она жива-здоровая, ничего с ней не случилось?

— Ее будут называть сиротой... Обидно!

Мичман Максцев подал голос с дальной кровати: — Счастливый ты, Макарка. Твое дерево дало новый росток. А я вот не продолжил себя, бесплодным оказался.

Макар Целовальников, услышав о дереве, в самом деле вызвал в памяти одинокую яблоньку, растущую в голой степи. Увидел гордо задравшего голову одноробкого верблюда, ослика, который верой и правдой служил дедушке Олжасу, и самого дедушку Олжаса, сидящего под негустой тенью дикой яблоньки, прислонясь спиной к старому шелушащемуся стволу.

Алексею увиделась просторная квартира на Большой Болотной, висящее у мамы над комодом овальное зеркало. В детстве часто пытался заглянуть в него, но росту не хватало. Подносил стул к комоду, взбирался на сиденье, смотрелся долго, не понимая, как стекло может его так чисто повторять. В недоумении заглядывал за зеркало, надеясь обнаружить себя второго. Но там были только веревки, на которых оно держалось, когда до них дотрагивался, на руках оставался пыльный след. Он помнит, как мама уже в самом конце войны почему-то завесила зеркало темной кисеей, накинула себе на голову черную кружевную шальку и стала красивой-красивой. Ему хотелось тогда, чтобы мама не снимала шальки никогда... Сейчас ему подумалось спокойно, почему-то без всякой боли, о том, что ей снова предстоит занавешивать зеркало черным, снова покрывать голову черной кружевной шалькой. Он вспомнил, рассказывали, будто в Абхазии, где ему никогда бывать не приходилось и куда очень хотелось поехать, женщины-матери, теряющие сыновей, носят траур до самой своей смерти. Говорят, хоронят человека у своего дома, на своем участке, ставят дорогой памятник, носят постоянный траур. Алеша не был согласен и тогда, когда слушал рассказ, и сейчас он против подобного обычая. Зачем хоронить себя заживо? Ну, отплакал, отскорбел, отбелел — и возвращайся к прежнему состоянию. Умершего не возвращать, живому надо жить. Когда встречал женщину, одетую во все черное, был уверен, что она потеряла сына.

Его занимал вопрос: зачем занавешивают зеркала? Наверное, не только затем, чтобы они в час скорби своим блеском, своим отражением не придавали всему вокруг праздничность, парадную веселость, но еще и потому, — теперь он был уверен в этом, — что ни у кого не хватит воли в траурную минуту посмотреться в зеркало, — это будет противоестественно. Алеша, сколько себя помнит, всегда любил фантазировать, больше того, верил во всякие невероятные предположения. Считал и сейчас считает, что где-то в океане, на многокилометровой глубине, в трещине земной коры, скажем, у Филиппин, или еще где, могут обитать разумные существа, могут появляться на поверхности на своих кораблях, способных и плавать и летать, смущая очевидцев, заставляя их думать о какой-то сверхъестественной божественной силе. Ему порой сдавалось, что род людской берет начало от прилетевших на землю инопланетян. Потому люди молятся небу, потому так благоговейно обращают взоры вверх, к таинственному космосу — своей колыбели. А чем объяснить древние рисунки на камнях пещер, где человек показан одетым в нечто напоминающее одеяние космонавта? А что такое ореол вокруг головы святого, как не символическое изображение скафандра?..

И еще Алексей думал о том, что именно на Севере, в краю, где он живет и служит, в краю, ко-

торый вошел в него глубоко и навсегда, в этом краю человек ближе всего находится к чему-то загадочному, великому, стоит ближе всего ко Вселенной.

Однажды он реально почувствовал себя инопланетянином. Как-то в разгаре лета пошел с мичманом Макоцветом в ночную рыбалку. Только не на озеро Торпеда, где рыбачил зимой, а значительно дальше. Долго сидели с мичманом, наблюдая за поплавами. Ничего не поймав, решили переменить место. Мичман подался на соседние озера, Алексей, передумав, поостыв, остался у шалаша. Шалаш был сооружен давно и служил каждому, кто приходил сюда на рыбалку, кто нуждался в защите, застигнутый непогодой. Здесь всегда оставались котелок, чайник, ложка, соль, спички, как на сибирских охотничьих заимках.

Он подстелил на открытом взлобке сухой травы, покрыл ее плащ-палаткой, лег навзничь, застегнув «молнию» меховой куртки, и не почувствовал, как уснул. Открыв глаза, долго вглядывался в чистую голубизну неба, подсвеченного незакатным солнцем, вдруг увидел в глубокой выси серебристый крестик самолета. Со сна показалось, будто он прилетел сюда, на необитаемую планету, на том крестике-аппарате, высадился, залюбовался всем, что вокруг, замешкался дольше положенного, и его не стали ждать, включили двигатели, аппарат покинул случайную на его пути остановку, устремился по своему назначению. А он, Алеша, остался здесь, в пустыне, где лишь камни да вода... Долго смотрел в небо, следил за уплывающим крестиком, пока тот не растаял окончательно. Нисколько не сожалел о том, что остался здесь, любовался тишиной и прозрачностью воздуха, ясностью очертаний сопок. И на память пришла фраза друга, написанная в письме. Друг — военный летчик, служит на Дальнем Востоке. Среди его пожеланий есть и такое: «Арктической тебе ясности». Тогда, читая письмо, не придавал значения словам. Только лежа у озера, понял, как они точны. Действительно, в Арктике и выси и дали бесконечно ясны.

Алексей старался не думать о сегодняшней беде, в которую попали он и его товарищи — Макоцвет Иван Трофимович и Целовальников Макар, — отгонял от себя мысли о ней, но они неотступно были рядом, готовые враз завладеть его сознанием. И он все-таки сдался им. Но ни страха, ни отчаяния перед ними не почувствовал. Он даже удивлялся, почему его не пугает мысль о неминуемой кончине. Ведь он читал, знает из рассказов, что час прощания с жизнью — тяжелый час, следует предполагать, самый тяжелый, какой только может быть у человека, потому что человек уходит от всего земного, от всего самого дорогого, уходит в непостижимое небытие. Рушатся миры, взрываются галактики, черные дыры втягивают в себя, поглощая все безвозвратно, превращая нечто в ничто, превращая материю в антиматерию, миры в антимир. Смерть — черная дыра, за которой уже ничего нет. Но почему же он не испытывает оцепенения, холода, от которого должно взвыть все живое? Почему он так спокоен? На корабле защита весьма надежная. Но он открыл дверь в реактор — нарушил защиту, вошел в реактор, подставив себя под обстрел миллиардов, триллионов частиц-пуль. Он должен был войти, чтобы предотвратить еще большую беду. Но почему перед тем, как войти, не стал размышлять и колебаться? Странно... Ведь знал же, чем все кончится. Да тут надо было упасть на колени, просить пощады. Ведь еще почти не жил на свете, ничего не сделал, не оставил после себя следа, не

создал своего продолжения в мире. Неужели мог так легко жертвовать собой? Почему не подумал об этом? Почему не ощутил страха, обыкновенной человеческой боязни, которая иногда помогает сохранить жизнь, вырвать ее из опасной зоны?.. Да, не подумал, не ощутил, не старался бороться за свое личное существование, даже как-то забыл об этом. Помнил единственное чувство, переполнявшее его, — тревогу. Помнил и меру ответственности, которую теперь, в спокойной обстановке, можно сформулировать высокими и несколько красивыми, хотя и очень точными словами: «Если не я, то кто же?» Тогда, конечно, думал несколько проще. Мозг сверлил вопрос: кто войдет в реактор, кто разберется в случившемся? Понимал: никто, кроме него. Только он — командир реакторного отсека! А зачем потянул за собой дорогих тебе, близких людей? Понимал же, на что их ведешь? Понимал. Знал, Чувствовал. Но повел. Иначе не мог. Одному бы не справиться. А если бы не справился — что тогда? Никто не знал и не предполагал — «что, тогда». Даже академик, видать по всему, не ведал, какие могут быть последствия...

Тело его стало безвольным. Но разум чист и светел, был и остается удивительно способным к пониманию, к размышлению. Неужели радиация бесстрашна перед людским разумом, не смогла погасить его, укротить? Видимо, бессильна. Казалось ему, что телом он давно скончался, но умом и чувством живет, действует и нисколько не боится смерти.

Не от такого ли разделения духа и плоти происходит легенда об уходе души в какие-то иные сферы, в иные измерения? Есть выражение: душа с телом прощается. Тело смертно, душа бессмертна. Неужели кто-то из умирающих успел оставить живущим свои личные наблюдения и ощущения? Кто, когда, как смог это сделать?.. Если бы люди сумели изобрести аппарат, способный улавливать мысли, многие бы загадки открылись перед ними... А что чувствуют Макоцвет и Целовальников, о чем думают?

— Иван Трофимович, — позвал мичмана, — жалеешь, что пошел со мной?

Ответ последовал не вдруг. Алексей подумал, что мичман его не слышит, но тот слышал, только почему-то долго собирался с мыслями.

— Не я, так другой?.. Что же теперь казнить себя. Одна тяжесть на душе: не расквитался с Христосиком. Я говорил тебе о нем? Нет?.. Самый лютейший враг, оборотень. Когда прямой фашист — тот ладно, враг, тому одна пуля. Когда бывший свой, всезнающий, всеведающий — двойной враг, на такого много пуль надо. Гонялся я за ним, да не настиг. Боюсь, уйду, и он останется неотмщенным. Вот она, гиря на моей душе.

Станным показалось Алексею, что они, объединенные одной бедой, так разно озабочены. У каждого свое. А он еще минуту назад предполагал, что все трое размышляют об одном и том же и похоже.

— Макар, а ты?

Алексей посмотрел на соседа. Глаза Макара были закрыты, он ровно дышал, из-под ресниц выдалось по мелкой капелке слез. «Уснул, — поверилось Алексею, — и, не иначе, видит Маринку».

Поймал себя на мысли, что думает сейчас не об Алле, которой сказал, что любит, с которой решил пожениться, а о Vere, жалеет Веру: ей плохо живется с мужем, видать, нелюбящим и нелюбимым.

Муж обижает ее, изменяет. Обо всем этом ему рассказали Верины подруги. Зачем? Затем, чтобы он мучился ее неудачей, чтобы стыдился своего счастья? А, возможно, он по-прежнему любит Веру, не Аллу? Или, может быть, справедлива мысль, что нам всегда дороже потерянное, нежели приобретенное? Мы чаще всего сожалеем о том, чего недостает, чего не достигли, не так ли?

Он видел Веру, думал о ней, страдал из-за нее.

15

Николай Черных вместе с экипажем своего атомохода попал в госпиталь. После обследования почти всех офицеров и матросов увезли на отдых. Задержали только командира атомной подводной лодки капитана второго ранга Мостова да тех, кто входил в реактор или работал в ближних отсеках: капитан-лейтенанта Полотеяева, он входил в реактор; капитана третьего ранга Шилова, командира БЧ-5, который все время находился поблизости, в своем отсеке, у турбин; старшину команды трюмных Сыроедова да матроса Габыша, подменявших Макоцвета и Целовальникова. Полотеяев вскоре был отправлен в другой город, остальные проходили курс лечения на базе.

Николая выписали из госпиталя раньше других. Он и обрадовался и опечалился одновременно: почувствовал свободу и в то же время оторванность от своих. Долго размышлял, куда ему прежде всего пойти: то ли податься на ПКЗ — свою плавучую казарму, то ли побродить по городу?

Привлекал его не просто город, ему не терпелось встретиться с Вале́й Мосто́вой — девушкой, которую ему всегда хотелось видеть. Нашарив в кармане монету, зашел в базовый клуб, в вестибюле которого висел телефон-автомат, позвонил на авось, не зная, дома ли она, на работе ли.

Валя оказалась дома. Поняв, кто звонит, разревалась в голос. Плакала не только от радости, что Николай жив-здоров, плакала еще и оттого, что отец ее, Мостов, командир лодки, на которой служил Николай Черных, лежит до сих пор в базовом госпитале, один, в изоляции, и что их с мамой к нему не пускают, и вообще никого к нему в палату пока не пускают.

Плакала и не знала, что ответить Николаю. Вдруг спросила, откуда он звонит, где находится. Недослушав ответа, опасаясь, что снова что-то помешает им увидеться, перебивая его объяснения, принялась умолять срывающимся на визг голосом:

— Стой на месте, слышишь! Никуда не отходи, я мигом, понимаю! Через минуту, понял!?

Он еле выдавил из застывшего от радости горла:

— Лады, лады.— Попытался пошутить, чтобы хоть немножко ее успокоить, сказать, что все хорошо, мол, приди в себя: — Стою, стою, как рыба на ку-кане!

Ей надо было пробежать всего два квартала, но путь виделся неимоверно длинным. За то время, пока его преодолеешь, может произойти, верилось ей, бог знает что.

Влетев в вестибюль и заметив его, остановилась, словно натолкнувшись на невидимую стеклянную стенку. Стояла, радостная и растерянная, глядя на него — высокого, стройного, в черной, ладно пригнанной шинели. Он впервые так свободно, так смело подошел к ней, обнял, прижал к себе ее голову, коснулся губами голубой вязаной шапочки.

Подумал о том, что несчастье сближает, помогает забывать условности. Затем, вроде бы опомнившись, посчитав, что делают недозволенное, они отстранились друг от друга, направились медленно к выходу. Они еще не объяснялись, не признавались в своих чувствах. И то, что сегодня бросились в объятия, служило для них как бы объяснением. Потому примолкли, смутились.

Вышли на пустынную заснеженную возвышенность. Вниз по склону сбегали жилые однотипные дома, крашенные в желтый цвет. За домами, как бы примыкая к ним вплотную, стояли корабли, ярко освещенные в ранних полярных сумерках мертвенно-голубым светом люминесцентных ламп. Топовые огни на верхушках мачт, желтые кружочки иллюминаторов, клубы пара в лазах прожекторов — все создавало уют, манило домашней обжитостью.

Первой заговорила Валя:

— Тебя выписали?

— Сам убежал!

— Нет, правда. Все обошлось?

— Как будто.

— А самочувствие?

— Мне показалось, и на этот раз боек не сработал.

— Какой боек? — Валя резко повернулась, заглянула ему в лицо.

Виновою улыбаясь, стал рассказывать. Припомнил, как в детстве, оставшись дома один, принялся шарить по шкафам, ящикам, заглядывать в места, куда старшие запрещали соваться. Открыв маленьким ключиком стол отца, выдвинув верхний ящик, увидел наган — самый настоящий наган с барабаном. В барабане семь патронов, пересчитал, проворачивая. Захотелось выстрелить. Спрятав оружие за пазуху, выбежал во двор, скрылся за сараем. Сидел долго, бездействуя, старался отдышаться, ожидал, пока уляжется волнение. Найдя малую фанерку, отмерив от стены сарая десять шагов, воткнул фанерку в землю. Прислонясь спиной к стене сарая, поднял наган, попробовал нажать на спусковой крючок. Наган-самовзвод, при нажиме крючка боек взводится, срываясь с предохранителя, ударяет острым носиком в капсулу патрона. Стал нажимать, но силенок не хватило. Боек и не думал подниматься. Попробовал нажать двумя указательными пальцами, но они только мешали друг другу. Тогда он, став на колени, уперев рубчатую рукоятку нагана в камень, насколько не смущаясь тем, что ствол направлен ему прямо в грудь, вернее, не замечая этого, начал давить большими пальцами на спусковой крючок. Крючок поддался, боек взвелся, послышался щелчок, острый бойка больно ударило в ногу случайно подвернувшегося мизинца правой руки. К большой досаде, выстрела опять не последовало. Только через какой-то час, сидя в траве, обдумывая, что же произошло, пришел к мысли, что родился в сорочке. На него накатила запоздалый страх. Разгоряченное воображение рисовало кровавую картину. Если бы не случайно подставленный мизинец, лежать бы ему с простреленной грудью. Хотел было закинуть наган подальше, но передумал. Понял, если отец обнаружит пропажу, спрашивать будет с него. Отнес наган в дом, положил на место, не забыв запереть ящик ключиком.

Сегодня ему подумалось, что над ним второй раз был взведен курок — на сей раз атомный, лучшей, — но тоже какой-то мизинец помешал, боек не сработал, выстрела не последовало. И вот он раньше других выписан из госпиталя, цел, невредим, стоит на возвышенности, смотрит на город, смотрит на гавань, дышит, ощущает стук сердца

греет в руке заолодавшую ладонь девушки. Ничего ему не страшно, ничто не сможет достать его на такой высоте.

Их познакомила заведующая музыкальной частью базового клуба. Недоверчиво покосились друг на друга, едва заметно кивнули, не подавая рук, не называя имен. Называться, собственно, и не требовалось, заведующая сама их назвала:

— Валя, подойди к Николаю поближе. Не бойся, стань рядом. Вот так... Ника, возьми гитару. Приготовились. И!..— Взмахнула по-дирижерски обеими руками. Но тут же опустила руки, потому что не договорились, что петь.— Валентина, о чем задумалась? Смотри на меня. Какую споем?

— Может, «На солнечной поляночке»? — несмело предложила Валя.

Николай хмыкнул.

— Песня наших бабушек.

Валя потупилась. На замечание ответила заведующая:

— Не язви, не язви, умник!

— Зачем же в концерте вспоминать прошлый век!

— Подскажи новенькое.

— «В нашем кубрике»...

— Для мужского голоса!

— Виноват, — спохватился Николай. — «Зоренька»?

Валя знала «Зореньку», любила ее, но предложенная Николаем, мареманом-задавакой, как она его успела про себя окрестить, песня потеряла для нее свою привлекательность, более того, стала нежеланной. У Валентины против воли вырвалось:

— Примитив!

Заведующая музыкальной частью разочарованно заключила:

— Нашла коса на камень! Нет, так мы не споемся. Валя, что ты в самом деле? Такая покладистая девушка...

— А что же он!

— Ника, ты мужчина, моряк. Где твоя воспитанность, галантность? Бережнее надо со слабым полом.

— Лады, лады. Больше ни слова. Молчу, как уснувшая медуза.— Это он сам только что придумал об уснувшей медузе, улыбнулся, довольный.— Пойте хоть псалмы — мне все равно!

Так началась их первая репетиция.

Но когда Валентина, наконец, запела, когда он услышал не сильный, все же ладно управляемый голос, уловил в нем бархатистую мягкость, Николай, сам того не замечая, преобразился. Его гитара глуховато вторила певиче, бережно поддерживая ее, дополняя, стараясь не заглушать, не отстать и не забежать вперед. Было похоже, будто взял девушку под руку и ведет заботливо, не позволяя отступить.

Музыка их помирила и сблизила. После первой же репетиции Николай пошел провожать Валю. Всю дорогу молчали, молча расстались, но мысленно переговаривали о многом.

Иногда они виделись в спортивном зале, на волейбольной площадке, где обычно встречались давние соперники: команда атомной лодки и команда дизельной. Валю просили быть судьей. Охотно брала в руки пластмассовую сирену-свисток, проворно взбиралась по лесенке на судейский трон, поднятый до уровня туго натянутой волейбольной сетки. Подбросив над сеткой мяч, разыгрывала подачу. Строго следила за правилами игры, судила справедливо. Об этом знали все и все ей доверяли. Каждый игра-

ющий чувствовал ее взгляд на себе, потому каждому хотелось выглядеть как можно лучше, каждый старался сделать все возможное и даже невозможное.

Особенно усердствовал Николай Черных, капитан волейбольной команды своей лодки. Его подачи были резки и трудны для приема. Подавал он так: подбрасывал мяч высоко, бил по нему с разворота, из-за плеча, во весь мах. Мяч летел по прямой обманчиво низко. Противнику казалось, он непременно врежется в сетку. Но не тут-то было. Мяч пронесся над верхушкой сетки, не задевая ее. Принимавшие его руки часто не в силах были остановить стремительный лет. Мяч вскользь касался пальцев, чувствительно обжигал их, уходил далеко за пределы площадки. Следовал свисток, назывался счет. Николай снова шел на подачу. Бывало, он доставал, казалось, безнадежные мячи: падая, успевал взять мяч у самого пола или перехватывал уходящий за площадку от своего же игрока.

Вале особенно нравилось, как Николай играл у сетки. Он тушил мячи в той же манере, что и подавал: с маху, с разворота, из-за плеча. Блокировать его было почти невозможно. Если же улавливал чутьем, что сблещивают, он мягко перебрасывал мяч через подставленные для блока руки или направлял его в сторону, вдоль сетки, а то еще посылая отвесно вниз.

Валентина принимала близко к сердцу поражение и той и другой команды, волновалась за тех и за других. Потому в конце игры выглядела усталой. Но стоило ей зайти в душ, постоять минуту-другую под зонтиками струями, как она враз преображалась. Торопливо переодеваясь, знала, что у выхода ждет Николай. Понимала, что задерживаться ему никак нельзя, он только посмотрит на нее, помнет в руке ее пальцы, вздохнет и побежит догонять строй.

16

Еще будучи курсантом, Алексей Горчилов проходил практику на большом противолодочном корабле. Про себя называл корабль крейсером, который и в самом деле был похож на крейсер: огромный, с высоко поднятыми массивными надстройками, с бомбометами и ракетными установками, многотрубными торпедными аппаратами и зенитным оружием. Нравилось Алексею и то, что в кормовой части была специальная вертолетная площадка с ярко очерченным кругом — местом посадки. Когда вертолет возвращался с полета, опускался в указанном месте, его закатывали в ангар. Вертолет на корабле — необычное сочетание флота и авиации. Раньше такого не видел. Ему доводилось бывать на крейсере «Киров» — прославленном балтийском корабле-ветеране, защитнике Ленинграда. Там все по-другому: артиллерийские башни главного калибра, зенитные пушки, торпедные аппараты, метатели глубинных бомб — они и по размерам и по конструкции выглядели старыми и упрощенными, отжившими и непригодными для современного морского сражения, где механизмы управляются электроникой и автоматикой, зависят от радаров и локаторов, где оружие превосходит своей точностью и мощностью. Крейсер «Киров» стал учебным кораблем.

В наше время все так быстро устаревает. Вчерашний флагман, образец военного кораблестроения, сегодня стал просто плавучей казармой для молодого пополнения.

Большой противолодочный — иное дело. Хотелось верить, ему уготована более высокая судьба. Он постоянно будет юным и мощным. Его механизмы и оружие — самыми совершенными. Его формы вечно будут радовать человеческий глаз.

И еще был дорог большой противолодочный Алексею Горчилову тем, что на нем впервые побывал в заграничном плавании.

Балтика выглядела серой и неприютной, сильно штормила. Северное море тоже встретило штормами и туманами. Зато когда вошли в пролив Паде-Кале, когда оказались на траверзе английского порта Дувр, выглянуло солнце. Обычно свинцово-зеленатые волны поглубели, стали приветливее, море успокоилось, раскинулось в тихом штиле, но корабль покачивало килевой качкой, от которой теснило желудок.

К Гавру подходили в полдень. Алексей глядел во все глаза на обрывистые берега, светившиеся белыми срезами, на гавань, заполненную судами — и крупными, и мелкими, — на причальные стенки, у которых тесно стояли транспорты, на множество порталных кранов, движущихся у причалов, то опускающая свои клыки над трюмами судов, то снова поднимающая их высоко, унося далеко в сторону выловленные грузы. Все показалось знакомым, обыденным, точно корабль находится не во Франции, а где-то у своих берегов, точно перед глазами не знаменитый Гаврский порт, а один из наших крупных портов.

На вторые сутки объявили список увольняющихся на берег. Среди многих других Алексей услышал и свою фамилию, даже растерялся: куда идти, зачем, с кем идти? Как он, безязычный, будет чувствовать себя в чужом городе? В школе и в училище занимался английским, умеет читать, с греком пополам может понять, о чем говорят, в случае необходимости кое-как объяснился бы. Но французский — темный лес. Это убавляло и принижало радость увольнения.

Группа, в которую попал и которой должен держаться в незнакомом городе, подобралась своя: ребята из училища, практиканты. Алексею стало свободнее и веселее. С особым старанием надраивал пастой бляку, с великим усердием гладил пудовым утюгом брюки и суконку, воротник-гюйс и белый чехол на бескозырку. Поправил пружину внутри бескозырки, раздал ее так, чтобы она держала суконный верх головного убора тугим блином. Начистил ваксой хромовые ботинки. При построении увольняющихся на верхней палубе внимательные командиры не смогли ни к чему придаться.

Они втроем не стали ждать автобуса, не сели в трамвай. Решили идти пешком: так и чувствовать будешь себя свободнее и увидишь больше. На те франки, которые выданы каждому сходящему на берег, особенно не разгуляешься, потому, заглядывая по пути в магазины и лавчонки, медлили с покупками, только присматривались, приценивались.

У Алексея зрело желание купить белую модную дамскую сумочку. Зачем? Сам не отдавал себе отчета. Вот уже в третьем магазине попадаете на глаза похожая: небольшого размера, цвета слоновой кости, зеркальная, на длинном ремешке. Для кого покупает? Кому подарит? Твердил про себя, что отдаст матери, но, разглядывая сумочку, оглаживая ее скользкие бока, пробуя вкусно щелкающий замок, видел перед собою Веру. Она виновато и довольно улыбалась, глаза горели, благодарила взглядом за дорогой подарок. Вера?.. Почему? Что у него с ней общего? Она замужем, чужая, отстраненная, у нее ребенок... Что ему Вера, зачем?

Тоскливо сделалось в старом чужеземном городе со старинными домами под черепичными крышами, с башнями и высокими шпилями, тесными улицами и крохотными площадями, с уютными маленкими скверами, где обязательно фонтан посередине, с памятниками людям прошлого — сказочно счастливого времени, верилось, когда все было проще, понятней, когда все ходили пешком, в особых случаях ехали на извозчике, не носились, как сейчас, сломя голову, на автомобилях и мотоциклах, от которых рябит в глазах, гудит в ушах, свербит в горле.

К чему здесь Вера? Зачем вспоминается и как долго будет вспоминаться? Неужели всегда?..

В одном из салонов снова увидел сумочку, потянулся к ней.

— Гив ми, плиз! — попросил по-английски, чтобы ему подали.

Молодая продавщица в легком голубом платье-халате с кружевным стоячим воротничком улыбнулась ему знакомо, пригладила коротко подстриженные волосы, спросила по-русски:

— Вам какую?

— Белую! — ответил Алеша, удивленно разглядывая незнакомку с такой знакомой ему улыбкой, которая была слегка притушена печалью. Складки у рта, морщинки у глаз говорили о том, что женщина повидала много такого, от чего остаются на лице следы. Два его друга-курсанта задержались в соседнем отделе, и Алеша тайне обрадовался их задержке. Он смотрел на женщину и невольно сравнивал ее с Верой, выискивал в ее лице дорогие Верины черты.

— Возьмете?

— Подойдет ли, понравится? — засомневался.

— Если вашей девушке..

— Матери, — поспешил уточнить.

— Вряд ли. Девушке или молодой даме — да... Мама, видимо, в возрасте?

Алеша замаялся, он никогда не задумывался над возрастом матери, ему казалось, мать, сколько он ее знает, всегда была одинаковой — такой, как есть, ни старой, ни молодой — без возраста, потому ответил неопределенно:

— Пожалуй.

— Тогда лучше вот эту. — Подала сумочку бежевую.

— Нет-нет, не надо, — словно боясь потерять что-то давно облюбованное, к чему успел привыкнуть, запротестовал Алеша, прижимая к себе белую сумочку. — Возьму ее!

— Хорошо, хорошо, — успокоила его молодая женщина. — Если решили, значит, берите. — И снова в улыбке, в повороте головы Алеша увидел что-то щемящее знакомое, Верино. Женщина потрогала в задумчивости свой округлый розовый подбородок, еле слышно, как бы мечтая про себя, спросила: — Как там у нас, на родине?

— Где-где?

— В России... Что там?

— Нормально. — Не знал, что ответить, потому что не знал, кто она, о чем думает, что ее сейчас занимает. — Я из Ленинграда... А вы русская?

— Орловская. Из-под Орла, деревенская я.

— Как же вы?.. — Не договорил, ему показалось странным, как она сюда попала: из середины России, из деревни — и сюда, во Францию, в Гавр.

— Длинна сказка и тяжела. — Женщина вздохнула, зачем-то потрогала кружевной воротничок. — В нашей деревне стояли немцы. При отступлении всех нас угнали, хаты попалили. Вызгли все дотла, чтобы некуда было вернуться. Веди до станции, как

пленных, с конвойными. Силой посадили в товарняк, повезли в Германию. Мамка занедужила в дороге, скончалась. Ее сняли с поезда, а мне и выйти не позволили. Где похоронили, как заховали — не знаю. Сидя на нарах, всю дорогу проплакала. Да и после белого света не видела... Сперва взяла меня в дом одна фрау — тощая, как палка, длиннющая. Ходила у нее в работницах. Посуду мыла, белье стирала, паркет натирала. Возле дома был небольшой садик с цветами и несколькими вишневыми деревьями. Он тоже на моих руках. Помню, в первую же весну рясо зацвели вишенки. Поглядела я на них — сдало горло так, что не продохнуть. Вспомнила свой садок, и такая нахлынула на меня тоска! Ну, думаю, и хозяев порешу и на себя руки наложу. Осмелела, и давай высказывать им свои обиды — и тощей фрау, и ее плешивому супругу, и их сынишке-школьнику. Проклинала, всякими бранными словами ругала: скотами и свиньями. А они, вместо того, чтобы обидеться и наказать, смеялись и показывали на меня пальцами, называли бешеной славянкой. Но с тех пор начали поглядывать на меня с опаской, боялись, чтобы не подсыпала чего в пищу. Говорили, в одном из хозяйств такая же, как я, рабыня подмешивала своей фрау толченого стекла. После такого случая меня на кухню не пускали. Когда открылся второй фронт, к нам в местечко пришли французы. Жаны были с нами ласковы, за людей признавали. Вскоре переправили нас, русских, на свою территорию. Меня взял к себе хозяин магазина. Была у него на побегушках. А подросла — начал приучать к прилавку, продавщицей сделал. Все повторял, наставляя: «Тонь, ты должна быть элегантно, вежливо. Улыбайся, Тонь!» Звал меня так, сокращая имя Антонина. Тони да Тони! Пускай, думаю, если ему нравится, мне-то что, не ругает же, а ласково именует. Вот так и прижилась. Сперва порывалась домой, но побоялась: у вас там, в России, говорят, таких не шибко жалуют.

У Алеши вырвалось само собою:

— Что вы такое говорите! Дикие выдумки!

Женщина осеклась, поглядела на него пристально. — Как знать? Рассказывают. Потому и забоялась, не решилась. А тут человек хороший подвернулся, сосватал, вышла замуж, куда теперь, думаю, ехать. Все, доля моя здесь, французенкой стала. Да и к кому ехать? Деревня спаленная, родных никого нет, знакомых, видно, тоже никого в живых не осталось. За все годы никакой весточки из дому, да и сама не писала, потому не знала, кому, по какому адресу... Муж мой работает на фабрике. Как-то сам наекнул, может быть, говорит, съездим? Я так и зашлась слезами. Таким дорогим, таким родным казался после этого, словно мы выросли с ним в одной деревне... — Она умолкла, пригладила волосы на затылке, провела ладонью по лбу, словно печаль свою снимая, перевела дух. — Не решилась я, сил не хватило. А ну, думаю, если правда, что придется отвечать... Столько лет прошло, а все снятся отчие места. За деревней, помню, небольшая рощица подходила к самому обрыву. Внизу под обрывом озеро. Большое, рыбное, помнится. Вода в нем прозрачная, родниковая, берега нетопкие — песчаные. Народу на озере собиралось — не счесть сколько! Бывало, из самого Орла наезжали... Славные места, да сохранились ли они? Поди, и озеро пересохло, и рощица повырублена... Как вы думаете? — неожиданно обратилась к Алексею, который и слушал ее, и не слушал.

Все происходящее казалось ему странным, нестоящим. Русская девушка Тоня потеряла семью, лишилась родины, превратилась в мадам Тонь...

Сколько судеб изломала война! Думала ли Тоня, бегая в школу с холщовой сумкой, отяжеленной книжками, тетрадками, тряпичным мячом, а то и куклой, что жить ей предназначено во французском городе Гавре, что мужем ей станет не соседский паренек, часто подглядывавший за ней в щель дощатого забора, а какой-то галл?.. Что за человек? Молодой, старый? Кто он?.. Чужой ведь, совсем чужой! Однако она к нему привязалась... Думает ли она о прошлом, сожалеет ли?.. И снова вспомнилось свое, что не переставало болеть, о чем не мог не думать и вчера и сегодня — всегда. Думал о Вере, казалось, ей так же тоскливо, как и мадам Антонине, хотя мадам Антонина бредит родиной, а Вера тоскует о том, что было у них с Алешей со школьных лет и что так неожиданно и беспричинно порушилось. Почему все пошло прахом? Неужели только потому, что Вера не захотела быть женой военного, неужели только потому, что решила показать свой несговорчивый характер, неужели только потому, что ей не удалось настоять на своем, подчинить Алешину волю своей воле, неужели из-за этого? А возможно, он не подходил ей по возрасту? Одногодки, говорят, редко уживаются друг с другом, редко бывают счастливы. Возможно, он ей казался слишком юным, слишком зеленым, она тянулась к кому-то более мужественному, более опытному, хотела почувствовать твердую руку и высокое покровительство, хотела сама таким образом видеть себя опытной и взрослее... Так это или нет — кто теперь скажет? Ясно одно, Вера чужая, навсегда чужая.

Сможет ли он это понять, сможет ли привыкнуть к такой мысли?..

...Почему она вспомнилась сейчас, зачем растревожила не вовремя: именно тогда, когда он лежит, беспомощный, пораженный, в клинике со своими близкими и теперь навсегда самыми дорогими ему людьми, с которыми его связала служба, судьба, случай, с которыми его связала общая необратимая боль. Иван Трофимович Макоцет — добрый и мудрый, словно старший брат. Макар Целовальников — большой, нескладный, сильный и в то же время слабый, как подросток. Алексей хотел было окликнуть их, но, поглядев на Макара, осекся: Макар лежал на спине, неестественно вытянувшись, неузнаваемо заострившийся его подбородок был задран высоко, глаза открыты, стеклянно незрячи.

Алексей подумал о том, что надо дотянуться, закрыть ему очи. Но дотянуться не смог, сил не достало.

Макоцета окликнуть не решился, побоялся спугнуть, может быть, что-то самое неповторимое, самое дорогое бережливо его душу, то, с чем трудно расставаться.

Алексей пребывал в неподвижности, не чувствуя ни боли, ни сожаления.

Неимоверным усилием воли снова вызвал в памяти Веру, но не облик ее, а только имя, подумал: «Хорошо все-таки, что она назвала сына Алешей...»

Это было последним, о чем успел подумать.

17

К нему в палату пока никого не пускали. Но с тех пор, как поставили на тумбочке у кровати телефон, Анатолий Федорович Мостов перестал чувствовать себя оторванным и разобщенным с миром. Чаще всех звонила Фрэн. Франческа Даниловна. Сдерживая слезы, в начале

разговора обычно старалась выпытать у него всякие сокровенные подробности о состоянии здоровья, о которых, как она была уверена, умалчивали врачи. Затем долго и подробно передавала городские и флотские (что всегда было неразрывно связано, ибо город сугубо флотский) новости.

Анатолий Федорович уже знал из разговора с командиром соединения, а потом и Фрэнк подтвердила, что трое из его экипажа награждены орденами Ленина: инженер-лейтенант Горчилов, мичман Макоцвет и старший матрос Целовальников. Знал и то, что некоторые другие отличившиеся тоже представлены к наградам. Знал и испытывал чувство сожаления, что сам лично не смог проследить за их наградными листами. Он считал, что Алексей Горчилов достоин звания Героя Советского Союза. Горчилов первый вошел в реактор, прикрыл собою остальных. Анатолию Федоровичу пришлось в голову даже такое сравнение: Алексей Горчилов — Матросов атомного флота. Когда-то в войну Александр Матросов лег грудью на амбразуру, чем спас многих, обеспечил успех операции. Горчилов тоже лег грудью на амбразуру.

Войдя в запретную зону, сделал все до конца, чтобы погасить реактор, который до этого давал тепло и свет, силу и энергию, обеспечивал ход и жизнедеятельность корабля, был сердцем, от ритмичного биения которого зависело все. Но потом стал болевой точкой, солнечным сплетением, куда нанесен непоправимый удар, черной дырой, способной поглотить корабль и людей.

Горчилов первым кинулся в невидимый атомный огонь, Горчилов повел за собою других. Так с кем же можно его сравнить?.. Обидно одно — так мало прожил... Юноша!.. А что значит мало и что значит много? Разве годами измеряется жизнь человеческая? Нет, не количеством лет, прожитых на земле, — делами. Может быть, тем единственным делом, ради которого и стоило родиться. Горчилова флот не забудет. Алексей Горчилов навечно приписан к флоту. Он, конечно, не помышлял в тот час о подвиге, об отличии... А что такое подвиг? Делать все необходимое в данный момент на данном посту. Кажется, так просто и в то же время так сложно. Не каждый способен на такое. Говорят, бывают подвиги большие, бывают малые, — неправомерное деление. Подвиг — полная отдача, а раз полная, она не может быть ни малой, ни большой. Случаются позы, рисовки, ненужные жертвы — их к подвигу не отнесешь. Бывают так называемые подвиги по заблуждению, когда, к примеру, фанатик сжигает себя добровольно то ли на костре, то ли облившись бензином, во имя, как он верит, чего-то высокого. Обман. Подвиг — все то доброе и полезное, на что человек способен в данный миг, или в данный час, или в данные годы, а то и во всю данную ему жизнь. Подвиги бывают только большими, дела — разными.

Возможно, Алексей Александрович Горчилов и есть тот первооткрыватель, который сделал понятным для всех смысл слов: «Войти в реактор».

Войти в реактор. Что это такое?

Стать под пули? Шагнуть в костер? Пойти на таран? Открыть кингстоны?.. С каким иным поступком можно его сравнить?

Трудно сказать. Потому что он возможен только в наше время — атомное время. Никогда раньше его не было и быть не могло.

Лежа на левом боку, Мостов почувствовал утомление, ощутил покалывание под лопаткой. Он пере-

вернулся на спину, запрокинул руки, опустил их расслабленно на подушку. Старался дышать медленно и глубоко, до кружения в голове.

В каком-то полусне, то ли в полубытьи он увидел Алексея Горчилова. Только лицо. Его чуть сдвинутые книзу и назад уши, по-мальчишески припухлые губы, не по возрасту печальные глаза, вечно чем-то затуманенные, словно глядящие внутрь себя. Анатолию Федоровичу захотелось обнять Алешу по-братски, прижать его голову к своему плечу, сказать что-то важное, единственно необходимое в эту минуту. Но ничего такого он придумать не смог, просто поздоровался. Помолчав, добавил, словно лишь сейчас вспомнил:

— Поздравляю тебя, инженер!

— С чем? — простодушно удивился Алексей.

— С орденом.

— Спасибо, товарищ капитан второго ранга. Только я о нем не думал. Разве дело в ордене? От него я не стану ни лучше, ни хуже. Что есть во мне, то есть. А чего нет...

— Не говори так. Орден — мера отношения к тебе общества.

— Разве он спасет меня? Спасет нас? — показал на своих товарищей по палате.

— Спасет.

— От смерти?

— От забвения. Он больше для других, для тех, кто остается. Чтобы у них в час опасности не опускались руки. Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Знали, что о них подумают, вспомнят, оценят, что их порыв был не напрасен.

Отвечая Алексею Горчилову, Анатолий Федорович тут же подумал: «Одну из улиц города предложу назвать улицей лейтенанта Горчилова, чтоб и дети помнили, и внуки, и правнуки. Сегодня же позвоню командующему. Надеюсь, согласится... А как мать Алексея? Какова ей? Совсем одинокой осталась: в войну потеряла мужа, теперь сына... Попрошу замполита, пускай пошлет кого-либо из офицеров, чтобы отвез Алешины вещи, книги, дневники, пусть передаст матери слова соболезнования. Понимаю, этим не утешить, не убавить материнское горе, но все-таки не так одиноко, когда люди сострадают. Отец-фронтовик гордился бы таким сыном, он бы его понял до конца».

Одновременно подумал и о своем отце, тоже погибшем в войну.

Отцы и дети, отцы и дети!.. Как много об этом говорится и пишется. Во все времена, утверждают, были и во все времена будут противоречия, конфликты между отцами и детьми. Вот только мы с Алексеем Горчиловым да тысячи подобных нам, потерявших отцов на фронте, не знали и не узнаем такого разногласия. Считай, все мое поколение не узнает. Какие же могли быть конфликты? Одно горе, одна беда, одна тяжесть, одна судьба — слитная, нерасторжимая: они умирали там, на фронте, борясь за жизнь, мы умирали здесь, в тылу, тоже борясь за жизнь. У кого вернулись отцы, все равно одна общая беда: голод, разруха, неурожай. И приходилось снова бороться, преодолевать, брать штурмом. Не было времени для разногласий, не было условий для конфликтов. Возможно, и были, да не заметил, проглядел, потому что только два чувства безраздельно владели в то время: хотелось есть и хотелось спать. А между ними работа.

Отцы и дети.

Экипаж корабля, пожалуй, тоже отцы и дети. Старшие и по возрасту и по званию офицеры — отцы, матросы и старшины срочной службы — дети. Конечно, отношения здесь жестче и суровей,

чем в обыкновенных семьях, и дисциплина не та, и задачи другие, и обязанность каждого куда как значимей. Но все равно хорошо слаженный экипаж — семья.

Мы, старшие, часто недовольны молодыми: все у них, кажется нам, не то и не так. Вот, мол, в прошлые времена — да! Какие были люди, какие личности. Как много выстрадали, какой тяжкий груз вынесли на своих плечах, какую войну сломали!.. А дети наши растут в холе, в достатке, в любви, в нежности. Под силу ли им будут подобные испытания, если, не приведи господь, случатся?.. Жалко их... Скрываешь свою размягченность, напускаешь на себя иной раз излишнюю суровость, понимая, что иначе нельзя, но все равно в душе остаешься отцом. Порой неспрошено, не к месту всплывают забота и нежность к этим мальчишкам в синих робах, и не видится затуманенному глазу, что они же в военной форме, забываешь часом, что перед тобой не сын твой, а боец, которого ты в случае необходимости, не дрогнув, пошлешь на смерть. Видишь в нем просто мальчишку... А помнишь, однажды в далеком автономном плавании, когда они, уставшие и поскучившие, с изблевавшими по дому, по родным душам, сидели тесным гуртом вокруг замполита, и замполит рассказывал им о разных случаях жизни и на гражданке и на флоте, расспрашивал их, кто откуда родом, кто чем занимался до призыва, и они, молоденькие стриженные парни по первому году службы, размякли, раскрылись, стали вовсе детьми?

Наблюдая за ними, остро почувствовал свою боль, постоянную печаль о сыне — о том, которого нет, но который мог быть и которому могло бы сравняться уже столько лет, как и некоторым из этих... Он родился мертвым. Судьба словно решила наказать за что-то. А, может быть, сам сглазил свое счастье, не в меру радуясь, предвзятое событие, подбирая имя еще не родившемуся, громко заявлял, что будет непременно сын, матрос, что иного исхода и быть не должно?..

Удача ему изменила.

Вскоре дизельная лодка, на которой он плавал старшим помощником командира, ушла в автономку. Служба, заботы о других не вытравили боль, но пригасили ее.

Помнит, как стояли ошвартованные в африканском порту. Вахтенные матросы вынесли на причальную стенку, к мусорным коробам очистки и остатки пищи. Черномозгая голая ребятня с раздутыми голодными животами, с тоненькими, как у паучков, ручками-ножками накинута на отбросы, хватала их, жадно, неразборчиво пихая в рот все, что удавалось подцепить. Матросы-вахтенные застыли на месте, глядели, пораженные, на ораву доведенных до крайности детей. Некоторые закрыли лица бескозырками, будто вытирая пот, другие опустили глаза. Сам тоже не удержался, прикусил задрожавшую нижнюю губу, отвернулся от пирса. А потом, злясь на себя, негодуя, проклиная все и всех, недозволенно резко, неоправданно строго прикрикнул на матросов, приказал вернуться на борт.

Долго не уходил из памяти негритянские дети. Стоит забыться на миг — вот они: голые тельца темно-бурого цвета, неправдоподобно большие головки в густых барашках плотных, никогда не чесанных волос, кривые палочки рук и ног, ребра, обтянутые тонкой, просвечивающей кожей...

— Папка, милый, здравствуй! — услышал в телефонной трубке по-детски высокий, срывающийся голос Вали.

- А, это ты, негодница!
- Вставать разрешили?
- Встаю.
- Твое окно куда выходит, во двор или на аллею?
- Не знаю.
- Подойди, посмотри!
- Оно слепое.
- Как слепое?
- Закрашено белилами.
- Зачем?
- Кто его знает. Незрячее, как глаз с бельмом.
- Жалко.
- Невесело.
- А скоро выпишут?
- Обещают на днях.
- Здоров?
- Практически здоров.
- Славно!
- Целую тебя, Валек!
- На закорках покатаешь? — пошутила. В детстве любила кататься на закорках.
- Слово моряка!
- Гляди, не обмани.
- Как там у вас на воле? — заскучавшим голосом спросил отец.
- Весной пахнет.
- Отлично.
- Мне пора. Возвращайся побыстрее!
- Добро-добро!

В трубке прощально и грустно щелкнуло. Снова тишина и одиночество, которые иногда бывали желанными, теперь стали невозможны. Положил трубку не на аппарат, а себе на грудь. Частые высокие гудки, раздававшиеся в трубке, казались сигналами из далекого далека, посылаемыми кораблем, терпящим бедствие. Надо засечь координаты, поспешить на помощь. Где, кто бедствует? В мире столько кораблей, столько людей, терпящих крушение. Как им всем помочь?.. А как помочь тем, которые, казалось бы, в безопасном, благополучном мире повсечасно испытывают тревогу, страх, сомнения и даже неверие? Порой очевидное и непреложное заставляет думать: а вдруг?..

Вспомнил давний разговор с дочкой, бесхитростный и наивный, но поразивший, заронивший сомнение. Было это в самом начале зимы, шел снег — пушистый, лапчатый. Валя с закутанным горлом сидела дома. Она не радовалась белому чуду, как бывало раньше, с тоской в голосе спросила:

- Папка, а снег растает?
- Непременно, — с готовностью, не понимая, к чему такая речь, ответил отец.
- Когда?
- Весной.
- А если не растает?
- Такого не может быть! — запротестовал всерьез.
- Вдруг не растает, что тогда?..
- Не смог ничего ответить. Припомнилось, что в детстве сам задавал подобные вопросы. Перед глазами появилась картина солнечного затмения, ощутил тревогу, словно наяву, увидел лица соседей, вышедших на улицу, — серые, переменявшиеся до неузнаваемости. Какая-то бабушка вынесла икону божьей матери, шептала молитву о защите и помиловании грешных. Люди молчали, один он не мог больше молчать, донимал всех вопросом:
- А вдруг не выйдет?
- Обязательно покажется! — успокоил его сосед.
- А вот если?..
- Не может такого быть.

— Почему?

— Потому, что будет конец света.

Поглядел еще раз через закопченное стеклышко на затененное солнце. Показалось, в серо-голубоватом своде неба образовалась черная дыра, проход куда-то, во что-то еще более непостижимое.

Вспоминал то памятное затмение, видел черную дыру. Перед глазами всплыла его подводная лодка. Затем, словно на экране кинохроники, поплыл, закружился шар земной с серебристыми морями и голубыми материками. Какая-то темная, похожая на тяжелую чугунную сковороду заслонка пыталась затмить, скрыть от мира, но Земля выходила из тени, удалялась от нее, серебристо освещивая морями, ярко голубея материками. Черная свинцово-тяжелая заслонка снова пыталась ослепить и материки и моря.

18

На шестнадцатом трамвае, который останавливается у самого их дома, они вчетвером доехали до Московского вокзала. Когда был подан состав, первыми вошли в вагон, разыскали купе, определили места. Серафима Ильинична ляжет внизу, Алла над ней, на верхней полке. Володя и Лида — родственники — тоже собрались было ехать, но Серафима Ильинична запротестовала. Даже в горе была эгоистичной: ее сын — ее и мука, зачем другим брать на себя то, что положено ей судьбою. Попыталась было отговорить и Аллу, но, встретив упрямую решимость, сдалась: пускай едет, все-таки подмога, мало ли чего может случиться в пути.

Лида осторожно присела на краешек полки, Володя вышел в коридор покурить. Когда объявили, что до отправления остается пять минут и что провожающих просят покинуть вагон, они молча простились, и Серафима Ильинична стало свободнее, словно удалили причину, стеснявшую ее. Она не вышла из купе, не прикинула к окну, не помахала на прощание родственникам, терпеливо ожидавшим ее появления. Попросила Аллу расстелить постель, скинула второе потяжелевшие за день туфли, сняла темное шерстяное платье, достала из сумки просторный халат, надела его, легла на постель поверх одеяла. Ее охватили усталость и безразличие. Верилось, все, что могла выплакать, уже выплакала. Вся боль отболела, скорбь выгорела дотла, силы истощены, жизнь завершена. И то, что она еще способна что-то понимать, на что-то откликаться, куда-то ехать, казалось ей каким-то механическим, неестественным. Она чувствовала себя освобожденной от всего: никаких запросов, никаких желаний, никаких надежд. Все, что было у нее дорогого, все, что боялась потерять, — потеряла. Никакой угрозы, никакого страха теперь не испытывала и не могла испытывать.

Поезд шел быстро, но вагон не дергалось, не качало, не кренило в стороны. Перестука колес почти не было слышно: на сваренных стыках они меньше стучат. Такая плавность ей показалась нереальностью. Все теперь воспринималось точно в забытии, в полусне, на грани сознания. Серафима Ильинична закрыла глаза. Она не спала, но и не бодрствовала, находилась в том состоянии, когда и сон и вымысел приобретают достоверные черты.

Она увидела своего Алешу маленьким, забавным. Каждый божий день, возвращаясь из школы, он

успевал где-то отыскать беспризорного котенка, пихал его за пазуху, приносил в дом. Сперва радовалась его находкам, принимала близкое участие в том, чтобы накормить и отогреть живое существо. Помогала сыну мыть котенку лапы, причислять шерстку, забавлялась его играми. Спустила какое-то время, когда уже из каждого угла стали посвечивать зелено-фосфорические кошачьи глаза, когда на диване, под кроватью и на кровати видела кошачьи потасовки, когда и по коридору и по кухне стала носиться клоками кошачья шерсть, — терпение истощилось. Отправляясь на рынок или в магазин, выносила из дому в сумках кошек и котят — кого удалось приманить и поймать. Но сколько бы она ни выносила, казалось, их становится все больше. Сын то и дело притаскивал новых. На мольбы матери о том, что ей нелегко, она устала их кормить и за ними убирать, сын только вздыхал, просил взглядом не обижать беззащитных.

Однажды, дойдя до иступления, схватила половую щетку, отворила все двери и окна, носилась, как ополоумевшая, по квартире, изгоняя кошачье кодро. Алеша ревел, пытаясь перехватить щетку. Она в гнев отталкивала сына, выкликая проклятия, старалась с еще большим рвением...

Обеспокоенная Алла спустилась с верхней полки, вынула из сумочки, которую Алеша привез из Франции и подарил ей в день рождения, пузырек с нашатырным спиртом, смочив ватку, поднесла близко к лицу Серафимы Ильиничны. Та, глубоко вздохнув, очнувшись, привстала на локте, спросила девушку участливо:

— Что с тобою, милая?

— Думала, вам плохо. Так метались...

— Спасибо, все уляжется, уляжется. Не беспокойся, отдохни, — попросила спутницу. Но стоило ей забыться, как перед глазами снова возникал кошачий ералаш.

Так и не сомкнула век до самого конца пути.

Поезд пришел рано утром. Серафима Ильинична не была в Москве. И не Москва ее сейчас заботила. Все же успела заметить, что вокзал, куда они прибыли, в точности напоминает тот, откуда отправлялись. Не возвратились ли обратно? Но тут же краем воспаленного сознания, усталого и, как ей казалось, не фиксирующего ничего постороннего, не относящегося к ее утрате, отметила, что в ее городе, на ее вокзале над перроном подняты навесы, защищающие пассажиров от солнца и непогоды. Здесь их нет. Потому мелкий предвесенний дождик моросит свободно, делая сумки, баулы, чемоданы, козырьки фуражек носильщиков блестящими.

Алле приходилось бывать в Москве не раз, потому она чувствовала себя свободно. Выстояв очередь на такси, сели в машину — Серафима Ильинична сзади, Алла рядом с шофером, — назвали адрес гостиницы, где им были заказаны места заранее и о чем Серафима Ильинична было сообщено телеграммой.

У входа в гостиницу их ожидал мичман, пожилой, сильно располневший человек. Он поклонился Серафиме Ильиничне, затем Алле, высказал соболезнование. Кивнул на машину, которая стояла неподалеку, сказал, что, как только они будут готовы, можно сразу отправляться.

Серафима Ильинична надеялась увидеть в последний раз своего сына, глядя в дорожное лицо, проститься. Но не увидела. Гробы были наглухо закрыты. Плотнo обтянутые красной материей, с черными драпировками на крышках, они стояли на невысоком постаменте отчужденно. На двух лежали фуражки с золотыми кокардами. на третьем



бескозырка. Серафиму Ильиничну подвели к первому гробу, сказали: здесь. Посадили на стул. Алла отказалась садиться, решила, ей удобней будет стоять сзади, опираясь на спинку стула Серафимы Ильиничны. Украдкой разглядывала просторное помещение, откуда, догадывалась, была вынесена вся мебель, кроме нескольких стульев, предназначенных для близких родственников. В изголовье гробов на стене висели три портрета — увеличенные фотографии. Они были какими-то чужими, не похожими на тех, кого изображали. По углам накрытого кумачом постамента стояли матросы с карабинами. Они, неестественно напряженные, выглядели тоже неживыми.

Алла остановила взгляд на полной белокурой женщине, закутанной по-крестьянски черным платком, поняла: это и есть Мария, Маша — жена мичмана Макоцвета, которую она знала по рассказам Алеши. Ревниво приглядываясь к ее чертам, Алла не находила тех достоинств, о которых так много говорил Алеша. «Что в ней такого? Обыкновенная крестьянка!»

Рядом с ней как-то неловко, несвободно сидела Толпон — жена Макара Целовальникова. Смуглое лицо было желтовато-бледным, не по-женски широкие брови, сросшиеся на переносье, придавали ей вид грозный, недовольный, что не вязалось с ее робкими жестами и движениями. Рядом стояла девочка лет трех, облокачиваясь на материнские колени. Она любопытно поглядывала по сторонам, заметив что-то необычное, тянулась к уху матери, шептала усердно, показывая пальцем на предмет своего любопытства.

Только теперь, глядя на девочку, поняла Алла всю глубину потери. До этих пор, казалось, глухая ко всему и бесчувственная, она вздрогнула, как от неожиданного удара, закрыла лицо руками, со стоном разрыдалась. Это вывело окружающих из оцепенения, все повернулось к ней удивленно, подошедшие офицеры начали утешать ее, открыли пузырек корвалола, подали стакан воды. Она от лекарства отказалась, отпив из стакана, поблагодарила озабоченных военных людей, пришла в себя.

Ее взгляд то и дело останавливался на Маринке. Она ласкала девочку мысленно, тормошила, заплетала мягкие, длинные, вьющиеся волосы, подбирала ленты, примеряла на нее всяческие платица и сарафанчики, какие только могло нарисовать возбужденное воображение, надевала попеременно то гольфики, то носочки разных окрасок и оттенков, обувала в туфельки, сандалики, сапожки. Была поглощена девочкой, ничего вокруг не видела, кроме Маринки, так похожей на ту, которая могла быть у нее, у Аллы, если бы они поженились с Алешей, если бы он перевез ее к себе, на Север, в город, где жили его друзья-сослуживцы, где, как он обещал, должна была жить и она, Алла. Если бы!..

Она ловила себя на страшной, постыдной мысли о том, что думает не об Алеше, печалится не о нем, а о том, что могло быть, если бы не его смерть; не о нем самом, а о том, что потеряла с его кончиной. «Нет-нет,— лихорадочно начала уверять себя,— я любила его, он дорог мне, именно он, я скорблю о нем, я останусь одинокой навсегда, буду верна его памяти!» Убеждала себя таким образом, но трезвым сознанием понимала всю неправду сказанного. Алеша для нее не существовал отдельно от ее счастья, благополучия, удачного будущего. Отдельно существующего Алешу не было: только Алла и вместе с ней Алексей, Алла и вместе с ней Маринка, Алла и вместе с ней ее семья, ее благополучие. Без Аллы, вне ее интересов, отдельно от ее судьбы Алексея не было и не могло быть. Наглухо закрытый гроб — отстраненная потеря, чужая боль, чужая судьба. Она не доходила до сердца, не ранила. Тревожило то, что могло быть, но не сбылось. Его и надо оплакивать.

Домовины поставили в три автобуса. Родственников рассадили соответственно. Выглядело странным то, что мало слез, мало причитаний. Никто чрезмерно не убивался, никто не падал в обморок. Может быть, успели выплакаться заранее? Может, потому что потеря пришла так необычно, странно, от небылого случая, чуждо и непривычно звучащего облучения? Может быть, потому что умерли не просто, а, судя по речам, произнесенным на панихиде, сделали что-то невероятное, чему и названия пока подобрать трудно? Подтверждением высказанному служат ордена Ленина, посвятившие на алых подушечках, подтверждением этому служат многочисленные венки, обилие венков, которыми был заполнен зал, а теперь автобусы и крытые зеленым брезентом грузовые машины, где рядом с венками сидели матросы почетного караула, зажав между коленей карабины. Или потому, что домовины-гробы закрыты и нет возможности взглянуть смерти в лицо, а раз ты ее не видишь — боль не так остра?

За окнами автобуса мелькали дома, встречные машины, высокие металлические опоры с фонарями, стриженные кроны темных безлистных деревьев. Автобус двигался в плотном потоке автомобилей, в которых находились люди, не ведающие о случившемся. И это показалось Алле странным. Была уверена, что вся Москва остановит движение, замрет, склонится в скорби, провожая в последний путь Алексея Горчилова и его товарищей, которые совершили неслыханное. Но Москва шумела, двигалась, дышала, не подозревая о трагедии. И, странное дело, это не оскорбило Аллу, не унизило ее печаль, не вывело из себя окончательно. Наоборот, стало легче дышать, скорбь показалась не так горька и безысходна. С потерей Алексея Горчилова мир не прекращал своего существования. Жизнь вокруг выглядела прочной, надежной, вечной. Тя-

жесть, давившая сердце, отступила, оставив некоторый холодок. Она понимала свою беду, свою утрату. Этим по-прежнему было занято сознание. И в то же время способна была думать о чем-то ином, способна видеть, запоминать и вспоминать об ином. Глядя на дома, на шумный поток машин, на высокую эстакаду, по которой двигался автобус, на дорожную развязку под эстакадой, узнавала, что едут по Садовому кольцу и выехали на площадь. А вот другая площадь, и тоже знакомая. Уже когда миновали ее, двигались по улице Горького, между рядов плотно прижатых одно к другому зданий, поняла, что промелькнула площадь Маяковского. Как подтверждение в памяти встали белые четырехгранные колонны Зала Чайковского, башенка гостиницы «Пекин», тяжеловатая фигура поэта на пьедестале. Аллу всегда радовал вид Белорусского вокзала: удобное глазу, затейливое строение, крашенное белым и бирюзовым. Некрутой подъем на мост, и вдруг открывающийся Ленинградский проспект с широкими полосами скверов по обеим сторонам основной проезжей части, с малыми подъездными дорожками у зданий. Когда вырываешься из узкой горловины улицы Горького на простор проспекта, кажется, что стало легче дышать.

У открытых могил на специальных носилках были поставлены домовины, произносились речи. Серафима Ильинична не вникала в их суть, казалось, была занята иным: сожалела, что ее дитя хоронят так далеко от дома, в чужом городе. Денно бы и ночью сидела у могилы, моля бога взять и ее поскорей, соединить с сыном. Володя и Лида непременно бы заховали и ее в одной оградке, под одной и той же березкой.

Когда Мария Макоцвет подошла к яме и заглянула в ее глубину и темноту, ей приизиделся мир, притененный густо сплетенными ветвями, мир красных сосновых стволов и забеленных снегом полей, темные избы, крытые дранкой, прясла, огораживающие участки, выпас, поднятые свечками стожки сена, насаженные на ошкуренные, вкопанные в землю столбы, покрытые круглыми, как вьетнамские шляпы, навесами, предохраняющими корм от непогоды. И среди всей этой притененной близины и тишины — потрескивание бревен буйно пылающего дома, лужи крови, дергающийся автомат Христосика и Ваня, ее Иван Трофимович, который всегда ей казался, даже в свои мальчишеские годы взрослым, сильным, ничего не страшщимся. Ваня уже почти настиг запыхавшегося, воющего от страха Христосика, еще рывок, еще усилие, и Христосик будет корчиться в могучих руках Ивана Трофимовича, который ей, Маше, дорожке всего и всех, который заменил ей отца и мать, успокоил, вытер слезы, дал хлеба. Когда утомленный и недовольный собой возвратился ее Ваня, когда горько стал сетовать на неудачу — не поймал оборотня, — Маруся принялась его уговаривать, гладила Макоцвету по плечам, нашептывая: «Ты одолел его, Ванюша, одолел окончательно. Потому должен усмирить сердце, и взор твой пусть не затуманивается укором и сожалением. Нет его, Христосика, нету. Сгинул, пропал, растворился, развеян по ветру. Ни дна ему, ни покрывки. Ни чести, ни памяти. А тебе, Ваня, хвала и слава, тебя будут знать и вспоминать долго».

Когда строй матросов, подняв вверх карабины, дал согласованный залп, все вокруг преобразилось: терпявшие сознание от печали — разом выпрямились, глянули на свет прояснившимися глазами; пребывавшие в шоке безразличия и равнодушия, ранее выплакавшие все свои слезы и силы без остатка — почувствовали, что их окатило новым

приливом страдания, переполненные болью, они всплескивали руками, заламывали их за головы, падали на холмики глины, выросшие над могилами.

При первом же залпе буйнее всех, отчаяннее всех, потерянное всех заголосила Маринка. Похоже, только с выстрелами, которые ее напугали, у нее прорезалось чувство, прояснилось сознание, и она наконец-то поверила, что потеряла отца. Она его не помнила, настоящего, видела только такого, каким он рисовался ей из слов матери: самый большой и самый красивый, плавает по морю на пароходе, никого не боится, черные ленточки его бескозырки летают по ветру. Она не знала его, но любила так же глубоко, как и ее мать Толпон, которая вложила в дочь большое чувство к отцу. И теперь Маринка не хотела терять отца, не соглашалась с его уходом. Потому так отчаянны и неистовы были ее призывы.

19

В памяти он постоянно видел свою экспериментальную подводную лодку.

Устало привалившись бортом к плавучему пирсу, черная на черной поверхности залива, она лежала головой в сторону высокой отвесной скалы. Ярко-белая полоса, выведенная стойкими красками, неширокой подковой охватывала ее тулой огромный нос чуть выше ватерлинии. Белая полоса выглядела злоеющим оскалом какого-то странного чудовища, только что вынырнувшего из темных глубин на поверхность.

Это если глядеть отстраненно.

Но раньше ему не приходилось так смотреть на свой корабль. Всегда и прежде всего он видел защищенный жестким металлическим ограждением командный мостик с переговорным устройством, которое связывало его со всеми отсеками, со всеми постами внутри лодки — от первого до последнего. Стоя на мостике, охватывал взором всю лодку — от широкого каплевидного носа до высоко поднятого за кормой стабилизатора. Чувствовал себя с кораблем слитно, неразрывно, как единое целое. Выходя в океан, приказывал погружение. Спустившись вниз, в центральный отсек, при задраенных люках, очищенных трюмах, задавал ход, определял дифферент. Набрал необходимую глубину, выравнивал корабль, принимал поступающие отовсюду доклады. Это была его жизнь, его бытие, без которого себя не мыслил. И где бы, в каком бы далеке ни находился, никогда не чувствовал оторванности от своей страны, от своей земли, потому что окружение всегда оставалось неизменным: и там, дома, и здесь, в океане, — одна и та же палуба, тот же мостик, тот же центральный пост, перископ, те же приборы. Его окружали все тот же неизменный старпом, замполит и все офицеры, мичманы, старшины, матросы. Его Родина, его земля, его государство были и в нем и вокруг него, заключенные в стальном корпусе лодки, потому не чувствовал оторванности, не болел ностальгией. Вот если бы его разлучили с кораблем, тогда бы почва ушла из-под ног. Он даже представить себе не мог, что в один из дней придется распрощаться со всем, к чему успел прирасти неразрывно. Не мог поверить, что больше не побывает в отсеке торпедистов, где на стеллажах, на кильблоках тележек, вытянувшись во всю длину, покоятся бело-серебристые торпеды. Не мог согласиться с тем, что больше не постоит у выгородки акустиков, не понаблюдает за их таинственным колдовством, за работой их яснослышающих

и яснослышающих приборов, обнаруживающих объекты и в отдаленных глубинах и на просторной поверхности. Не пройдет в машину, не услышит тонко поющих турбин, маслянисто чавкающих, вроде вздыхающих, помп и насосов. Не постоит в тишине вычислительных приборов, глядя на дрожжащие или замершие на месте стрелки, на мигающие разноцветные огоньки выпуклых глазков, на движущиеся вокруг постоянной точки голубые тонкие лучики локаторов. Не пройдет мимо реактора, заключенного в надежные защитные стены, который служит светилком, солнцем для металлического мира корабля. Реакторный отсек еще можно сравнить с солнечным сплетением, болевой точкой организма. Потому он так опекаем и охраняем, потому так строга служба, которая им управляет. Капитан-лейтенант Полотеез, командир дивизиона движения, чьи подчиненные управляют реактором, является по меньшей мере лордом-хранителем печати в королевстве подводной субмарины, а инженер-лейтенант Горчилов — его первым подручным...

Он о них думает, как о живых, реально существующих людях, временно отсутствующих, которые не сегодня-завтра непременно появятся снова в экипаже, хотя и знает, что ни того, ни другого уже нет, знает, что Алексей Горчилов скончался в столичной клинике и похоронен на одном из московских кладбищ, а капитан-лейтенант Полотеез тоже умер и похоронен в другом городе. Знает об этом...

Но пока неизвестно командиру лодки капитану второго ранга Мостову, что, казалось бы, так удачно вышедший из беды член его экипажа, близкий, очень близкий друг его дочери (об этом отец даже не подозревает!), старший матрос Николай Черных, который в настоящее время нормально несет службу и по вечерам бегаёт в базовый манеж играть в волейбол, где ему удастся повстречаться с Валей, что он, Черных, скончается и все по той же причине...

Как далеко протягивает свои щупальца радиация! С каким упреждением посылает она свои снаряды, оснащенные взрывным механизмом длительного действия. Хиросима, Нагасаки — куда без нужды сброшены американские атомные бомбы, вон сколько лет убивают, третье поколение калечат!

Чтобы не повторились Хиросимы и Нагасаки, необходимо быть готовым к испытаниям. Не будем готовы — не сможем постоять за себя и других — какие еще понесем потери?! Оружие обороны необходимо. Мы его создаем, испытываем. Что же! Будем трезво глядеть на факты, не отводя взгляда, должным образом оценивая происшедшее. Ибо мы заняты большим и весьма важным делом, требующим значительного напряжения сил и средств. Готовимся не к балу-маскараду с потешными стычками, взрывами петард, огнями фейерверков, а к защите людей, к сохранению самой Земли. И если мы на этом большом и трудном пути понесем утрату — не следует теряться, паниковать. Жертвы, которые могут возникать в результате дела нового, не изученного, не освоенного пока в полной мере, будут оправданны, не напрасны. Приобретенный опыт упасет от утрат неизмеримо больших. Об этом можно будет говорить, погибшим героям воздавать должное. Скажете, некоторые убоются, станут избегать службы на подводном флоте? Возможно, найдутся единицы. Но они, такие, и не нужны флоту. Зато пойдут настоящие. Космонавты тоже, случается, гибнут. Об этом сообщается открыто. Однако после каждого трагичного случая список добровольцев не уменьшается, наоборот, увеличивается. Можно прожить сотню лет и уйти из жизни незамеченным,

можно прожить два десятка — и остаться в памяти навсегда.

— Весь в размышлениях?..

Адмирал вошел в палату, поправляя халат на плечах, вошел стремительно, неожиданно. Среднего роста, полноватый, розовое, упитанное лицо чисто выбрито, негустые русые волосы зачесаны назад старательно, большие залысины обнажают крутой лоб, делают его широким и высоким. Если бы не подбитые яркой сединой виски, адмирала можно было принять за молодого офицера, тем более что его погоны со сплошным золотым галуном и крупной звездой, его нарукавные знаки не видны из-под халата.

Какое-то время, не отвечая на приветствие, капитан второго ранга Мостов молча глядел в лицо пришедшего, любясь его свежестью, жизнерадостностью. Он завидовал адмиралу потому, что тот жил прежней привычной жизнью, которая для Мостова осталась где-то там, за толстыми каменными стенами. Мостову показалось, что вместе с адмиралом в палату ворвалось нечто новое, раскованное, пахнущее свежим снегом и крепким морозом.

— Угадали, многое пришлось перевернуть в памяти. — Он одернул на себе пижаму, как привок одергивать китель, сел на кровать, показал на стул, придвинутый к тумбочке. — Присаживайтесь! — Пожимая протянутую адмиралом руку, снова привстал, спросил шуточно: — Не боитесь получить от меня некоторую долю рентген?

— Не боюсь! — ответил с улыбкой гость. — Врачи заверили, что все опасные доли из тебя откачали. Говоришь, о многом передумал?

— Были и время и условия.

— Как считаешь, правильно вы поступили на лодке, так ли действовали?

— В деталях могли быть промахи, но в принципе — да, правильно. Правда, сравнить не с чем, проверить не на чем. Подобного нигде и ни с кем не случилось и, твердо верю, не случится. Как бы действовали другие, сказать трудно...

— Академик одобряет. Говорит, если бы не то, что сделали, могло бы случиться непредсказуемое. — Адмирал повернулся боком, положил правую руку на спинку стула, левой медленно прошелся по ряду пуговиц на кителе, словно пересчитывая их. — Не знаю, говорили тебе, нет? Приезжал главноком. Побывал на лодке, беседовал со многими, разбирался в случившемся, проводил совещание в штабе флота. Сейчас работает комиссия из Москвы. Наш академик тоже включен в состав высокой комиссии.

— Где лодка?

— Далеко... — Адмирал показал рукой куда-то. — Отвели на завод, поставили в док. Не беспокойся, сделают для экспериментальной все, что необходимо. А ты бери семью и поезжай... Хочешь, с Франческой Даниловной, хочешь, возьми и дочку, с работы ее отпустим. Глядя, как удобнее. Путевки есть. Отдохнешь, отойдешь от забот на свободе. Вернешься, принимай снова корабль.

— Доверяете?

— Вполне.

— Добро, я подумаю.

— Чего же тут думать?..

— То, что произошло, это черта, от которой надо вести новый отсчет, через которую переступить не так просто.

— Что мешает?

— Надо кое-что решить для себя, — уклончиво от-

ветил Мостов. Затем спросил уже другим тоном: — И в лодках не сомневаетесь?

— А ты как считаешь?

— На таких служить можно.

— Наши мнения совпадают. Конечно, нет предела совершенству, как говорят. Техника в наше время быстро устаревает. Будем думать о новом поколении кораблей. Но сейчас пойдут эти как твоя экспериментальная, ясно, с некоторыми доводками.

Мостов взялся за отвороты пижамы, сильно потянул их книзу глухим, хрипловатым голосом произнес, будто разговаривая сам с собой:

— Беспокоюсь о памяти погибших...

Адмирал с готовностью ответил, словно ждал такого разговора:

— Делаем все возможное.

— Не просто жертвы случая — герои, выигравшие крупное сражение. Они высокий дух флота. Такие не должны быть забыты...

— Продумай детально все свои предложения, напиши рапорт.

— Добро-добро. — Похоже, успокаиваясь, Мостов отпустил отвороты пижамы.

Взглянув на часы, адмирал вдруг заторопился:

— Извини, к тринадцати ноль-ноль созываю людей. Пора. — Молодцевато поднялся, стремительно удалился.

Мостов встал, прошелся по палате пружинистым шагом, намеренно подражая адмиралу. Заметил с улыбкой: не очень-то получается. Подумал о том, что ему доверяют, ждут его выписки из госпиталя... Тут же засомневался, почувствовал, вроде бы что-то мешает ему принять твердое окончательное решение. Что мешает? Неужели неверие в себя? Не надломился ли, не травмирован ли случившимся? И не в облучении дело, не в количестве рентген — это забота врачей, — не травмирован ли духовно? Не сломлена ли воля? Не растеряюсь ли при новых трудностях, не сдам ли? Сумею найти в трудных обстоятельствах спокойствие и уверенность, решающие успех дела? Не заметят ли подчиненные на моем лице признаков колебания? Ведь я команду кораблем. А корабль в океане — суверенное государство с неограниченной властью командира — абсолютная монархия. Командир — все для корабля, в его руках судьба людей, он один может казнить и миловать, как говорит, волен вести или на гибель, или на победу... До сей поры подчиненные верили ему. А как теперь? Власть сильна сознательным подчинением, власть сильна доверием. Не поставят ли ему в вину случившееся? Если уловит хоть тень осуждения, хотя бы микрон недоверия, он сам потеряет равновесие.

За плечами немалая жизнь. Много видел, многое пережил. Пора делать строгие и верные выводы. Надо проверять себя, ставя прямые обнаженные вопросы, судить откровенно и до конца.

— Кто я?

Порой встречал уверенных в себе, но недалеких, от которых ни людям, ни делу нет пользы. Не похож ли я на одного из них?..

Встречал волевых властолюбцев, от которых стояли подчиненные, карьеристов, пробивающих себе дорогу локтями, порой неглупых, даже талантливых, но настолько ослепленных жаждой власти, что теряли голову.

Видел честных и умных людей, способных специалистов, которых вначале почти силой выдвигали в руководство и которые, вкусив прелести власти, превращались в тормоз.

Видел добрых людей, людей сердечных и отзывчивых, которые, возвысившись над другими, переставали их замечать...

— Так кто же я? Среди которых меня искать?

Как много в последнее время выросло людей значительных, людей большого достоинства и уважения. И не только военных, отмеченных звездами на плечах и на груди. Военные — особая статья, особый разговор. Они во все времена были заметны и отмечаемы. Не о них речь. Сама наша жизнь создала такое развернутое поле деятельности, создала столько специальностей, обязанностей, родов занятий, что диву даешься. И на этом поле так много выросло людей действительно деятельных, умеющих развернуться вовсю, показать себя и свои лучшие качества: тракторист, комбайнер, шофер, полевод, пастух, телятница, председатель колхоза, директор совхоза, селекционер, доярка, шахтер, доменищик, сталевар, слесарь, строитель, водитель электровоза, экскаваторщик, ткачиха, летчик, полярник, учитель, ученый, деятель культуры, искусства, литературы — какие высокие должности, какие почетные звания! А сколько заводов, фабрик, институтов, школ, больниц, театров, гидро-, тепловых и атомных электростанций,строек, транспортных и пассажирских судов... Жизнь так разрослась вширь, вглубь, ввысь, сфера деятельности человека так раздвинула рамки. Везде и всюду нужен человек, ищут человека. На любом поприще он может стать большим, единственным, незаменимым. Характерная черта времени состоит в том, что обыкновенный индивидум без каких-либо видимых внутренних и внешних отличий становится личностью выдающейся.

— А каков я?

Уверяют, в человеке запрограммировано все: и высокое, и низкое, он может быть и сердечным, и жестоким, и добрым, и злым, и активным, и безвольным. Все зависит от того, что в нем будет включено объективными или субъективными причинами. В зрелом возрасте человек сам из себя трезво может сделать и героя и негодяя. Только волю свою надо взять в руки.

— Кто же я? Чего хочу? Чего добиваюсь?

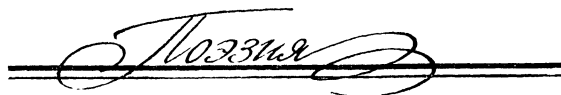
Вроде никогда не отличался напором, умом, храбростью. Был как все, не выделялся, не выходил из ряда. А если считать, что аккуратные, обязательные, исполнительные люди, как многие утверждают, посредственны, то был посредственностью, любил во всем пригнанность и подогнанность, недостаточно выдраенная палуба, не подтянутый до упора барашек стопора, тусклая бляха на ремне матроса вызвали недовольство, порой даже расстраивали.

— Так кто же я?

Иногда сдается, если бы сумел подготовить корабль и людей так, чтобы не терялись ни при каких ситуациях — цель жизни была бы достигнута. Не мало ли? Не знаю. Но это считаю главным. Уже сейчас действовать, как в настоящем бою, уверенно, профессионально. Знать возможности техники и оружия, знать возможности каждого члена экипажа. Подготовить бойца психологически — вот главное! Ни трудности, ни опасности, ни возможность самой гибели не должны пугать, не должны парализовать ум и волю. Горчилов и его команда — образец. Их опыт вселяет надежду.

— Мне по-прежнему доверяют высокий пост.

Ходил по палате, нетерпеливо поглядывая на телефон: хотелось, чтобы позвонили из дому.



КАДЫР МУРЗАЛИЕВ



Щенок и волкодав

Ты мудрость пил,

как крепкий чай из блюдца,

И с радостью и с бедами знаком.

Но посмотри, нельзя не улыбнуться,

Как волкодав играет со щенком.

Смешны его нелепые повадки.

Гроза волков, в бою непобедим,

То от щенка бежит он без оглядки,

То на спину ложится перед ним.

Опять встает и бегает по кругу,

Готовый, как подкошенный, упасть,

И замирает, как бы с перепугу,

И валится в песок, разинув пасть.

А маленький, привыкнув к великану,

Что жалок и как будто виноват,

Всем видом говорит: не перестану,

И треплет, как тулуп или халат.

Как это называется, причудой!

Откуда в волкодаве кроткий нрав!

Щенок на грудь взобрался псины лютый

И думает, что струсил волкодав.

Не ведаю, чем кончится забава,

Веселая и добрая пока,

Но нравится мне детство волкодава

И взрослое величие щенка.

Архар

Застыл архар над горной крутизной.

Какая даль глазам его открыта!

На камне с пуговицу величиной

Четыре умещает он копыта!

Он не баран, что к выпасу привык,

Он небосвод рогами подпирает,

На эту жизнь, стремителен и дик,

Не снизу вверх, он сверху вниз взирает.

И кажется, летит на крыльях он,

Его прыжок хочу сравнить с полетом.

Как странно, что не птицей он рожден,

К вершинам приспособясь и высотам.

Застыл архар на горной крутизне,

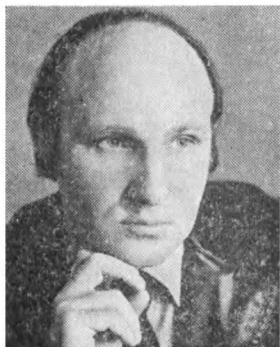
По каменному пробежав карнизу.

И кажется, он жалуется мне:

Опасности приходят только снизу!

Перевел с казахского
А. КУШНЕР.

НИКОЛАЙ
РАЧКОВ



Баллада о верности

Война гудела над страной,
Горели города.
— «Прощай, прощай, любимый мой,
Я буду ждать всегда».

А тучи двигались, гремя,
И горизонт был сед.
— «Пока ты любишь, для меня
И смерти в мире нет».
Но пуля все-таки нашла,
У ней своя корысть.
Зарыли тело. А душа
Звездой взлетела ввысь.
А женщина который год,
Старая, верит в сон,
Что вот он встанет у ворот,
Ей улыбнется он,
И к фотокарточке скорбя
Склонится головой:
— «Любимый мой, я жду тебя,
Я верю — ты живой...»

Среди вселенского огня
Ей слышится в ответ:
— «Пока ты любишь, для меня
И смерти в мире нет...»

**В смородиновом
овражке**

Раскрыл колокольчик чашки,
Зовет: идите сюда!
В смородиновом овражке
Смородиновая вода.
Блестит родничок подковой,
Он каждому здесь родной.
Я зачерпну родниковой,
Смородиновой, лесной.
Природа. Родник. Смородина...
И сердце стучит сильней.
Рождается слово Родина
Из этих вечных корней.

Гайдар

К губам прижимал полевую ромашку,
И сразу глаза у него голубели.
Любил он ходить по земле нараспашку
В неновой своей командирской шинели.

В лицо ему выюга шрапнельная била,
И жил он не гладко, и ел он не сладко.
Добра не копил. Все имущество было
Походный рюкзак, карандаш да тетрадка.

Последние строчки —
все в порохе, в дыме —
Оттуда, где небо рвала канонада...
Лишь светлые книги да доброе имя —
Вот все, что осталось.
А что еще надо!

Первая любовь

Где он, писем отчаянный ворох!
Лунный ливень надежд и обид!
Я не знал, что вся юность, как порох,
За улыбку твою прогорит.

И не знал, что, убитый тобою,
Я воскресну, я выживу вновь.
Что надолго немыслимой болью
Станет первая эта любовь.

Что однажды, меня окликаая,
Подойдешь, припадая к плечу:
«Посмотри, я ведь стала другая...»

Но другую я знать не хочу.

Платочек шелковый

«Это было давно, год примерно назад...»
Эта песня в душе не остыла.
Милый друг, я и рад бы забыть ее, рад,
Только есть в ней печальная сила.

В те весенние ночи в родной стороне
Был я парнем простым и бедовым.
Но зачем эта девушка встретила меня,
В том же самом платочке шелковом!

Я ей песню сыграл, вот и весь интерес,
Чтоб она ни о чем не тужила.
Спела песню она так, что месяц с небес
Сорвало в эту ночь, закружило.

«Словно тополь стройна...»
— вот и песня не врет.
Но уже на востоке светало.
Только губы как лед, только брови вразлет...
Все пропало, ямщик, все пропало.

Этой девушки нет, словно прожитых лет.
Эта тройка в степи пролетела.
Ах, платочек шелковый, старинный куплет...
Как тогда она пела, как пела!

г. Арзамас

ВАДИМ
КУЗНЕЦОВ



☆☆☆

Пролетая над Москвою по ночам,
гуси-лебеди торопятся на Север.
Ах, как жарко говорю я,
но речам,
но словам моим любимая не верит.
Гуси-лебеди умчались за Москву.
уронив перо уставшее на крышу.
Я любимую победушкой зову,
но она меня как будто и не слышит.
Я кричу любимой, что за ум возьмусь,
что отныне буду жить не как придется.
Я любимой в вечной верности клянусь,
а любимая то плачет, то смеется...

☆☆☆

Осень сгорает в огне
жаркого листопада.
В полночь влетает ко мне
тихая музыка сада.
Прост и печален мотив
незаписного каприса.
Охает Белый налив,
стонут приросты Аниса.
Ширятся корни в земле,
тянутся грузно и рьяно,
перемогая во мгле
цепкую завязь бурьяна.
Завтра я им помогу —
выполню чертово семя.
Я перед вами в долгу,
жизнь и грядущее время.
У прогоревшей печи,
в отблесках жара и света,
сладко мне видеть в ночи
образы дальнего лета.
Там, на излучине дня
[в каждой косе — по цветочку]
взрослая внучка моя
нянчит кудрявую дочку.
Яблоки в сини очей —
спелые звезды разлуки.
К ним с материнских плечей
тянутся детские руки.

Гасит мерцание свеч
Тихая музыка сада.
Русская печь. Русская речь.
Что еще надо!..

Охота

В. Черезову

Полночные плавни черны, как чернила.
Как уши собаки, торчат два курка
и ждут настороженно, жадно и стыло
предутренних всполохов крыльев чирка.
О скольких, свинец, ты безжалостно выбил
из мчавшихся в небо в обманной тиши.
Нелепа судьба. И безжалостен выбор:
лететь или жить, затаившись в глуши.
Я сделал свой выбор. Я кинусь за светом.
И брызнут две вспышки, закрутится дым.
И имя мое разорвется дуплетом,
и шлепнется в плавни,

и булькнет: — Ва-дим...

Но горечь разлуки, но боль поражения,
но мутью забвенья пугающий ил
затмит неизбывное счастье прозренья,
что с жизнью — на равных! — и я говорил.

Памяти Ю. И. Селезнева

Прощайте, друг! Точнее, до свиданья.
Растет, растет забвенья трава...
Теснее круг. Крупней воспоминанья,
И в этом жизнь бессмысленно права.
Как весело поют за домом птицы!
Как беспредельна неба высота!
И верится — действительно случится,
что мир спасет однажды красота.
И вечной правдой снова дышит строчка.
И сердце не распятое болит.
И в душу не по-детски ваша дочка
глазами родниковыми глядит...

Ночной разговор

Когда удача скрылась прочь,
другим помахивая гривой,
судьба сказала: — Ты счастливый,
я подарила тебе дочь.
Она красива и умна и разделяет твоё дело...
— Да, это правда. Но она
совсем недавно овдовела.
— Но все равно счастливый ты!
Припомни, не поддавшись мигу,
ты написал однажды книгу,
где столько яркой доброты,
где строчка каждая полна
слепой надежды и печали...
— Но эту книгу замолчали,
и в Лету канула она.
— Но ты не забывай о том,
что совершил то, что от века
предназначалось человеку:
сад посадил, построил дом.
От этой логики простой
в кулак сошлись, белея, пальцы —
ведь яблони обгрызли зайцы,
а дом... а дом стоит пустой...



ЮРИЙ БЕЛЯВСКИЙ СПАСАТЕЛЬ

Пьянство... Алкоголизм... Сколько загубленных судеб стоит за этими словами. Сколько больших и малых человеческих трагедий, разбитых семей и несостоявшихся талантов... Об острой необходимости навсегда изгнать из жизни нашего общества эти отвратительные явления прямо и откровенно сказано в постановлении ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма». Одним из тяжелейших последствий алкоголизма являются искаленные детские судьбы. Дети, ставшие сиротами при живых родителях... Человеку, ведущему ежедневный бой за будущее этих детей, посвящен публикуемый нами очерк.

Владимир Григорьевич Евдокимов со своими воспитанниками.

Фото Л. Шимановича.



здании остро пахло свежей краской. Этот запах, исходящий от школьного здания, смешиваясь с тонким ароматом молодой зелени из огромного лесопарка, начинающегося прямо за школьным забором, будил, казалось бы, давно позабытые воспоминания собственного детства — тогда это точно говорило о том, что начались летние каникулы. У самого входа в директорский кабинет стоял бидон с масляной краской, да и сам директор, сидя за письменным столом, заваленным бумагами, занят был тем, что оттирал краску сначала с пальцев, а потом с полы своего поношенного пиджака. Владимир Григорьевич Евдокимов — директор интерната с длинным и, как мне поначалу показалось, несколько архаичным названием: «Для нервных детей, лишенных родительского попечения».

Было шесть часов вечера обычного рабочего дня, начавшегося для Евдокимова, как всегда, в половине восьмого утра, но домой он не собирался. Отвечал на телефонные звонки, подписывал накопившиеся бумаги, разговаривал со мной, что-то говорил ребятам, ежеминутно засовывавшим головы в дверь директорского кабинета. Тринадцать лет приходит он сюда к подъему и уходит после отбоя. Впрочем, в день нашего знакомства он ушел немного раньше — часов в девять раздался последний телефонный звонок, после которого Владимир Григорьевич, смущенно проведя рукой по своей пышной шевелюре,

сказал: «Жена звонила, напоминала, что у меня сегодня день рождения. Пятьдесят четыре стукнуло». Пятьдесят четыре, тринадцать из них здесь, в интернате с длинным и не особенно привычным для нашего уха названием. Может быть, оно и хорошо, что не особенно привычным?

Объясняется-то название просто — триста семьдесят три мальчика и девочки, живущие, работающие и обучающиеся в этом здании, — дети людей, лишенных родительских прав. В большинстве случаев их родители хронические алкоголики. Примерно восемьдесят процентов этих ребят имеют отклонения в нервной и психической деятельности. Процентом семьдесят из них пришли в интернат, имея на руках врачебное заключение, жутковатое в своей категоричности: «умственно отсталый». Так что куда уж проще... Каждая из этих трехсот семидесяти трех коротеньких судеб до поступления в интернат складывалась так, что от одного только схематичного рассказа начинает не хватать воздуха в груди.

Я не стану их вам пересказывать, дорогой читатель. Я задам несколько вопросов, а вы на них ответьте, только не мне, а себе. Вы голодающих детей видели? Нет, не на экране телевизора, в программе «Сегодня в мире», когда речь идет о засухе в слабо развитой стране, а у нас дома, через сорок лет после того, как война кончилась?

Большинство первоклашек, поступающих в этот интернат, имеют явные признаки хронического недоедания. В течение первой недели в интернатской столовой они, съев полную тарелку каши, бегут на раздачу и тоненькими жалобными голосами просят: «Тетечка, я еще хочу!» И так по четыре, по пять раз подряд. Как же должен был наголодаться этот семилетний человечек, чтобы тарелка манной каши казалась ему недосягаемым блаженством? Пятьдесят пять копеек стоит килограмм манной крупы и тридцать копеек литр молока. Этих денег хватило бы на ежедневную тарелку каши в течение месяца.

Его нечесаная мать (мать — слово-то какое, святей не бывает) с утра пораньше с измятой трешкой в руках срывалась в винный за очередной бутылкой «бормотухи». А потом, глядя мутными глазами на голодное свое дитя, плескала и ему на доньшко грязного стакана, чтобы не хныкал и заснул поскорей. Вот так. Все просто.

А десятилетнего алкоголика, которого год от алкоголизма лечили и еле вылечили, вам видеть не приходилось? У него мочки ушей оторваны. На вопросы отвечает спокойно, говорит как о чем-то само собой разумеющемся: «А папка оторвал. Пить вместе с собой заставлял, а если я не хотел, говорил, что уши оторвет. Вот и оторвал».

Все. Вопрос последний, не столько к вам, сколько к самому себе. Вы любите детей? Не только своих, а детей вообще?

— Конечно, что за глупый вопрос, как можно не любить детей?..

А коли так, то как же это мы все, добрые и сильные, ходим по земле, занятые своими важными делами, безразлично глядя на этих спившихся, спивающихся, начинающих пить родителей?

Кроме экономического ущерба, государству наносимого, о чем и говорилось и писалось уже немало, творится, по сути дела, прилюдно и при свете дня прямое преступление — взрослые час за часом морально и физически калечат детей! Калечат не только недоеданием, битьем и отсутствием самого элементарного ухода за ребенком, но и атмосферой жизни своей, вольно или невольно (какая в данном случае разница!) накладывая слепок своей деградировавшей личности на еще не сформировавшуюся,

а потому особенно податливую ко всему личность ребенка.

Спокойный и уравновешенный Евдокимов, говоря об этом, непроизвольно сжимает кулак и начинает стучать им по столу.

— Знаете, чего я хочу больше всего на свете? — говорит он. — Чтобы был усовершенствован закон о лишении родительских прав. Сейчас процесс изъятия ребенка у таких, с позволения сказать, родителей тянется годами. С ними беседуют, наставляют на путь истинный, устанавливают сроки для того, чтобы дать исправиться, а уже только после этого передают дело в суд. А я считаю, что прежде всего надо ребенка спасать, вырывать его из этой гнилой, губительной среды, а уже потом заниматься перевоспитанием родителей. Чем раньше попадет ребенок к нам, тем больше гарантий, что он станет нормальным человеком. За тринадцать лет работы через мои руки прошли сотни, если не тысячи детей, вырванных из рук алкоголиков, а знаете, сколько за это время было случаев восстановления родительских прав? Пять! Понимаете, всего пять. Их, родителей этих, лечить надо, а не беседы о воспитании проводить.

Иногда за совсем недлинный срок успевают родители насажать в душу ребенка столько «воспитательных пятен», что потом ни один интернат их вывести не в состоянии. Когда я писал этот очерк, трое из евдокимовских воспитанников находились «в бегах». (Бегут из интерната не часто, но все-таки бывает). И каждый из этих «бегунов» подтверждает справедливость евдокимовского утверждения о том, что чем позднее принято решение о лишении родительских прав, тем труднее идет процесс создания устойчивой к отрицательному воздействию человеческой личности. Вот история одного из теперешних «бегунов». Сейчас ему четырнадцать лет, в интернате оказался два года назад. Мальчишка маленький, худенький, очень ловкий, по определению Евдокимова, такой, что хоть в игольное ушко пролезет, правда в ушко ему пролезать не приходилось, любящая мамаша присмотрела для сына занятия поинтереснее — лазать в оконные форточки. Выбирали они квартиры, откуда хозяева ушли. Мать подсаживала сына, он мгновенно залезал в форточку, открывал входную дверь, и уж тут-то мамаша времени не терпела. Когда после очередного форточного «дела» их поймали, мать пошла в тюрьму, заодно ее, естественно, лишили родительских прав, а мальчишку прислали в евдокимовский интернат. Пока мать находилась в заключении, с парнем все было вроде бы нормально: особым прилежанием к учебе и труду, правда, не отличался, но помаленьку начинал в коллективную жизнь втягиваться. И вот мамашу освободили, установили ей место поселения в Калининской области, а через несколько дней она объявилась в интернате. Что уж она говорила сыну во время родственных объятий, сейчас установить трудно, но на следующий день парень сбежал. (Сдержанный Евдокимов рассказывает об этом просто-таки со скрежетом зубным. Усматривает он в этом и свой просчет, да и недоработку свою — не смог, не успел привить мальчишке иммунитет против мамашиней «красивой» жизни). Милания «бегуна» обнаружить не смогла. Тогда на место поселения матери выехали директор интерната и один из воспитателей. В машинном «бунгало» их встретила развеселая компания, среди которой с рюмкой вина в руках восседал и бывший интернатовец. Звбрали его оттуда прямиком в больницу: от «материнской» заботы оказалась у парня дизентерия. Вылечили, вернули в интернат, и... он сбежал снова.

Опять Евдокимов отправляется в Калининскую область, но на этот раз парня спрятали покрепче, так, что не только милиция, но и сам директор интерната его найти не смог. Евдокимов обращается к районному следователю с просьбой привлечь мать в соответствии с новым Указом к уголовной ответственности за спаивание несовершеннолетнего (интересно, почему это педагог должен напоминать юристу о необходимости точно исполнять закон), но прокуратура пока возбуждать дело почему-то не спешит. Вот так же в свое время не спешила лишать непутевую мамашу и родительских прав, а сделай это вовремя, пока было еще не поздно, наверняка судьба этого парня сложилась бы иначе.

...А за окном директорского кабинета бушует ясный и звонкий июнь. Ребята вместе с воспитателем азартно красят стену. Один из них, лет десяти с виду, в хозяйственном запале чуть не по локоть засовывает руку в бидон с краской. Вытаскивает голубого цвета руку и секунду изумленно смотрит на нее. Его товарищи, конечно, покатываются от хохота, а он неожиданно заливается слезами. Воспитатель, мужчина в черном рабочем халате, откладывает кисть, подходит к нему, кладет руку на кудлатую голову и негромко говорит: «Ну что, Олежка, на кого ж ты обиделся?» — «А чего опи?» — продолжает всхлипывать, говорит Олежка и утыкается лицом в живот своего утешителя, потом отчаянно машет перемазанной рукой, на лице сквозь слезы сияет ослепительная улыбка, и он, мгновенно позабыв обо всем на свете, вновь начинает ожесточенно и весело красить стену.

На скамейке, в дальнем углу интернатского двора, рыженькая вescuшчатая десятиклассница в круглых очках, похожая на Пепицидлинныйчулок, сосредоточенно глядит в учебник, — завтра экзамен. Иногда она закрывает глаза, откидывает голову и что-то шепчет, отчетливо шевеля губами, кажется, что она полностью погружена в свою зубрежку, однако время от времени успевает все же бросить заинтересованный взгляд на своего приятеля, который, отложив учебник и сбросив на скамейку школьный пиджак, наверное, уже раз двадцатый подтягивается на турнике.

— Понимаете, — продолжает Евдокимов, — когда они приходят к нам в интернат, наши будущие воспитанники, — кроме всего прочего, у них начисто отсутствуют навыки к любому труду. Они просто катастрофически ничего не умеют. Не умеют учиться, не умеют пришить пудовину, убрать постель, умыться по-человечески не умеют. Их этому не научили. Их не научили ничему, требующему хоть каких-то самых минимальных усилий. Причем заметьте, что, когда я говорю о наших воспитанниках, речь идет о тех счастливчиках, которые игрой случая не получили от своих родителей тяжелой патологической наследственности. Они повышено возбудимы, они издерганы, они быстро утомляются, но в конце концов это нормальные ребята. Просто запущены они до такой степени, что — повторю — самым элементарным вещам их приходится обучать. Чем раньше они поступят сюда, тем проще и эффективней проходит этот процесс. Но вот что интересно: дело о лишении родительских прав чаще всего возбуждают участковый или инспектор по охране прав детства, реже общественность дома, где они живут, еще реже школа и почти никогда детский сад или ясли. А уж, казалось бы, кому, как не воспитателям детского сада, видеть, что творят родители с малышом, кому, как не школьному учителю, заметить степень полнейшей домашней запущенности ученика? Да, конечно, видят, и замечают, и ме-

ры какие-то принимают, но... Представьте себе: человека затягивает болото, вот он уже по пояс барахтается в трясине, еще миг, и его затянет по горло, а вы стоите рядом на кочке и говорите ему: «Действительно, ситуация складывается тяжелая, мы разберемся и примем меры по вашему спасению». Сначала надо спасать, а потом разбираться!..

Евдокимов, усталый и деловитый Евдокимов, тринадцать лет днями и ночами не вылезающий из своего интерната, по сути своей, по назначению своему на земле из этой самой породы спасателей. Из тех, кто при виде тонущего человека не бежит по берегу, а спокойно снимает пиджак и прыгает в воду. Да и само его появление в интернате утверждает эту его «спасательскую» сущность. Тогда, в 1973 году, интернат, прямо скажем, находился в положении наиплачевнейшем. Директора менялись с интервалом в семь-восемь месяцев, да и назначение сюда воспринималось, как кара небесная за неизвестные (а может, и известные?) грехи. Педагогического коллектива как такового не существовало вообще, то есть имелись работники со специальным образованием, однако думающие только о том, как бы скорее унести отсюда ноги. А само воспитательное учреждение и внешне и, что самое страшное, внутренне полностью соответствовало старинному грустному слову «приют». После провала очередного директора начальство, отвечавшее тогда за интернат, лихорадочно подбирало кандидатуру нового, которого можно было бы послать на эту педагогическую «амбразуру». Кандидатур нашлось несколько. Все это были люди опытные, имевшие большой стаж руководящей педагогической работы, и, может быть, именно поэтому все они, как один, представили медицинские справки о том, что по состоянию здоровья использоваться на такой работе не могут. Единственным, кто такой справки не принес, был Владимир Григорьевич Евдокимов. К этому, я бы сказал, рубежному моменту в своей жизни прожил Владимир Григорьевич на свете сорок один год и имел за плечами судьбу, по его тогдашним (да и по нынешним) представлениям, вполне удавшуюся. Родился он в старинном русском городке Шуче, там же и институт окончил. Учительствовал, к тысяча девятьсот шестьдесят второму году стал самым молодым в ту пору директором средней школы в Москве. Потом четыре года был директором советской средней школы в ГДР, год в Югославии. Вызов в райком партии и предложение возглавить полуразвалившийся интернат застало его на спокойной и весьма престижной должности старшего инспектора Первомайского района г. Москвы. «В общем, жить можно было...» — с какой-то грустной улыбкой над собой тогдашним да и над собой теперешним вспоминает Владимир Григорьевич. Еще как можно! Занимался себе полезной деятельностью, помаленьку пиши диссертацию, благо, что и материала к тому времени накоплено было немало, да и врожденная склонность к анализу у педагога-математика Евдокимова явно присутствует. Все так, однако Евдокимов медицинских справок доставать не стал, пошел в райком и согласился. Почему?

Уж никак не из романтической склонности к преодолению препятствий. Думаю, опять-таки в силу «спасательской» сущности своего характера. Как прыгнул тогда в холодную воду интернатских дел, так вот уже тринадцать лет и тащит за собой, словно буксир, эту баржу, хотя год от года легче она не становится. Впрочем, наработано много. Интернат стал одним из лучших в Москве, а самому Евдокимову в прошлом году присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Может быть, главное

подтверждение успеха заключается в том, что приходят в Евдокимовский кабинет ребята из других интернатов и просят перевести их к нему. И опять старый «спасатель» Евдокимов никому не отказывает, он принимает всех, хотя частенько, даже до ознакомления с личным делом «просителя», опытному директору понятно, что спокойствия в жизни его новое «приобретение» явно не добавит. Да и о каком спокойствии может идти речь...

А на третьем этаже в прекрасном кабинете, оборудованном по последнему слову школьной техники, десятиклассники сдают выпускной экзамен по математике. Эти ребята — директорская гордость, и он не может отказать себе в удовольствии хотя бы мимоходом заглянуть к ним. Дело в том, что евдокимовский интернат — единственный в Москве из подобных ему, имеющий в своем составе девятые и десятые классы.

В девятый класс приходят лучшие ребята из всех городских интернатов и детских домов такого профиля. Это, в хорошем смысле слова, интернатская «элита» — самые способные, самые активные, самые лучшие ребята. Ребята, подтверждающие извечную идею директора, двинувшую его в свое время из теплого «руководящего» кресла в команду «спасателей», — не бывает плохих детей, бывают плохие воспитатели. Вот они сидят за партами, высокие, красивые, умные, по-юношески прекрасные граждане нашей страны, а загляните в пухлые папки их личных дел, посмотрите, с какого ужаса все начиналось... Вот он, с небрежной элегантностью решающий бинном Ньютона, конечный результат евдокимовского труда. Вот они — спасенные им люди. Честное слово, ради этого стоит трудиться!

Потом, после сдачи экзамена, они веселой стайей залетели в директорский кабинет и по-хозяйски расселись на стульях, стоящих вдоль стены. Больше всего в их взаимоотношениях между собой, да и с директором тоже, меня поразила привычная своякая нежность. Сначала я как-то не мог сформулировать для себя это ощущение, а потом понял: ну да, конечно, просто нежность, характерная для взаимоотношений в большой дружной семье, когда все ее члены рады успехам друг друга, грустят из-за неудач, то есть уверены во взаимном сопереживании. То самое, чего так часто не хватает нашим маленьким и вполне благополучным семьям, где каждый поодиночке переживает порой общую неприятность. А когда они, совместно пережив момент общего счастья, такой же стайей вылетели из кабинета и мы с директором вновь остались вдвоем, Евдокимов сказал с тяжелым вздохом:

— Теперь до сентября будем их устраивать.

— То есть? — не понял я.

— К первому сентября ни один из них в интернате остаться не должен, они уходят в самостоятельную жизнь, и первая проблема, с которой они столкнутся, — где жить? В соответствии с нашими законами им должна быть предоставлена жилплощадь в тех районах города, откуда они в свое время поступили в интернат. И вот, начиная с января, мы вдвоем с воспитателем их класса пишем письма в райисполкомы, а те, чего греха таить, стараются подsunуть нашим выпускникам комнаты похуже. Но можете быть уверены, никто из наших ребят не въедет в комнату до тех пор, пока мы с их воспитателем не побываем там и не убедимся, что наших детей не обделили. Так что в маленьком сражении с исполкомами мы в конечном счете победим, но вот я думаю, почему оно неизбежно, это сражение?

Евдокимов на секунду замолкает, а потом, чеканя слова, как формулу, произносит:

— Они должны уйти отсюда, наши ребята, не только одетыми и обутыми, с государственным пособием в кармане и с узлом постельного белья под мышкой, но и с твердой уверенностью в том, что здесь осталась их семья, которая никогда и никому не позволит их обидеть, что они не одни на белом свете...

Они не забудут свой интернат, Владимир Григорьевич, ни завтра, ни через десять лет. Впрочем, вы сами знаете это лучше меня. Они не забудут традиционных новогодних ночей, которые вы проводили с ними у елки, и, став уже совсем взрослыми, будут стремиться сюда на этот самый семейный из всех наших праздников. Они не забудут каникулярных поездок по городам страны, организованных вами когда-то с таким трудом и ставших потом привычными и естественными. Из армии они будут писать сюда длинные письма. Сюда они будут приводить своих будущих мужей и жен, потому что именно здесь осталась их семья, именно потому что они не одни на белом свете.

В дверь просовывается стриженная под «нулевку» пацанья голова. Глаза горят от возмущения: «Владимир Григорьевич, а что она мне справку не дает, говорит, что ей некогда». «Сейчас даст», — спокойно отвечает Евдокимов и идет в канцелярию разбираться, почему не дают справку. По дороге объясняет мне, что паренек едет в Архангельск, режиссер приходил в интернат, отобрал его для съемок в каком-то фильме, видите, даже подстригли, как положено по сценарию, а ему в канцелярии справку не дают, тут, конечно, возмутиться...

А в интернате по-прежнему кипит ремонт. Ребята красят лестницу в спальном корпусе, и девушка лет шестнадцати в рабочем халатике, замаскированном краской, деловито командует своей ребячьей бригадой.

— Это наш председатель совета командиров, — говорит Владимир Григорьевич, — великая труженица, в прошлом году в Крыму лучше всех работала, да и заработала немало — 305 рублей. (Вот уже много лет шестьдесят ребят из интерната уезжают на летние каникулы в один из крымских совхозов, где собирают лепестки роз. Работают там и отдыхают).

— Не знаю, кем она будет в своей взрослой жизни, — продолжает Евдокимов, — но в одном уверен: труженица будет настоящая.

Слово «труженик» — самая большая похвала в устах директора. Не способный или талантливый, а именно труженик. Помните, Евдокимов говорил, что дети, поступающие в интернат, полностью лишены элементарных трудовых навыков? Так вот, в формировании у них этих навыков видит Владимир Григорьевич одну из своих главных задач. Кроме способности к полному самообслуживанию («Уж что-то, а ремонт у себя дома наши выпускники будут делать сами, — говорит директор, — каждый год интернат ремонтируем своими руками»), все, начиная со второго класса, здесь работают. Со второго по четвертый класс вырезают елочные игрушки, а с четвертого начинается серьезная работа на интернатском заводе, организованном шефами из НИИ «Сапфир». Завод на 250 рабочих мест, и выпускает он электробытовые приборы. Если в «Детском мире» вы купите довольно сложную электронную игрушку под названием «Светотир», то знайте, что сделали ее именно здесь, на интернатском заводе. Кстати, годовой оборот этого завода — 2,5 миллиона рублей (!). В год ребята зарабатывают по сто с лишним рублей, и

главная забота воспитателей, чтобы не «пустили» дети заработанное на мороженое. После покупки отправляется юный труженик вместе с воспитателем в магазин и покупает себе что-нибудь из одежды или обуви. (Тысячу двести рублей в год выделяет государство на содержание каждого из воспитанников, но все-таки на кроссовки или на модный спортивный костюм этого не хватает, а ведь хочется!) И в этой установке на правильное расходование заработанных денег тоже проявляется евдокимовская линия на то, чтобы ребята в будущей самостоятельной жизни умели по-хозяйски обойтись со своим заработком... Есть в интернате и швейное производство, организованное шефами из МПТО «Красная заря», здесь, конечно, девочки работают. Естественно, что без участия шефов самому интернату всего этого никогда бы не осилить. Шефы...

Существует под эгидой Первомайского райисполкома общественная организация с внушительным названием — попечительский совет интерната. Входят в его состав десять руководителей предприятий и организаций, являющихся интернатскими шефами. Раз есть совет, значит, имеется и план работы. Да, план-то есть, а вот насчет самой работы... Начнем с того, что, по положению, совет должен собираться один раз в месяц, однако более пяти раз в год провести его заседания как-то не удавалось. Евдокимов исправно рассылает телеграммы, что, мол, такого-то числа, в такое-то время, состоится заседание попечительского совета, однако директора-попечителя или не являются вообще, или присылают вместо себя людей второстепенных и попавших на эту «повинность» случайно, то есть и существа вопроса не знающих, да и решения серьезного принять неспособных. (Думаю, если бы председателем попечительского совета стал один из зампредов райисполкома, то и у остальных попечителей отношение к делу переменилось бы. Понимаю, что все они люди сверх головы занятые, но и здесь речь идет не о пустяках, а о деле государственном). Впрочем, не будем спугивать краски: хоть и со скрипом, но, по экспертной оценке Евдокимова, вопросы материальной помощи интернату шефы-попечители процентов на семьдесят от обещанного по плану все-таки решают, а вот в смысле помощи моральной...

Двенадцать лет числится в попечителях интерната Московский автомеханический институт, двенадцать лет стучится Евдокимов во все институтские двери — от кабинета ректора до комнаты комитета комсомола — с одной и той же просьбой: организуйте для моих ребят автомеханический кружок! И двенадцать лет с большей или меньшей степенью любезности ему обещают всестороннее рассмотреть этот вопрос. (Сколько, интересно, сторон у этого несчастного вопроса, чтобы его столько лет рассматривать?) И это институт, имеющий в своем составе индустриально-педагогический факультет, призванный готовить будущих преподавателей ПТУ! Им бы, что называется, обеими руками ухватиться за возможность проверить на практике свои педагогические возможности, а нет, ни к чему это, оказывается, зазорной комсомолки уважаемого автомеханического института.

А вот другой шеф-попечитель — Центральный институт физкультуры — честно и с интересом выполняет добровольно (подчеркиваю, именно добровольно) взятые на себя обязательства. Ребята из инфикульты ведут ежегодно в интернате не менее десяти спортивных секций. Именно их усилиями действуют в интернате два филиала детского-юношеских спортивных школ: по штанге и борьбе. Вот и растут в интернате разрядники, а кое-кто и в мастера

спорта вышел. Интернатская футбольная сборная, как с нескрываемой гордостью сообщил мне Евдокимов, непобедимый чемпион района.

Перечитал написанное и почувствовал, что мне самому вдруг захотелось оказаться воспитанником замечательного интерната, где и учиться хорошо, и трудиться замечательно, и спортом заниматься можно вволю, и в Крым ездить летом, и по стране путешествовать в каникулы. Но только откуда эти горькие слова в традиционной клятве выпускников интерната: «Всю свою жизнь я клянусь делать все, чтобы мои дети никогда не попали в мой любимый интернат»? Значит, несмотря на все описанное мною, чувствуют интернатовцы какую-то обделенность в жизни, какого-то важного для юного человека «витамина» им все-таки не хватает. (Вы, наверное, уже обратили внимание, что я намеренно не называю здесь имен и фамилий воспитанников, хотя никто из тех, с кем я беседовал, специально об этом меня не просил. Не знаю, как сложится дальнейшая взрослая жизнь каждого из моих собеседников, но пусть вопрос о том, посвящать или не посвящать своих будущих знакомцев в тягостную историю своего детства, останется их личным делом.) Нет, никто в интернате не сюсюкает, пытаюсь скрыть от воспитанников причины, из-за которых они здесь оказались, более того, каждый из этих ребят, хотя бы в силу своего раннего и достаточно специфического жизненного опыта, прекрасно понимает, где ему лучше — здесь или у тех, кто когда-то назывался его родителями. Все это так, но все-таки... Может быть, из-за этого «все-таки» так любят десяти-двенадцатилетние ребятки собираться зимними вечерами в директорском кабинете (в шутку они утверждают, что это самая теплая комната) и, рассевшись по стульям, именно здесь читать свои книжки, именно здесь играть в свои игры, именно здесь спорить и решать свои проблемы, а то просто забраться на подлокотник директорского кресла, где сидит Евдокимов и пишет бесконечные бумажки, и ласково запустить руку в пышную шевелюру Владимира Григорьевича.

Человек нуждается в любви, а маленький человек тем более. Истина простая и вечная. Причем не только в любви ему адресованной, но и в той, что от него исходит. Есть потребность кого-то любить, и мы все в детстве неосознанно и естественно направляем эту потребность любви на своих родителей. «Кого ты любишь?» — спрашивают у ребенка, и он, не задумываясь, отвечает — «маму и папу». А если их нет? Тогда можно их выдумывать и с гордостью рассказывать друзьям, какая добрая и красивая была мама и какой смелый и сильный был папа. А если и выдумывать нельзя, потому что отец скрылся из виду сразу после твоего рождения, а мать пару раз появилась здесь и весь интернат видел ее заплетавшуюся походку, грязную, неряшливую одежду, ее пропитое лицо и тебе было нестерпимо стыдно, казалось, что все слышали, как она шептала сильным голосом, лихорадочно блестя глазами: «Ведь ты любишь свою маму? Да? Ты ведь не хочешь, чтобы мамочка умерла? Тогда укради здесь что-нибудь — простыню, полотенце, ну, что-нибудь. Тогда мне хватит на бутылку «бормотухи» и мамочка не умрет. Ты ведь любишь свою мамочку?» А потом она вовсе перестала появляться, и ты был счастлив от этого, потому что маленькое твое сердце устало разрываться от стыда и горя при виде собственной матери. Тогда можно любить воспитателя, но ведь его, кроме тебя, любят еще тридцать таких же, как ты, а человек, наверное, от рождения

устроен так, что ему необходимо, чтобы любимое принадлежало ему одному. Тогда можно гордиться своим директором и, просто задыхаясь от распирающего тебя восторга, говорить заезжему корреспонденту: «Знаете, какой у нас директор? Он такой... Он все умеет. Вот если бы у вас выбили стекло, вы, наверно, заругались бы? А он не ругается, берет тебя за руку и вместе с тобой идет вставлять стекло. А какой он сильный, знаете?» (Нет, ничего этого я не знаю, дорогой мой курносый друг, знаю только одно, что тебе повезло, невезучему, когда попались на твоём пути хорошие люди из нигде не зарегистрированной, но главной на земле команды — команды спасателей).

Все горе, присутствующее в детской жизни, так или иначе приносят в нее взрослые. Это однозначно. А вот способов принесения этого горя может быть множество. Жил-был на свете парнишка, назовем его Венька. Сколько помнил себя (из тринадцати прожитых лет десять-то уже помнил обязательно), проходила его жизнь сначала в детдоме, а потом в интернатах. В одном из интернатов, а было ему тогда лет восемь, Веньке не глянулось. То ли воспитатели не по душе пришлись, то ли еще что, не в этом сейчас дело, словом, ушел Венька в побег. Убегал он всегда на улицу под названием Старый Гай (есть в Москве такая улица). Вроде бы и родни у него на этой улице не осталось, но пути его побегов пролегли обычно именно туда. Через пару дней проживания на старогаевских чердаках Веньку ловили и водворяли обратно в интернат. Он малость переживал, чтоб в интернате подхарчиться, и снова уходил в побег. Во время очередной поимки среди дружинников, его отловивших, была одна женщина, заметившая в Венькином лице (а мальчишка, надо сказать, он довольно симпатичный) сходство со своими чертами. Нет, родственниками они не оказались, но сходство и вправду, как говорится, налицо. Женщина эта была одинокая, и стала она Веньку опекать. На выходные забирала из интерната к себе домой, обихаживала его и кормила, не раз говаривала, обводя рукой не бедную свою квартиру, вот вырастешь, все твое будет. В общем, дело шло к усыновлению. Шло да не дошло. Года три назад эта женщина попросила Евдокимова перевести Веньку в его интернат. Мол, тот интернат, где мальчишка сейчас содержится, плохой, а его, евдокимовский, хороший. Евдокимов мальчугана взял. Венька в интернате обжился, на выходные продолжал ходить к своей покровительнице. Правда, замечал Евдокимов, что Веньку балуют, позволяя ему многое из того, чего позволять не следовало бы, но на евдокимовские предупреждения наша дама обычно отвечала: «Ну что вы, мне для ребенка ничего не жалко, он ведь мне почти как сын». Продолжалась эта идиллия довольно долго, пока в один прекрасный день не спер Венька у своей попечительницы сто пятьдесят рублей. Зачем они ему понадобились, он так и не объяснил, заявляя, что нужны были деньги, а у нее и так много, сама же, мол, говорила, что потом все мое будет. И вот Венькина «почти мать» подает заявление в милицию, требуя за эти сто пятьдесят рублей упечь Веньку в колонию, чтобы ему неповадно было благодетелей своих неблагодарностью расстраивать. А Евдокимов не хочет Веньку в колонию отдавать. Не потому, что это ему, Евдокимову, показатели испортит. Нет, просто считает он, что в семье всякое бывает, а интернат — это семья, которая Веньку быстрее исправит, чем тюрьма, хоть и для малолетних преступников. Вот и ходит теперь директор к бывшей Венькиной благодетельнице и

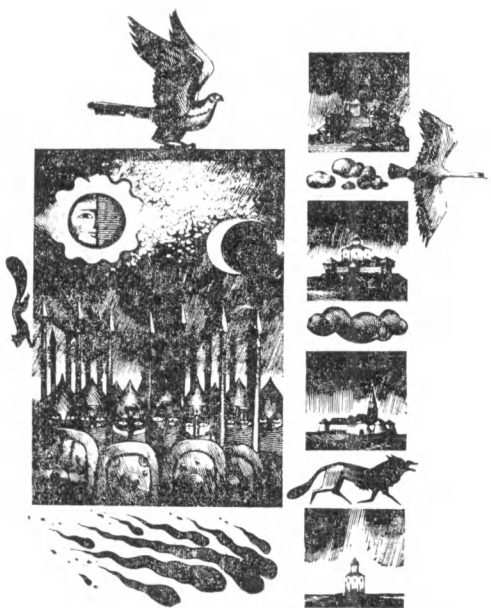
уговаривает ее забрать заявление из милиции, а Венька зарабатывает деньги (благо есть где, завод-то здесь же, на втором этаже интерната) и за год отдаст ей долг. Евдокимов ходит, уговаривает, а благодетельница ни в какую! Очень ей хочется «почти сына» в колонию засадить. Как говорится, от любви до ненависти... А утрюмый «подследственный» Венька бродит по коридорам интерната в ожидании решения своей участи. Кто из них прав — директор или обиженная дама, — я судить не берусь, но евдокимовская позиция лично мне все-таки ближе. (Ах, Евдокимов, Евдокимов, несправимый спасатель. Не знаю, удастся ли ему спасти Веньку от колонии, но твердо убежден, что Евдокимозу с его огромным педагогическим опытом и великой человеческой интуицией виднее, как в этой ситуации распорядиться мальчишечьей судьбой).

На этот раз я уйду из интерната под вечер. Евдокимов провожает меня до крыльца. На спортивной площадке ребята играют в футбол. Мяч, пущенный могучим ударом центрофорварда «непобедимой сборной», пролетает в опасной близости от окна. Владимир Григорьевич молча наблюдает за футболистами. О чем думает он сейчас? Об их будущей судьбе? Или о том, кого из них через минуту ему предстоит взять за руку и идти вместе с ним вставлять очередное стекло?

По длинному, заросшему зеленым бульвару направляюсь к метро. Навстречу мне еле стоящий на ногах папаша судорожными движениями толкает коляску с малышом. Люди спокойно проходят мимо. Прохожу мимо и я. Потом оборачиваюсь и долго смотрю вслед. Что ждет этого малыша в синей коляске? Неужели и ему лет так через семнадцать придется произносить горькие и торжественные слова интернатской клятвы, помните: «Всю свою жизнь я клянусь делать все...» А может быть, все мы, сегодня прошедшие мимо, сумеем остановиться, посмотреть им вслед и, мысленно произнеся слова этой клятвы, сделаем все, чтобы этого не случилось?



ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ В ГОСТЯХ У Д. С. ЛИХАЧЕВА



800 -летие «Слова о полку Игореве» — особенный праздник. У него нет числа и месяца. И не только потому, что

мы не знаем, когда неизвестный Автор поставил точку. В сентябре 1185-го или весной 1186-го...

Великая поэзия — всегда праздник. Сокровенный и неизбежный, как родник или колодец. Набрав ведро воды, человек не кричит на все село, какая она чистая и необходимая. Он утоляет жажду и оберегает колодец, чтобы не обмелел, не засорился.

Есть хранители родников, редких озер.

Есть домик, в котором хранится ключ от Волги — ее первого родника.

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев — один из старейших хранителей истоков нашей великой литературы, «Слова о полку Игореве» и других духовных родников.

После трудной зимы и тяжелой операции он медленно выздоравливал, и я боялся этой встречи, слабого голоса и потухших глаз...

А увидел блестящие глаза и услышал юношеский голос. Как и до болезни, Лихачеву все было интересно... О «Слове» мы не говорили.

Я рассказал ему, как рыбачил на Соже и на Припяти. Руками ловил в протоках раков, а сороки у меня их воровали. Отойдешь на десять шагов, сороки тут же налетают, и, пока подбежишь, один панцири на песке, расклеванные. А ворон-крумкач с двумя своими товарищами умудрился открыть стеклянную банку с мясом, плотно закрытую пластмассовой крышкой. Я услышал шум, крики — это они спорили, как открывать, подошел к стоянке и все увидел.

— Если о вороне не думаешь, на нее можно наступить, близко подпускает к себе, — весело рассказывал Лихачев. — А только подумаю о ней враждебно или согнусь, словно хочу поднять камень, — сразу улетает. Другие птицы так не реагируют. Вещая...

Я представил академика Лихачева, почетного доктора Торуньского, Оксфордского, Эдинбургского университетов, члена Болгарской, Австрийской и других академий наук, разговаривающего с вороной где-нибудь на тропе в Комарово, и подумал о том, что маску солидности не носили ни Пушкин, ни Толстой... Большие люди никогда не были недоступными, важными.

Сидели допоздна. В Ленинграде уже ворожила белая ночь. С непривычки я совсем забыл о ней и засиделся в гостях до звезд. Я еще не знал, что астрономы Крымской обсерватории Людмила Ивановна и Николай Степанович Черных открыли несколько малых планет. Одну из них назвали Кириллом и Мефодием. А другой, которая между Марсом и Юпитером, присвоили имя Д. С. Лихачева.

О чем он думал, когда узнал об этом? Может, о смысле земных названий в космосе — пока существуют наш общий разум, языки, имена...

На его письменном столе лежала новая, только написанная статья о «Слове». Эту статью Дмитрий Сергеевич передал мне для журнала «Юность».

Между Марсом и Юпитером мерцала невидимая планета, а рядом светились глаза человека, который живет на русской земле, чтобы продолжать ее некичливую славу.

Вверху: Д. С. Лихачев.
Внизу: иллюстрация Д. Висти к «Слову...»

Д. С. ЛИХАЧЕВ

ЛЕГКИЙ МИР «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

 время в пределах действия художественных произведений (будем иметь в виду прежде всего литературу) всегда сокращается. Так, например, реальное время, в котором совершаются события в «Идиоте» Достоевского, занимает не более недели. Хотя в романе имеется перерыв, связанный с отлучкой князя Мышкина в Москву, который длится пол ода, но мог бы длиться и произвольно больше, так как он не входит в художественную ткань произведения.

Никогда не случается так, что события, которые могли бы занять в жизни малое время, занимали бы большее время в произведениях литературы. Временная «упаковка» в художественном произведении всегда плотная. В этом отношении она не зависит от художественной манеры автора. Автор может растягивать изложение (Гончаров в «Обломове» или М. Пруст в «Поисках утраченного времени»), но календарный или часовой отсчет событий в литературном произведении всегда по возможности краток, сжат и от этого повышен в своей выразительности. При этом если это касается реалистического произведения, то автор не выходит обычно за пределы краткости, допустимой в жизни, т. е. мы не можем себе представить (я это было бы для реалистического произведения антихудожественным), чтобы переезд, который, как известно читателю произведе-

ния, в реальности отнимает несколько часов, в повествовании занял бы несколько минут. Сокращение времени в реалистическом произведении идет путем уплотнения событийного ряда, но не захватывает реальное.

События, которые могли бы в жизни отнять несколько дней, совершаются в художественном произведении за один вечер, если только это допустимо в действительности. Известия о тех или иных событиях становятся в литературном произведении общим достоянием путем передачи через различных рассказчиков «хроникеров», вестовщиков и вестовщиц, значение которых в реалистических произведениях, к сожалению, еще недостаточно привлекало к себе внимание литературоведов.

В древней русской литературе, особенно в начальном периоде (так называемом «домонгольском»), дело обстоит иначе. Там также существует закон художественного сокращения времени, но при этом в литературном произведении происходит и искусственное сокращение событийного времени в действительности, лежащего в основе художественного времени. Переходы, переезды, перемещения происходят в художественном произведении быстрее, чем они происходили, возможно, в действительности. В пересказах отсчет времени другой, чем в реальной жизни. Возвеличивание героев требовало изображения быстроты их походов, побед, известий о событиях, быстрого переноса слов, сказанных одним князем другому и т. п., и при этом во многих случаях повествователь не боялся утверждать, что и в самой реальности передвижение в пространстве совершилось за более короткий срок, чем оно было возможно.

Это явление сокращения реального времени, лежащего в основе рассказываемого, можно было бы назвать нерасчленным сокращением времени, — и изображаемого и изображенного одновременно. Это нерасчленное сокращение времени доводится до предела, за которым уже лежит прямая и недопустимая для средневекового художественного сознания «ложь».

Тем не менее в древней русской литературе указания на время различаются по жанрам. Они точно соответствуют действительности (как и указания на пространственные расстояния) прежде всего в хождениях (их много, например, в «Хождении» игумена Даниила), служивших своего рода путеводителями; они точны, когда снабжены датами в летописи, но они не всегда точны в житиях, проповедях, похвальных словах и пр.: в этих жанрах часто события не только сжато изображаются, но и сжимаются в своей реальной первооснове.

Автобиография Мономаха вся состоит из походов, погонь, переездов, разного рода быстрых передвижений, причем главное их достоинство — быстрота и дальность: на востоке до Волги, на западе — до Берестя (Бреста) и за Глоговы (Глогув на Одере. — Д. Л.) до «Чешского леса» (между Богемией и Моравией по Эгре. — Д. Л.). Та же деятельность сказывается в требовании встать с восходом солнца для деятельной жизни: «Да не застанет вас солнце на постели».

Те же легкие переходы от описания событий в одном княжестве к другим в другом княжестве характерны для летописи. И дело не только в дальних походах князей друг на друга и на половцев,

но и в переносах самого изложения летописи из одного места в другое. Летописец ведет изложение, следя за событиями как бы с огромной высоты.

Князь представляется в действии, покоряющем пространство. О Владимире Мономахе говорится в летописной некрологической статье 1125 г.: «иже просвети Русскую землю, акы солнце луча пушца; его же слух произиде по всем странам».

«Слово о полку Игореве» представляет собой многочисленные образцы нерасчлененного сокращения времени. Эта нерасчлененность замаскирована, однако, иногда художественной образностью: читатель не может точно определить, художественный ли перед ним образ или простое изображение, сообщение о совершившемся событии. В средневековой нерасчлененности времени лежит некоторый художественный эффект.

Приведем примеры нерасчлененного сокращения времени в «Слове».

Уже в описании творчества Бояна подчеркивается широта и размах его манеры, быстрота, с которой он охватывает мир. Подобно тому, как в Древней Руси не считали мысль только заключенной в голове, а как бы обтекающей мир «под облаками» и всякая песнь охватывала мир быстро и широко, при этом углубляясь и в древность — во времена «первых усобиц»: «Боянь, бо вщий, аще кому хотяше пьсьнь творити, то растькашется мыслию по древу, сьрымъ вьлькомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакы. Помняшь бо, рече, пьрвыхъ временъ усобиць». Так же описывается быстрая манера Бояна и дальше: «А бы ты сиа плькы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подь облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресь поля на горы».

Действие «Слова» происходит в пространстве всей Руси, причем очень важную роль играет образ моря — как края земли, от которого начинается битва, к которому устремляется Игорь, где он находится в плену и т. д. «Вьстала обида въ силахъ Дажь-Божа вьнука, вступила дьвою на землю Трояню, вьсплескала лебедиными крылы на синемъ море, у Дону, плещучи, убуди жирня времена». Даже простой захват в плен совершается с быстротой, доступной лишь воздушной стихии: «А поганого Кобыка изъ луку моря, отъ желъзныхъ великихъ пльковъ Половецкихъ яко вихрь, выторже, и падеся Кобыкъ въ градъ Киевъ, въ гриднищъ Святъславли».

В описании передвижения Игоревы войска автор явно преувеличивает, уверяя, что он дошел до моря: «О, далече заиде соколъ птиць бя, — къ морю».

Битва происходит на фоне моря: к морю несутся «бусови врани», к Тьмуторокани ставит себе дальнюю цель дойти Игорь (об этом говорится в рассказе о сие Святослава). На море встает дева Обида. Игорь бежит как бы от моря: описание его бегства начинается словами «Прысну море полунощи». Ярославна шлет ему свои слезы «на море». На берегу синего моря раздаются мстительные песни дев Готланда, а от Дуная вьются навстречу Игорю «через море», т. е. преодолевая море, приветственные песни русских дев.

«Слово» как бы овеивается морскими ветрами. Оно омыто воздухом морей. Два моря как бы два полюса, между которыми лежит Русь. Моря — символы начинающегося и уходящего за пределы «Слова» времени и пространства. Это огромная и не совсем добрая стихия, окружающая Русскую землю.

«Быстрые стихи» преобладают в «Слове»: воздушные пространства, море, реки. Они облегчают передвижения, слышимость, видимость явлений. Не случайны и быстрые птицы и звери. Выводок «пар-

дусов» (гепардов), самых быстрых из зверей, простирается по Русской земле после поражения Игоря. Люди становятся зверями и птицами, чтобы лететь, нестись, скакать. Автор «Слова» как бы заботится об увеличении амплитуды своих передвижений в пространстве, о их размахе, все время обращаясь то к одному географическому пункту, то к прямо противоположному. Автор захватывает области, которые вряд ли были втянуты в события. Киевскому князю Святославу поют славу «Нѣмци и Венедици... Греци и Морава...». Быстрота передвижения половцев подчеркнута определением их передвижений как «бежать»: «А Половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону Великому». Сверхпроводимая слышимость господствует на всем пространстве Руси и Дикого поля: «Ступаетъ въ златъ стремень въ градъ Тьмутороканъ, тои же звонъ слыша давный великий Ярославъ, а сынъ Всеволожъ Владимиръ по вся утра уши закладаше въ Черниговъ». Даже половецкие ханы Кончак и Газкъ разговаривают друг с другом, двигаясь разными дорогами в обширной степи. Этим же «сверхдальним» слышаньем обладает и сам автор «Слова»: «Что ми шумить, что ми звенить далече» — с поля битвы Игоря.

В этих быстрых передвижениях очень важную роль играют перемены обличья: «А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию, и бьлымъ гоголемъ на воду, въ врѣжесе на брѣзь комонъ и скочи съ него босымъ вьлькомъ, и потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подь мьглами...»

Чувства людей не только обострены до крайности и слиты с чувствами природы, но они приобретают загадочную для нас самостоятельность. Мысль отделяется от человека, носится под облаками, растекается по древу. Печаль и тоска текут, охватывают города, забрали их стен.

Художественное сокращение сродни гиперболе — может рассматриваться как нечто входящее в разряд гипербол, но мы можем рассматривать его и как нечто прямо противоположное гиперболе, т. е. художественному преувеличению, как художественное преуменьшение и сокращение явления.

В «Слове» есть и гипербола и антигипербола — огромные пространства, явно преувеличенные, от моря и до моря, растянутые и по широте и по меридианам, заключена и пространственно-временная огромность и преодоление этой огромности необычайными скоростями передвижений, повышенной слышимостью и видимостью.

Зачем нужен этот «легкий мир» в «Слове о полку Игореве»? В чем его идейный смысл? Дело в том, что «Слово» — это призыв к единению Руси — Русинорода и Руси-страны, государства. И этот призыв должен быть обоснован не только рассуждениями и общими риторическими воззваниями, но и художественно. Надо было убедить читателя в единстве Руси, показав и «доказав» это единство в художественных образах, надо было «преодолеть» феодальную раздробленность Руси, создав ее единый и «легкий» образ.

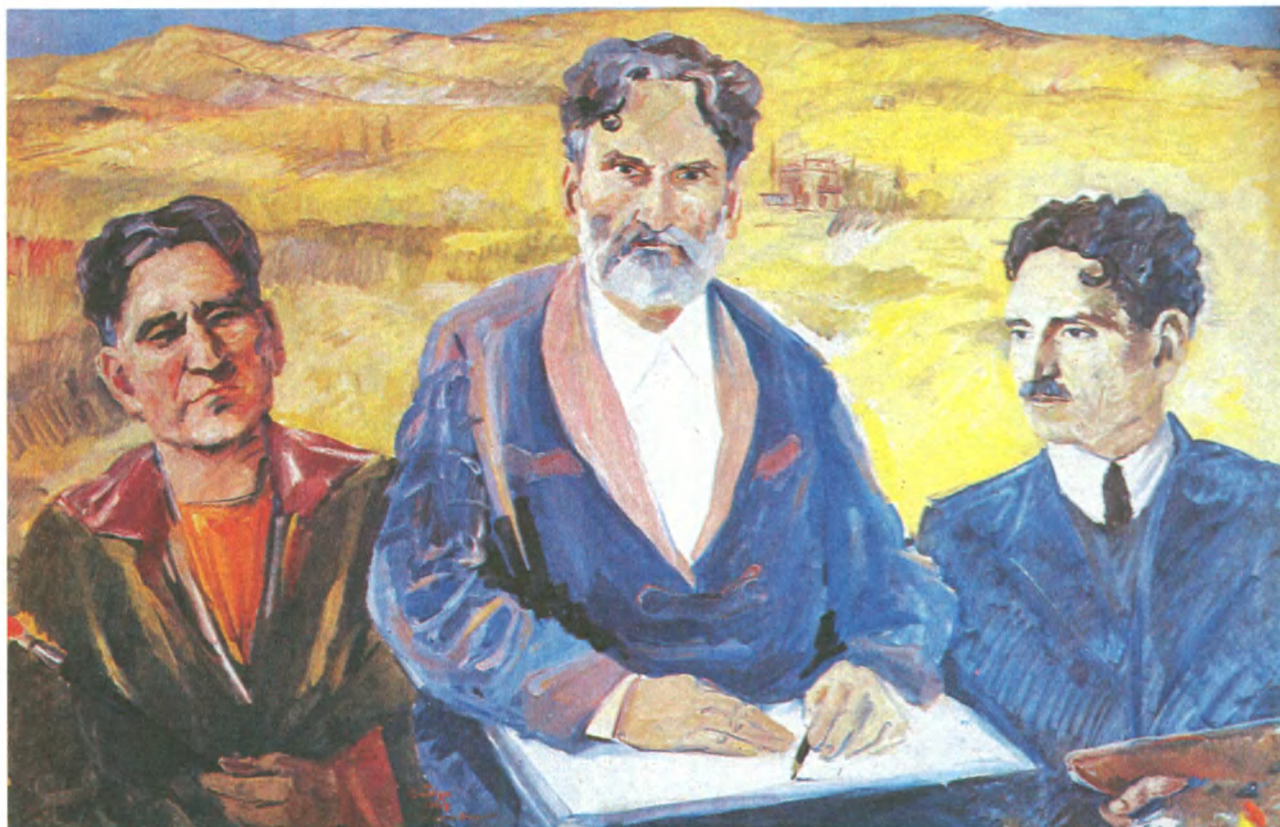
Раздробленность Руси художественно преодолевается в «Слове»; автор зовет читателя увидеть и услышать Русь как единое, неразделенное и «легкое» целое.

Перед нами очень важное проявление закона художественного уплотнения времени, в средние века «нерасчлененного» и поэтому не требовавшего пространственного сжатия и в конечном счете особенно действительного во всем, что касалось утверждения сознания широкого единства Русской земли.



ЛОТОС. 1911 г. Ивановский областной художественный музей.

По залам выставки
МАРТИРОСА САРЬЯНА
«Цветы»,
посвященной 40-летию Великой Победы



**АВТОПОРТРЕТ.
ТРИ ВОЗРАСТА.
1942 г.
Музей М. Сарьяна.
Ереван.**



**ЦВЕТЫ СЕВАНА.
1942 г.
Государственный
музей
искусства
народов Востока.**

**ВЕСНА
В МОЕМ САДУ.
1945 г.
Частное собрание.
Ереван.**



**АРМЯНАМ—БОЙЦАМ,
УЧАСТНИКАМ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ.
ЦВЕТЫ. 1945 г.
Государственная
картинная галерея.
Ереван.**





МАКИ. 1947 г. Гостиница «Ленинградская». Москва.

НИКОЛАЙ
ЕРЕМЧЕНКО

САД МАРТИРОСА САРЬЯНА

В Ереване, Париже и в Москве с огромным успехом прошла выставка Мартироса Сарьяна «Цветы». Последняя была посвящена 40-летию Великой Победы.



Цветы в доме — праздник.

Цветами мы отмечаем вехи нашей жизни. Большие и малые. С розами и геоздиками мы идем на свидание с любимыми и просто в гости, бросаем их к ногам артистов и торжественно возлагаем к подножию монументов.

Мы их любовно растим в своем саду и уносим в горсти с полян как залог будущих свиданий с Природой. Наконец, в кубках наших монохромных жилищ они напоминают нам, что мир многоцветен.

Алые маки и фиолетовые глицинии, лучистые ромашки и белоснежные лотосы, они входят в наш быт, как закодированные частицы солнца. И оттого, наверное, вечное стремление человека — предельно продлить миг цветения, продлить радость ощущения жизни в ее вершинном состоянии.

Остановить этот миг удается только Художнику. У большого художника даже сорванные цветы продолжают жить, как живут они вот уже много десятилетий на полотнах Сарьяна.

В огромном наследии художника около ста пятидесяти натюрмортов с цветами. Впрочем, жанровое обозначение — «натюрморт» (мертвая натура) вступает в резкое противоречие с подлинным духом его работ. Цветы Сарьяна благоухают, поют, очаровывают.

Цветы он писал, когда радовался, писал, когда необходимо было вырваться из житейского тупика.

Лишь утверждая жизнь, можно победить смерть. И потому художник в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны создает около двух десятков полотен, на которых радужным многоцветьем торжествуют букеты, собранные в полях и садах, на горных склонах и в речных долинах.

Он вглядывается в цветы, как вглядывается в себя.

«Природа создает человека, чтобы, взглянув на себя его глазами, насладиться изумительной своей красотой. Человек — природа, природа — человек. Смер-

ти не существует», — так говорил о своем мировосприятии Сарьян. И создает с разницей в три года (1942 и 1945 гг.) два этапных полотна — «Автопортрет. Три возраста» и «Армянам — бойцам, участникам Великой Отечественной войны. Цветы».

Оба полотна проникнуты высоким чувством патриотизма. Главным героем этих картин стала Родина.

В автопортрете художник словно размышляет: «Кто я? Откуда пришел? Куда иду?» Три периода жизни и одно место, место бытия — родная земля, природа, давшая жизнь и ему.

«Я убежден, что не было художника без земли. Сердце земли находится в сердце человека. Все берет начало в этом сердце».

Так думал и говорил сын вечного труженика — крестьянина и плотника, строившего ветряные мельницы.

Вспоенный прозрачным воздухом своей Родины, вскормленный ее плодами, что выросли из семян, брошенных крестьянской рукой в любовно обработанную землю, он сохранил в себе один из величайших даров природы — способность удивляться. Ибо «...удивление ведет к раскрытию истинны».

Картина «Армянам — бойцам, участникам Великой Отечественной войны. Цветы» сложилась просто и естественно.

Настал долгожданный День Победы. По народной традиции люди в первую очередь шли поделиться радостью к старикам. Пришли они и к Сарьяну. Каждый — с цветами. Вскоре цветы заполнили всю мастерскую. Такими они переселились на полотно.

И были те цветы словно праздничный перезвон больших и малых голосов, ярких и сдержанных: огромная радость со слезами на глазах. Слово торжественный хор пел славу победителям и торжественную клятву не вернувшимся с полей сражения.

Диалог с природой художник вел с большим пнетиетом, но с достоинством. Он не молился на нее, но восхищался. Весь его путь в искусстве подчинялся стремлению «стать свободным, как природа, чистым, благородным и глубоким, как она».

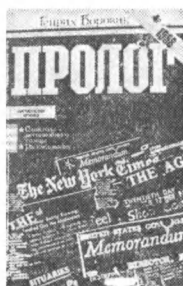
Художника нет, как нет и тех цветов, которые он так истово писал. Но живы цветы на его полотнах, а значит, живет и Художник. Мы говорим: сад Сарьяна, пошел к Сарьяну, был у Сарьяна. И не ощущаем при этом никакой натяжки. Как тот зритель из Парижа, подписавший отзыв о выставке именем Белуз: «Какую изумительную гармонию, какой чудесный сад подарили вы, мастер, человеческой нищете!» Он обратился к художнику живущему.

Одно из самых ярких воспоминаний детства художника — как его старший брат под руководством отца рыл колодец в знойной степи.

«...Наконец, обнажились влажные пласты земли и внезапно отовсюду забили фонтанчики. Радости нашей не было предела».

Этой водой из колодца своего детства и напоил художник выращенный им благоухающий сад. И сад этот цветет для нас и для будущих поколений.

СВЕТЛАНА
ФЕДОРОВСКАЯ



СБЛИЖАТЬ ЛЮДЕЙ

В истории Америки много неожиданных поворотов. Но был ли неожиданным сегодняшний ядерный курс политики США? Нет, Хиросима и Нагасаки, громкие политические убийства и множество мелких, позор Уотергейта и скандал Биллигейта, постоянный рост коррупции и преступности — все это ведет к сегодняшним дням истории Соединенных Штатов. «Это ползучая эрозия американского образа жизни и американской мечты» — так живописали положение сами хозяева Белого дома. Но из всей череды политических дат, имевших место в последнее, безумное для Америки десятилетие, сменившее годы более дальновидной политики «наведения мостов», можно выделить год, который был, пожалуй, одним из самых бурных, противоречивых, беспокойных для Америки. Год 1968-й. Год выборов президента. Год убийства Р. Кеннеди и М. А. Кинга и непрерывного убийства, совершавшегося Америкой во Вьетнаме.

«В каком-то смысле 1968 год, жестокий, самодовольный, гневный и растерянный, с глазами, налитыми кровью и слезами, — пролог Америки восьмидесятых». Так характеризует этот год Генрих Боровик, бывший в этот период корреспондентом АПН и «Литературной газеты» в США. Свою книгу, рассказывающую о событиях этого года, он так и назвал: «Пролог» (М., «Правда», 1984). Первой, большей части книги — «Один год беспокойного солнца» — дан подзаголовок «Американская хроника». Вторая часть — «Расследование» — разоблачает участие ФБР в организации убийства М. А. Кинга.

Книга состоит из небольших очерков и репортажей. Описанные события не кажутся нам вчерашними: автор сумел найти устойчивые черты, типичные для многих лет «беспокойного солнца». «Пролог» нельзя назвать просто «хроникой». Это яркая мозаика, где каждый кусочек жизни — на своем, продуманном месте. Из пестрого набора родилась целостная картина — и историческая, и политическая, и психологическая, ибо все фрагменты книги связаны единством авторского переживания и интересом к конкретным личностям, к человеческой судьбе.

Перед нами почти вся Америка, почти все слою общества и в той или иной степени — все главные

проблемы, волновавшие американцев в 1968 году. И, конечно, важнейшие события того бурного года, в который как бы пересеклись трасса «Аполлона-8» и траектории пуль.

Маяковский говорил о себе: «Я — поэт. Этим и интересен». Журналист может повторить эту фразу, сказав: «Я — очевидец, этим и интересен». И будет прав. Эффект присутствия — одно из главных достоинств журналистских работ. Таким эффектом и сильна книга «Пролог». Читателю imponирует доверительная интонация автора, который и в своих эмоциях строго объективен.

Давно уже известно из творческого опыта фотографов-художников, что так называемая фронтальная экспозиция (съемка всей панорамы в лоб) дает плоскостное изображение предмета в кадре и почти всегда обедняет образ. Г. Боровик, к счастью, никогда не снимает «в лоб», не пользуется давно приевшимися шаблонными фразами, а всегда ищет лучшую точку съемки, характерный «угол зрения», пытается использовать весь образный арсенал художественной литературы.

Журналистика вливается в текущий литературный процесс, это — форма искусства. Но, по известному определению Эгона Эрвина Киха, журналистика, в частности, самый боевой и оперативный жанр ее, репортаж, прежде всего — форма борьбы. И Г. Боровик борется. Борется с тем, с чем нельзя не бороться честному человеку, — с фашизмом. С этим страшным порождением и мощным оружием империализма, с его разновидностями, идеологией, моралью, политикой.

В свое время Уолт Уитмен сказал об Америке:

«...Мне думается, в тебе много такого, что не увидишь глазами». Г. Боровик отличается умением видеть не только глазами, но и разумом, сердцем, и не только для себя, а за других и для других. Он находит точные и простые слова, чтобы передать это «видение» из рук в руки, из сердца в сердце. Поэтому читатель так отзывается, например, на чикагские события августа 1968 года — расправу полицейских над безоружными демонстрантами, протестовавшими против войны во Вьетнаме.

Перо Г. Боровика рисует картины большой политики США. Политики большой дубинки. Картины кричат: «Опомнитесь, люди! Будьте бдительны!» Картины призывают к единению всех людей доброй воли. Известный советский журналист-международник Борис Стрельников часто повторял: «Мы, журналисты, не должны ссорить людей. Журналисты должны их сближать». Борис Стрельников любил народ Америки. Любит американцев и Генрих Боровик. С большой теплотой рассказывает он о простых людях Америки, которые в тенетах большой политики чувствуют себя иногда примерно так же, как известный герой Чарли Чаплина, затерянный среди шестеренок огромного железного механизма. Один великий художник сказал: «Любить людей — это художественно». Именно этим качеством обладает Генрих Боровик.

ВЛАДИМИР
ВЛАДИН

ПРЕДАННОСТЬ ЖАНРУ



уществуют ли такие понятия, как писатель-сатирик, писатель-юморист? Как ни странно, по этому поводу ведутся сейчас некие «закулисные» споры. Многие считают обидным именно определение «писатель-юморист», углядывая здесь ассоциацию с расхожим штампом: «Ну ты и юморист!»

Я не буду вдаваться в существо спора, скажу только, что определение: «писатель, тяготеющий в своем творчестве к самовыражению посредством методов сатиры и юмора», может быть, и более точно, но так длинно, что, как говорят математики, для простоты ограничимся все же заменой на «писатель-юморист». И пусть меня простят коллеги.

Поэтому не побоюсь сказать, что автор книги «Хорошее настроение» (М., «Советский писатель», 1984) Лион Измайлов именно писатель-юморист. Юмор — его органическое состояние, так сказать, потребность души. Где бы он ни был, с кем бы ни встречался, в какую бы ситуацию ни попадал — на все он смотрит не обыкновенным взглядом человека с обыкновенным зрением: нет, на все он смотрит либо через бинокль, либо в телескоп, а то и просто через микроскоп.

Вообще писать именно так, чтоб читатели улыбались, смеялись или даже хохотали, очень легко. Правда, для этого надо иметь особый дар, которым, к сожалению, обладают немногие. А этим немногим, конечно, легко!

Но быть остроумным, быть юмористом — этого мало. Надо еще уметь облекать юмор в самостоятельную художественную форму. Если оба этих качества совпадают — вот тут-то и появляется на свет именно не только юморист, но и писатель. И людей, обладающих этими качествами, уже единицы.

Думаю, к этим единицам можно смело причислить Лиона Измайлова. Конечно, не всегда, не везде и не во всем — но во многом.

Мне кажется, юмористика — это, ну, скажем, «романтическая фантастика». Вообразите себе обычный сюжет: из-за рутины и косности новое не может пробить себе дорогу. Для прозаика, реально смотрящего на мир, здесь — столкновение, конфликт реальных персонажей по поводу реального (изобретения, открытия). Для фантаста это изобретение или открытие будет гипотетически реальным (скажем, в принципе осуществимо в далеком будущем, но — реально осуществимо). У Л. Измайлова в одном из рас-



сказов некий прожектор предлагает заменить на круглое колесо бытующие и привычные в данном обществе колеса... квадратные. Прожектор терпит крах. По форме ситуация фантастическая, по сути — реальная.

Вот этим-то методом «реалистической фантастики» Л. Измайлов владеет высокопрофессионально. Чуть-чуть смещаются понятия, небольшой «перекос» реалий — и читатель уже в «комнате смеха», где зеркала почти качественные, но почти, и поэтому у героев все есть — нос, два глаза, две ноги, пиджак, брюки, шляпа на голове, но либо вытянуто, либо укорочено, дылды превращаются в карликов, карлики — в гномов, а гномы — в великанов. И все вкряк и вкось.

Рассказов с подобным «перекосом» большинство, и они, безусловно, лучшие. Чувство меры почти никогда не позволяет автору переступить невидимую грань. Там же, где переступает, — там неудача: муж и жена в масках из капроновых чулок, разувшись, крадучись, ночью идут изымать у соседей сверху... обувь. Почему? Да потому, что эти соседи очень уж топают над головой и создают дискомфорт. Кажется, что эта миниатюра написана не для читателей вообще, а лично для соседей автора. (Этот маленький камушек в огороде Л. Измайлова — дань жанру. Ведь сами юмористы иронизируют над якобы обязательной дозировкой похвалы и критики в штампованных рецензиях.)

Лион Измайлов — известный эстрадный автор. Его произведения с большим успехом читают лучшие наши эстрадные актеры. Я люблю хороший веселый монолог, смешной диалог. Это особый и очень трудный жанр, которым уверенно владеет автор. Но я стою на старомодной позиции. Эстрадная реприза, усиленная интонацией, мастерством актера, рассчитана на слух, но не на чтение «про себя». Поэтому такая реприза в тексте иронического рассказа иногда «выпирает», диссонирует. Чувствуется, что Л. Измайлов тщательно собирал рассказы для сборника, однако нет-нет да и проскочит подобная реприза, сама по себе смешная, но в ткани рассказа инородная.

Л. Измайлову, мне кажется, абсолютно противопоказана лирика (миниатюра «Неотправленное письмо»). Что здесь плохо? Заемная интонация. Причем «взаимы» взято не из лучшего.

Вот покритиковал — и легче стало. Отдал дань дозировке. Ведь на одно «Неотправленное письмо» приходится такие меткие, точные, «свои» рассказы, как «Машинистка», «Фиктивный брак», «Все как у людей», «Ессентуки № 4», «Соавтор Ибрагим», «Не забуду мать родную», и многие другие.

Отдельный разговор — о небольшой повести «Про опасное сходство», включенной в сборник. Повесть легко написана, забавна, местами остроумна. Но все же от произведения большего объема хочется чего-то большего. Например, социальной глубины и заостренности. Думаю, что жанр рассказа — истинная стихия Л. Измайлова. Стихия бесконечно преданного сатире и юмору писателя. Стихия гражданина, желающего уязвить порок, стихия остроумного человека, желающего просто рассмешить и доставить этим обыкновенное, такое не всегда частое «Хорошее настроение»!



РОЛАН БЫКОВ

ДО И ПОСЛЕ «ЧУЧЕЛА»

Ролан Быков в кругу размышлений о своем последнем фильме «Чучело» и широкой зрительской почты по нему стремится осмыслить свои творческие поиски в кино и театре.

Письмо пришло из Кишинева, когда со дня премьеры фильма прошел ровно год...

«Пишу Вам потому, что не нахожу себе места. А все из-за фильма «Чучело». Ведь все так и было! И было у нас, в нашем классе! Может, не было картин, и жила Лорка у родителей, но мы лупили ее беспощадно. За что? За веснушки, за широкую улыбку, за то, что не носит модных тряпок, не боится сказать правду про нас. А вообще-то и за то, что самый лучший мальчишка в классе предложил ей дружбу. И он точно так же струсил, а мы... мы радовались, когда видели в ее глазах слезы. Она никогда не жаловалась на нас. И в школе ничего не знали. А потом она уехала в деревню к бабушке. А мы радовались. И вот этот фильм.

Мы только сейчас поняли, что мы такое натворили. Я себе говорю: «Забудь все, ведь ничего не было, ведь ничего не вернешь!» Но я не могу забыть ни Лору, ни Лену Бессольцеву. Ленка навсегда укор мне. Я знаю, что во всем виноваты мы, я.

Вверху — кадр из фильма. Справа — Р. Быков на съемках.



И Вы ничем не сможете помочь ни мне, ни Лоре. Но у меня к Вам огромная просьба: дайте, пожалуйста, адрес Кристины Орбакайте и ее фотографию. Чтобы со стены на меня смотрели глаза Ленки, чтобы я никогда не смогла сделать кому-нибудь больно...

18 апреля 1985 г.

Л. Н.»

Первая встреча со зрителем. Аплодируют долго. Смотрят из зала особыми, «зрительскими» глазами, ни на какие другие не похожими... Кто-то вытирает слезы...

В горле ком — едва сдерживаюсь. Санаева молодец — не сдерживается, ревет всю, даже не замечает этого. И шепчет: «Смотри, плачут, плачут!». Никулин улыбается — у него отношения со зрителем особые. Кристина тоже пытается улыбнуться. Взрослое платье выглядит на ней чужим — совсем девочка. Дрожат руки, плечи, ее знобит... Железников бледен...

Крики: «Браво!», «Спасибо!»... Дрогнула душа. Неужели?

Я часто очень сожалею, что зритель не видит самого замечательного — своего лица в такой момент, свих глаз — не знаю ничего прекраснее, какая ду-

ховная высота! Стоять на сцене «над» этими глазами и смотреть «сверху» неестественно и неловко — вот отчего актеры кланяются зрителю! В этом, наверное, не столько традиция уважения, сколько желание уравновеситься, преодолеть барьер рамп, черту отчуждения. Но она существует, сколько ни кланяйся. Неожиданно чувствуешь свое одиночество, самое странное и самое отчетливое. Все ждешь чего-то и вдруг понимаешь, что ждать больше нечего: все... картина кончилась.

Приносят микрофон... С волнением читаю первые записки, не могу разобрать, что написано, вспоминая, что без очков уже плохо вижу, к счастью, очки на месте... Пытаюсь сориентироваться, что интересует больше всего. С чего начать?.. Вижу, что чаще всего повторяется вопрос, который я не люблю, но у которого, как все привыкли, больше всего «прав» на начало. С него и начну.

«ПОЧЕМУ ВЫ ПОСТАВИЛИ ЭТОТ ФИЛЬМ!»

Это король вопросов, вопрос-старейшина. Он просторен, как фамилия Иванов, как школьное «Катерина — луч света в темном царстве» или «В Платоне Каратаеве Лев Толстой изобразил нечто круглое». Мы, может, и «Грозу» забыли и «Войну

и мир» не читали, а про «луч света» и «нечто круглое» все равно знаем — это уже как и та знаменитая фраза: «Для детей надо творить так же, как и для взрослых, только немножко лучше!» — что она означает, не знает ни один человек на свете, но я почему-то думаю, что для детей творят гораздо хуже тогда, когда ссылаются именно на нее, на эту фразу.

«Почему вы поставили этот фильм?» звучит как «Почему вы не поставили совсем другой фильм?» — можно только пожать плечами. Этот вопрос очень любят корреспонденты и дети. Корреспонденты — потому, что он сразу дает им преимущество перед создателями фильма: те решительно не знают, что отвечать, а дети понятия не имеют, о чем спрашивать, а спросить очень хочется.

Сколько себя помню, я всегда мучился от таких вопросов.. Я тогда первый сезон работал в Московском ТЮЗе. В те годы существовала традиция «театральных поклонниц». Толпы неистовствовали вокруг наших великих оперных теноров — С. Я. Лемешева и И. С. Козловского. «Лемешистки» и «козалистки» не уступали по фанатизму сегодняшним «динамовцам» или «спартаковцам», разве что их было меньше. Игра в «свою симпатию» бывала и скромнее: наши юные зрительницы «выбирали» себе кумира и чинно ходили за ним после спектакля небольшой толпой. Появилась поклонница и у меня. Однажды она решила подойти: «Скажите, трудно выучить роль наизусть?» И пока, задыхнувшись от унижения, я искал, как ей ответить: мягко, умно или уничтожающе, она заговорила сама: дескать, она первая начала за мной ходить и не хочет, чтобы за мной ходила другая, та, которая вон сади, что она первая меня выбрала, потому что я в спектакле «Суворова» самый маленький и всегда с краю.. Я сам во втором классе влюбился в девочку, которая была косая на один глаз, но зато быстрее всех бегала. То, что она быстрее всех бегала, вызывало восхищение, и я бывал счастлив, когда удавалось ее догнать, а то, что она была косая, заставляло трепетать от сочувствия и желания доказать ей, что она лучше всех. Но она стала бегать еще быстрее, так что догнать ее случалось все реже, и я ее разлюбил.

Есть еще один любимый вопрос зрителя: «Какая ваша роль самая лучшая?» В ответ считается приличным задуматься, посмотреть вверх, потом внутрь себя и со скромностью требовательного к себе художника ответить: «Та, что еще не сыграна!» Но после этого почему-то тут же задают вопрос: «Почему вы поставили этот фильм?» — и вы снова в тупике. Если после просмотра фильма не ясно, почему он поставлен, говорить не о чем — остается только признать его неудачу. Если же на самом деле попытаться найти «причину» того, что фильм поставлен, это все равно что попытка приблизиться к горизонту — сколько ни двигаться к нему, расстояние не уменьшается... Потому что каждый фильм — итог всей жизни, истоки его часто лежат в далеком детстве, а побудительные мотивы творчества — одна из загадок за семью печатями. Попытки же ответить «почему» чаще всего превращаются в пошлость. Конечно, хотелось бы и самому найти ответ, «проследить» за собой, «выведать» у самого себя, да вот ни у кого не получается. Хотя попробовать хотелось бы! Я люблю сказку о Турандот, которая рубила женихам головы, если они не могли ответить на ее коварные вопросы. Иногда хочется быть Калафом, отгадать все загадки и оказаться мужем прекрасной Турандот. Риск — благородное дело!

Действительно, почему я взялся за «Чучело», когда самым серьезным образом готовился к совершенно другим работам? Меня положительно захватила работа над сказочной трилогией «Русь Былинная», построенной как триптих: детство, отрочество, юность. Чудо свершения человеческой души на всех ее этапах — обретение богатырства. Фольклорный материал — моя давняя мечта. Параллельно писал сценарий автобиографического фильма «Мама, война!» о своем поколении (мальчишек войны) — это я обязательно должен когда-нибудь сделать. Лет пятнадцать я пишу смешную и грустную комедию «Соблазнитель» с игрой жанров, с переходом из одного жанра в другой, как в античной мениппее. У меня уже был готов сценарий «музыкального криминального приключенческого» фильма с главной комедийной ролью для себя... Отчего же я все это бросил и стал снимать «Чучело»?

Есть такое понятие — социальный заказ. О нем можно спорить, но он существует в душе художника независимо от споров — это чувство времени, чувство кровной связи с жизнью твоих соотечественников, с проблемами, которые решает сегодня твоя страна.

В «Чучеле» В. Железникова я сразу ощутил социальный заказ и даже более — я воспринял повесть как «социальный приказ». Я был захвачен ею, ее героями, драматургией, остротой конфликта между высокой нравственностью, имеющей глубокие корни, духовностью, добротой и стихией мещанского равнодушия, жестокости. Я увидел в героине и себя и многих, кого люблю, потому что каждый из нас так или иначе находится или находился в положении «чучела».

Не скрою, что в одно мгновение увидел весь тяжкий путь, по которому придется пройти, пожалел свои выношенные замыслы, которые опять приходилось откладывать, но вспомнил слова Е. Б. Вахтангова, которого считаю своим учителем: «С художника спросится».

Кому-нибудь может показаться, что я ответил на вопрос «Почему я поставил «Чучело»?», но это не так. Далеко не так! Я только еще «назвался груздем», а теперь надо «лезть в кузов». Декларации и общие слова сегодня пустой звук, пока не становится ясно, что они означают конкретно, на деле. В том-то и сложность, что сегодня решительно все, чуть ли не от мала до велика, владеют искусством говорить одни и те же слова и при этом идти в совершенно разные стороны, кому куда выгодно. Все за детей! Все за высокий художественный уровень кинематографа, все за его воспитательную силу! Но это на словах, а на деле: один — «за», а другие — «против». В этом все дело.

Эта публикация, построенная на письмах зрителя, рабочих дневниках, фактах и осмыслении всей полемики вокруг фильма, должна помочь мне разобраться «кто есть кто».

Фильм «Чучело» для меня сегодня лучший тест, по которому я определяю подлинное лицо воспитателя и педагога, независимо от их деклараций. Особенно, когда читаю письма зрителей, четко разделившихся в оценке фильма...

О ПИСЬМАХ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ

«Мосфильм». Ролану Быкову. Не можете ставить фильмы, лучше не беритесь. За «Чучело» вас надо за решетку посадить. Чему учите детей? Как можно в наше время, в нашем Советском государстве показывать безнаказанных недорослей-преступников? Бить беззащитного ребенка, девочку, пинать, издеваться. И после этого носить красный галстук как ни в чем

не бывало. А учительница у Вас — бездарная баба. А при чем Вы со своей дирижерской палочкой? Как говорится, играть «отходной» обиженному старику. Даже в Ваших глазах слеза заблестела, уж больно жалко старика. А Кристина далеко пойдет, молодец девочка!!»

Быкова Т. Т. (г. Ставрополь).

Студия «Мосфильм»*. «Пишут Вам Одесситы. По смотрели мы фильм «Чучело». Во первых разболелась голова, во вторых кто только создал этот фильм? Но мы знаем кто. Как могли выпустить его на экран, не дай бог попал этот фильм за границу они бы сказали вот пожалуйста советская школа чему их учит где учителя. В этом фильме две серии не показали ничего хорошего, одни гадости, только одно хорошее, что дедушка отдал картины для музея. Вот чему научатся наши ученики как посмотрят этот фильм. Они обязательно в своей школе найдут «Чучело». Это же только подумав довели до такой степени девочку, что решила в костер прыгнуть. Неужели не было ни одного учителя или ученика, чтоб заступиться за нее, а дедушка Майор не мог пойти в школу и заступиться за свою внучку. Да этот фильм современный, но нет сейчас таких детей чтоб она допустила чтоб ее звали Чучело. Она с первого слова не стала бы ходить в школу ее задело самолюбие что ее обозвали. Так что снимать с экрана этот фильм и больше не выпускайте таких фильмов. Вы даете повод ученикам, чтобы они также вели себя в школе как эти ученики. Когда вышли из кинотеатра все пожилые люди возмущались этому фильму. И никто не одобрил. А думаю к вам на Мосфильм придут только плохие письма хорошие не придут».

Одесситы, 10 человек (без обратного адреса).

«Ролану Быкову, режиссеру. Мы знаем, что к Вам идут гневные письма по поводу Вашего кинофильма «Чучело». Мы слышим, что мамы возмущаются, говоря: наши дети не такие, а отцы недоумевают: зачем показывать детям жестокость. А их дети говорят о героине фильма: «Ну и дура...» Люди, боящиеся посмотреть правде в глаза, обвиняют Вас в смертном грехе.

Но вы думайте о другом:

В опасные для страны времена колокол бил в набат. Его назначение было одно — привлечь внимание людей. Дальнейшее его не касалось; колокол не отвечал ни за победу, ни за поражение. Ответственность несли люди, разбуженные им. Дело колокола было — предупредить. Пока не поздно. Вы — тот же колокол. Честный художник кино».

Федорина Лидия Ильинична, хирург
(Московская обл.).

«Глубокоуважаемый Голан Быков!

Вот уже которую неделю потрясена, ошеломлена Вашим фильмом «Чучело». Люди уходили после этого просмотра молча, сосредоточенные, заплаканные. Высокая художественная правда, боль за человеческое достоинство, сила настоящего примера — все это в Вашем фильме присутствует в таком страстном, яростном ключе, что лента эта тревожит самое главное в нас самих. Это не фильм, это жизнь, это правда, сказанная в глаза, это чистое, высокое пламя. После этого фильма хочется быть лучше, чище, порядочнее духовно и эмоционально

богаче. Спасибо Вам, спасибо всем, кто работал над фильмом, и, конечно же, удивительной Кристине Орбакайте, блистательно сыгравшей, нет, прожившей жизнью своей героини, своей прекрасной сверстницы».

Ник Б. О., пенсионерка,
жена старого коммуниста (г. Одесса).

...Как писал сатирик Михаил Жванецкий: «А ваши письма мы пишем сами и сами отвечаем». Думая об этом, я вспоминал Александра Сергеевича Пушкина: «Но мне порукой ваша честь и смело ей себя вверяю»... Писем я храню около тысячи. Из них «ругательных» всего 49 — процент небольшой. Однако именно ругательные письма интересны — в них довольно распространенные, я бы даже сказал, обиходные точки зрения по многим сложным вопросам нашей жизни. Иногда человеку важно самому услышать, что он говорит, самому прочесть, что он пишет. Почитать — сопоставить, подумать. Я, может быть, даю этим письмам неправомерно большое место, но иначе не получится диалога. К тому же и мои «ругатели» не смогут упрекнуть меня в необъективности...

Надо договориться сразу, что никакой фальсификации писем тут быть не может. И хоть, конечно, мучает вполне понятная боязнь саморекламы, но выхода все равно нет — не подправлять же соответственно критические письма. В интересах общей драматургии буду печатать письма поровну — хорошие и плохие — и общий баланс скромности надеюсь сохранить...

«Р. Быков! С гневом и отвращением посмотрели мы фильм «Чучело». Как вам не стыдно, гнусный пасквиль, насквозь фальшивый вестерн выдавать за «произведение искусства». Я 47 лет проработала в школе, стыдно мне, что неискренний, малоодаренный человек (а я вас именно таким и считаю) взялся не за свое дело. Пошло, неестественно. Откуда этот «суд Линча»? Откуда избиение детьми друг друга! И еще: как могли вы вместе с «заботливой» экстравагантной мамашей А. Пугачевой (ей важна реклама) позволить играть такую роль маленькой, хрупкой девочке, связанную с тяжелыми душевными переживаниями?

Не скрою, что мотивированное и исчерпывающее письмо мы (4 педагога-ветерана, из которых двое б. директора московских школ) направили в вышестоящие организации, где должны понять нас — коммунистов — ветеранов партии и труда.

И еще! Вспоминаю все Ваши выступления в кино, в частности в пошлой кинокартине с Софией Ротару, нечто «любовное», когда вы на коленях, перебирая интимные части ее туалета, умоляете петь. К счастью, фильм этот получил заслуженную оценку и в прессе и в общественном мнении.

Стыдно, отвратительно! А эта вереница мерзких типов из актерских династий (Санаевы и пр.)!

Постыдитесь. Признаться публично, что к/ф омерзительный, пошлый, никому не нужный! Эх вы!» Соловьева Л. В. и другие (без обратного адреса).

«Здравствуйте, уважаемый мастер!

Большое, огромное Вам спасибо за умный, благородный, мужественный фильм.

Так получилось, что сначала мне пришлось прочитать одну отнюдь не положительную рецензию на Ваш фильм. И уже затем посмотреть картину. И если Вы сомневаетесь или если Вас хотят заставить сомневаться в правильности того, что Вы сделали, пошлите всех к черту! Сначала снимают волось, а затем голову... Лысым терять нечего. По-

* Орфография письма полностью сохранена.

этому будем, надо обязательно бороться! Бороться за нас, за наше будущее, за наших детей. Вы сделали большую, тяжелую работу. Вы поставили, нет, Вы показали нам нас самих. Спасибо Вам! Огромное спасибо Юрию Никулину. Очень радостно, что он полон сил и энергии. Спасибо ребятам за отличную игру. Впрочем, они-то как раз не играли. Они жили. Хочется верить, что в их жизни подобного уже не произойдет.

Еще раз благодарю Вас за все! От всей души желаю Вам дальнейших творческих успехов. Вы делаете огромное, доброе дело! Спасибо Вам!»

Денисов Петр, военнослужащий (г. Хабаровск).

С тех времен, когда писались изящные письма, рассылаемые в надушенных конвертах, прошли века. С той поры, когда разгневанный Иван Грозный писал свои послания предавшему его князю Курбскому, полные, как пишет академик Д. С. Лихачев, особого средневекового русского юмора, лет прошло и поболее. Но во все времена вельможи и думные дьяки, челядины и просто умеющие писать сочиняли хитроумные послания, рассылая их по множеству важных адресов. В Венеции, в знаменитом Дворце дождей, до сих пор сохранились специальные «щели» для таких писем. Они есть и со стороны улицы и в стенах между залами, внутри самого дворца. Каждый мог написать письмо и улучшить момент, чтобы опустить его в щель незаметно. Но при этом существовал закон: если письмо оказалось анонимным и удавалось отыскать автора, его казнили. Эти времена ушли, но одно ясно: доносов всегда было немало — просто грамотных стало больше.

Меня поражает, отчего письма, критикующие картину, большей частью анонимные? Правда, есть письма развязные, я бы даже сказал, беспардонные — в таких случаях подписываться, может быть, и совестно. К сожалению, требование вежливости иногда происходит в форме махрового «трамвайного хамства», а призыв к доброте делается с такой злобой, что остается только настаивать на «недоброте», как на своем последнем достоинстве. Но одна подпись на подобном письме оказалась весьма интересной: «Кто писал? Неважно!.. Ивановы, Петровы, Сидоровы!» В этой надписи разгадка, тут образ: Ивановы, Петровы, Сидоровы — это уже все! Весь народ! Самая характерная черта анонима — он смело берет слово от имени всего народа, при этом трусливо скрывает свое имя, страхась ответственности.

...Сколько ни думаю о зрителе как о точке отсчета, сколько ни удивляюсь его тонкой прозорливости или, подчас, абсолютному непониманию, — все больше вижу, что он для меня загадка, головоломка, разгадать которую не легче, чем ответить на вопрос: «Почему вы поставили этот фильм?»...

ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ

Так случилось, что я знал зрителя еще с довоенного времени. Довоенный зритель был совсем иным, нежели сегодняшней. Вспоминая его, старые актеры шутили: «Это был зритель, который не был еще ударен телевизионным ящиком по голове».

Не было телевизора. Если бы нам, московским мальчишкам, рассказали бы, что это такое, мы бы не поверили, решили бы, что это фантастика, как «Гулливёр у лилипутов». Потому что не было не только телевизора, не было всего того, что ему соответствует. По Москве еще ходили лошади с телегами, которые грохотали железными ободьями по булыжной мостовой. И если мы, мальчишки, видели колосса на дутых шинах, которые бесшумно кати-

ли по асфальту, мы гордились страной: «Вот как быстро меняется у нас жизнь!» И мы на самом деле чувствовали, что «жить стало лучше — стало веселее».

Тогда не было еще электропроигрывателей, не было магнитофонов. Перед самой войной на улице Горького, где сейчас магазин «Подарки», появилась вывеска: «Говорящее письмо». Там можно было записать маленькую мягкую пластинку и отправить по почте в любой город. И несмотря на то, что это было почти что чудо, в ателье записи не ходили, «фирма лопнула», вывеску пришлось снять, «говорящее письмо» умолкло. Да и немудрено, в такое даже не верили. У нас на кухне говорили, смеясь, как над абсурдом: «Ой! Чего врут! Говорят, туда приходишь, у тебя берут голос и отправляют, куда хочешь!» А особенно доверчивые старушки переспрашивали: «Это, конечно, все под наркозом?»

Радиоприемники были ламповыми, громоздкими, они были редкостью. У нас в доме, например, ни у кого не было радиоприемника. На улице Горького прямо напротив телеграфа жил мой дядя, о котором мама говорила почему-то шепотом: «У них отдельная квартира», — вот у «них» был радиоприемник, и мы с братом специально ездили на него смотреть.

Новостью тех лет был патефон. Встречался он нередко, но при этом твердо считался роскошью. Сейчас большой набор благополучия — квартира, машина, дача. А в те годы это были шифоньер, швейная машинка, патефон.

Действительно! Люди брали патефон, выезжали всей семьей за город, куда-нибудь на Воробьевы горы, в Коломенское. Стелили на земле чистые скатерти, ставили самовары, пили чай и... заводили патефон. И сами слушали и другим вокруг, у кого не было патефона, давали слушать. Пластинки — это было главное! Утесов, Русланова, Шульженко, Ляля Черная, Вадим Козин. Патефон — это к тому же танцы. Танцы входили в моду — фокстрот, танго. Девочки по секрету учили мальчиков. Кто учил девочек, для меня до сих пор остается тайной, тем более, что эти танцы считались не вполне разрешенными, и не было полной ясности, можно их танцевать или нет. Танцплощадки еще только начинали разворачивать свои возможности, и практически их не существовало. Танцевали дома, в комнатах (отдельная квартира была большой редкостью).

Вот у нас было 13 кв. метров жилой площади — папа с мамой, я с братом, вся наша мебель — и гостей набивалось человек 20—25. Как помещались? Сейчас не знаю, но было весело, и были танцы, и танцевали даже вальс, и были «танцы до упаду». Но самым любимым для всех было тогда кино! Достать билеты, особенно в выходные и праздничные дни, было трудно. Если мужчина в выходной день доставал билеты в кино для всей семьи, он неделю ходил в героях. За билетами отправлялись компаниями, брали двоих-троих покрепче, а то к кассе подойдешь, да тут-то тебя и вытолкнут.

И надо себе представить, что было со мной, когда прибежала ко мне моя четырехлетняя подруга, которая имела на мою жизнь решающее влияние (потому что мне было тогда тоже около четырех), и сказала:

— Бежим! Там записывают всех, кто хочет смотреть кино бесплатно и сколько угодно!

Я так кинулся бежать, что она меня и догнать-то не могла, она бежала сзади и только всхлипывала:

— Подожди! Ну подожди!

Только в четыре года можно вот так верить в счастье, достаточно вовремя добежать, тебя за-

пишут и все твои желания исполняются. Важно только, чтобы записали! Но, увы, когда мы прибежали, оказалось, что записывают в самодеятельность, выступать на детских утренниках в выходные дни. Никаких шансов у нас, маленьких, попасть в этот список не было. Подруга моя откровенно, в голос, рыдала, утирая слезы подолом. Я, как мужчина, естественно, едва сдерживался. И тогда женщина, которая записывала, чтобы показать нам всю несостоятельность наших претензий, строго спросила меня:

— А что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею делать! — закричал я, ничуть не смутившись. — Я хочу кино смотреть бесплатно, сколько угодно!.. — И с ходу добавил: — с Ней!

Подруга тут же поддала реву, чтобы сразу стало ясно, что без нее никак нельзя. Женщина, поняв всю сложность моего положения, спросила:

— А ты стихи знаешь?

— Знаю! — ответил я, став вдруг вездливый и непреклонный. — Мама учит.

— А не испугаешься стихи со сцены рассказать? У нас как раз сейчас концерт идет.

Ах, этот знаменитый вопрос взрослых: «А не испугаешься?» Довольно подлый вопрос! Потому что, во-первых, сразу пугаешься, оттого что даже не знаешь, чего надо бояться, а во-вторых, понимаешь, что ты теперь непременно должен ответить, что нет, не испугаюсь. Я и сказал:

— Нет, не испугаюсь!..

Женщина взяла меня на руки, понесла по каким-то коридорам, лестницам и вынесла на сцену. Она поставила меня на стул, чтобы меня было видно, и громким голосом объявила мое имя.

Как только зритель услышал мое имя, все стали хохотать. Из зала переспрашивали:

— Как? Орлан?

— Рларлан?

— Тарларлан?

Зритель тогда не считал, что актер на сцене должен говорить, а он, зритель, молчать. Почему? На сцене могли говорить свое, в зрительном зале — свое, могли обмениваться мнениями, поговорить «на любую тему». И если актер что-либо спрашивал у своего партнера на сцене, ему вполне могли ответить из зала. Надо мной хохотали. Я обиделся, но сдержался. У меня все-таки был шанс — меня могли записать кино посмотреть бесплатно и сколько угодно. Я даже помню, что я читал:

Ходят волны кругом — вот такие!

Вот такие большие, как дом.

Мы, бесстрашные волки морские,

Смело в бурное море идем!

Я очень старался и поэтому споткнулся о первые же слова: «Ходят волны кругом — вот такие!» И вдруг подумал: «А какие они — такие?» Ведь если я говорю «такие», я же должен показать — «какие!» А волн к тому времени я еще не видел... «Большие, как дом» я показал легко, просто встал на цыпочки и потянулся руками вверх, как делают зарядку. Но как, думаю, волков-то показать? Я даже не знал, что «волки морские» — это имелись в виду матросы. Я думал, что это настоящие волки, только какие-то такие — «морские». Я сделал зверское лицо, осердил зубы и всем телом стал изгибаться, как червяк.

— Мы, бесстрашные волки морские! — зарычал и заплел я одновременно.

Зрители стали умирать со смеху! Тут я не выдержал, слез со стула и, обращаясь к женщине, которая записывала и которую поэтому я считал глав-

ной, стал показывать пальцем на зрителей и кричать:

— Я не буду говорить стихов! Они надо мной смеются! Нельзя смеяться над человеком! — Я где-то слышал эти слова, и они мне очень нравились.

Как только зритель из моих уст услышал: «Нельзя смеяться над человеком!» — все стали хохотать до слез... Женщина снова взяла меня на руки, снова поставила на стул и успела шепнуть добрым голосом:

— Продолжай, у тебя хорошо получается.

Когда человеку в четыре года говорят добрым голосом, он же верит! Я смотрел на зрителя и думал: «Они с ума сошли — они так хохочут, что могут не услышать, как у меня замечательно получается». И тогда я принялся орать стихи дурным голосом.

Зрители стали хохотать еще громче. Тогда я стал орать благим матом. В зале засмеались еще пуще, это уже был не смех, а стон... Несмотря на это, я доорал стихотворение до конца, слез со стула и ушел за кулисы. Мне аплодировали. Женщина сказала:

— А теперь надо идти кланяться...

Тут я обиделся окончательно, даже слезы на глазах выступили, и сказал: «Не пойду кланяться!» Я знал, что кланяться — унижительно, что это стыдно. У нас во дворе, когда ругались, часто говорили:

— Что я тебе буду кланяться, что ли!

И поэтому, готовый заплакать, почти кричал:

— Не пойду кланяться!

И вот тут моя подруга четырехлетняя, имевшая на меня все-таки решающее влияние, своим противным голосом, которого я не выдерживал и готов был сделать все, что угодно, лишь бы она перестала, заныла:

— Ну, иди-и-и-и-и-и!.. Тебе же говоря-а-а-а-а-а-а-т!

И я пошел кланяться!.. Но, к сожалению, забыл спросить, как это делается. А когда вышел на сцену, вдруг вспомнил, как кланялась бабушка, когда молилась. Стал я на колени — и давай кланяться.

Зал положительно рухнул от хохота. А я кланяюсь и думаю: «Чего же я не спросил, долго нужно кланяться или нет?» Посмотрю в кулису — они смеются, и женщина, которая записывала, и моя подруга. Думаю: раз смеются — нужно еще кланяться... Зритель уже плачет от смеха, люди не выдерживают, на пол садятся, а я все кланяюсь, и кланяюсь, и кланяюсь... Так я кланялся, пока не стукнулся лбом об пол. Гулко прозвучал удар — все даже ахнули. Тогда я встал на ноги и сказал:

— Все! Хватит! — и ушел со сцены.

После этого я получил прозвище «Ромка-артист». А прозвище для человека в четыре года — это уже должность! Тут никуда не денешься, артист — и все! Я вырос в большой московской коммунальной квартире, такой большой, что сейчас самому даже не верится, что когда-то такие квартиры были. У нас было 43 (!) комнаты при одной кухне. Как говорится: есть что вспомнить! И эти 43 комнаты стали моими 43 театрами, потому что не было дня, чтобы не открылась какая-нибудь из дверей и кто-то не говорил бы «по-свойски»:

— Ну-ка, артист, заходи! Давай! Чего-нибудь изобрази, расскажи, спляши, спой!..

И я пел, плясал, рассказывал. Меня гладили по голове, говорили, что я молодец, иногда за работу давали даже поэсть. Вот так, можно сказать, и по сей день. Так что я рано стал «профессионалом». Но если всерьез, то слово «артист», которое с того времени прилипло ко мне, стало проклятием всего моего детства и даже отрочества, оно преследо-

ло меня повсюду, ранило меня, настигало неожиданно, иногда превращая все радости детства в ад. Когда жаловались на меня маме, обязательно говорили:

— Твой арти-и-ист-то! — и почему-то всегда прибавляли: — С погорелого театра!

Когда я встречался со сверстниками в глухих углах нашего двора, то всегда, еще до выяснения отношений, слышал:

— Ну ты, артист!

Душа леденела, столько это слово вмещало презрения и ненависти, и я бросался на обидчиков.

А уж когда подросток, как досадно было в ответ на искренность услышать от сверстниц полное игровое девичье недоверие:

— Ой-ой-ой!.. Ну ты и артист!..

Родственники приезжали, дяди, тети, что-нибудь рассказываешь, доказываешь, даже плачешь, а в ответ над тобой смеются:

— Вылитый артист! Вылитый! Ох, артист!..

Это было мукой... Я был «чучелом»! Если бы я тогда знал, что пройдут годы, и я пойму, что, может быть, я никогда не бываю так искренен, как именно в тот момент, когда я артист. Прикрытый ролью, как маской на маскараде, я могу пойти на такую искренность, какая, может быть, и невозможна в жизни. Я могу рассказать все самое сокровенное о своих любимых, и никто не скажет мне, что это нескромно. Я могу с беспощадностью все поведать о своем враге, и никто не упрекнет меня в том, что я неблагороден.

Однако думаю, что если бы тогда, в детстве, я так не настрадался от этого слова «артист», я бы, может быть, никогда так остро не чувствовал внутренней необходимости полного доверия ко мне зрителя. И сегодня я даже думаю, что без той детской муки не пришел бы ко мне фильм «Чучело» с его взрослой болью и детской правдой...

ДЕТСКАЯ ПРАВДА

С годами я понял, что желание «быть правдивым» — одно из благих пожеланий, которые отнюдь не всегда исполняются. Быть правдивым учатся. Это тяжкий труд, непрерывное напряжение души. Иногда это бой с собственной тенью. Иногда — пустые хлопоты. Это борьба: то с пошлостью, то с незнанием, но чаще всего с самонадеянностью опыта.

Первой задачей нашего съемочного коллектива было найти главную героиню. Я не впервые принимался за фильм с участием детей-актеров и начал поиски вполне уверенно.

Героиня была хорошо выписана в повести, и мы понимали, что найти существо «некрасивое, но прекрасное» в кино очень сложно. Это образ более литературный, нежели кинематографический: на экране, если человек некрасив, трудно убедить зрителя в том, что он прекрасен. Хотя — бывает все. «А Джульетта Мазина?» — у кинематографистов на все есть расхожее мнение. В нем-то чаще всего и гибель...

Когда меня спрашивают, есть ли у меня свой секрет поисков детей-актеров, я невольно чувствую себя обманщиком. Я, ишу, пока не найду, — вот и весь секрет. Поиск детей-исполнителей — это особый способ изучения жизни, времени, это проверка себя, верности своих представлений. Это изучение динамики детства, его тенденций и перспектив, оно похоже на определение координат идущего в океане корабля.

В подборе детей-исполнителей, может быть, самое важное — удержаться от желания самому придумать детство, его некий особый мир. Легенды

и мифы о детстве — самые распространённые из сегодняшних предрассудков нашей школы, кинематографа и вообще мира взрослых. Мы апеллируем к нашему жизненному опыту, забывая о том, как стремительно меняется вся наша жизнь. К тому же воспоминания — не вполне действительность: только факты и события остаются из прошлого, все оценки — из настоящего. То, над чем мы в детстве плачем, в зрелые годы нас уже только смешит. «Золотым временем» детство становится на расстоянии прожитых лет: мы забываем, сколь оно драматично, сложно, сколько таит в себе обид и разочарований.

«У нас тоже были бойкоты, но они происходили в гораздо более позднем возрасте — классе в 8-м, 9-м!» — заметил мне однажды человек, рождения начала века. Мне пришлось ответить ему: «Я снимал фильм как раз о том, как все изменилось с тех пор, как вы учились в восьмом классе». Мы становимся взрослыми именно тогда, когда отказываемся от детства, когда меняем отношение к его проблемам. Так рождается во взрослом мире деформированное представление о реальности детства, мы снисходительны к нему, но на деле упрощаем его.

Кто он, ребенок? Что значит в духовном смысле это простое слово «несовершеннолетний»? Что в нем несовершенно? Тело или душа? Или он все же вполне человек с самыми настоящими человеческими проблемами, со своей особой правдой?

Наши поиски формулы детского кино иногда напоминают мне поиски философского камня средневековыми алхимиками. Но даже алхимики в тайных письмах римскому папе предлагали рецепты смесей, которые надо было помещать в чрево женщины, «ибо только живое рождает живое». Теперь золото ищут геологи, а добывают старатели. Слово-то какое замечательное — «старатели»: стараться надо, чтобы найти золото! Мы не сможем «выдумать» золото человеческой души, мы сможем отыскать его только в реальной жизни.

Когда я работал в Театре юного зрителя, актрисы трагисты, исполнявшие роль детей, своей основной актерской задачей чаще всего считали изображение возраста. Дети в их исполнении были звонко-голосыми бодрячками, они должны были «сверкать глазенками», поддергивать штанишки и заламывать кепочки. Всем казалось, что это замечательно: взрослые нахваливали, хотя юные зрители иногда с недоумением узнавали в сценических детях «тетенок». Считалось, что у актрис-трагистов всего одна проблема — молодость. А так: позвонче крикнет, порезвее прыгнет — вот и ребенок.

Именно в эти годы поднялась звезда Лидии Князевой, ныне народной артистки СССР, которая буквально на моих глазах совершила одну из самых принципиальных театральных революций — нахождение кардинально нового подхода к решению образа ребенка. От природы она обладала великолепными, даже уникальными данными: была прекрасно сложена и сочетала в себе самые широкие по актерскому диапазону возможности — и трагические, и героические, и лирические, и даже комедийные. Князева с первых же ролей отбросила голое изображение возраста как задачу не вполне художественную. Она стала в каждой роли ребенка искать сложный внутренний мир, индивидуальный, неповторимый характер, истоки будущей человеческой личности. Раскрывать драматизм детства и его вечную надежду.

Принципиально новый подход к образу ребенка был понят не сразу. Об актрисе писали, что исполнение детей ей не удается, что она играет каких-

то «старичков и старушек». Но очень скоро победа Князевай становится очевидной, успех абсолютным.

Подъем в театре разворачивался и проходил в основном в 50-е годы, а несколько позже он начался и в кино. Уже в 60-е годы подход к образу ребенка, как к задаче вполне художественной, полностью победил в практике «Юности» — объединения детских фильмов на киностудии «Мосфильм»: в фильмах «Друг мой — Колька», «Звонят, откройте дверь!», «Внимание, черепаха!» и др. С закрытием на «Мосфильме» объединения «Юность» этот процесс несколько остановился, и снова в фильмах о детях и для детей незаметно стало процветать «изображение возраста» и все, что называется традицией «пупсикового обаяния». На экране замечали все те же бодрячки времен старых трагедий, только теперь их изображали уже сами дети. Объемный образ детства превращался в плоский плакатик, рождался выдуманный взрослыми «детский мир», свойственный якобы исключительно детству, полный душевный комфорт, что вело к тотальному упрощению всех проблем роста и становления личности.

В картине «Чучело» все, что касается изображения жизни детей и детства, от подбора исполнителей до решения каждого образа и каждой сцены, строится на том, что дети анализируются и оцениваются без всяких скидок. И это, естественно, в первую очередь касается образа Лены Бессольцевой в исполнении Кристины Орбакайте.

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ НЕ БУДЕТ ИГРАТЬ

Можно ли сейчас представить, что, увидев Кристину Орбакайте, я сразу же с первого взгляда отверг ее? Против ее фамилии я собственной рукой поставил три минуса, что означало не просто «не то», а совершенно противоположное тому, что я ищу, «чтобы даже похожих не предлагали».

Мне показали ее на киноплёнке в самом начале поисков. Кристина начала было сниматься в одном фильме, но его производство было остановлено. Она неплохо играла свои сцены, но мне «не подходила» ни по каким статьям: я искал открытое существо — она была сдержанна и немного замкнута, я искал девочку наивную, с «распахнутыми в мир глазами» — у Кристины не было таких глаз, я искал характер мягкий и податливый — в Кристине же чувствовалась и сила, и воля, и даже какая-то жесткость.

Я долго искал девочку с наивными глазами, но такие попадались крайне редко и были двух типов: один — наивность, переходящая в недоразвитость, такая была не нужна; другой — пять минут разговора с «наивными глазами» — и вы видите, что вас десять раз вокруг пальца обведут, вы и не охнете.

Я был потрясен! Наивность осталась только как болезнь или притворство?

Я поехал в пионерские лагеря, где были собраны дети со всей страны, из самых дальних городов и поселков. И я снова был потрясен — картина точно та же. И вообще должен сказать, что особая разница в детях центра и окраин ушла в прошлое: телепрограммы везде одни, средний уровень примерно одинаков.

Я находил интереснейшие кандидатуры! Никогда не забуду девочку из Уфы. Это было прекрасное существо. Непростое по характеру, со всячинкой. Она была хороша собой, поэтична, такой, каких иногда в 6-м травят, а в 9-м обожают, и я даже подумывал, не переделать ли роль Лены Бессольцевой на красавицу?

Я пробовал на пленку девочку из самодеятельного детского театра на Красной Пресне, способную и умную, но уже привыкшую «играть возраст», упрощать жизнь образа на потребу взрослых.

Становилось ясно, что сегодня чистота и наивность, наверное, имеют «другие черты лица». Я понимал, что стою перед необходимостью сделать чуть ли не открытие в социальной психологии: определить новое «лицо» чистоты и наивности.

Как фоторобот, я постепенно составлял «устный портрет» будущей героини. Столкновение высоких идеалов со стихией мещанского мировоззрения, думал я, наверное, сегодня требует от человека особых усилий. Мещанин смеется над добротой, как над глупостью, над наивностью, как над недоразвитостью, над мягкостью, как над слабостью. Для того, чтобы все это выдержать, надо быть, наверное, человеком сильным, даже волевым, может быть, даже замкнутым (не открывать каждому свою душу). И тут я вспомнил о трех своих минусах против фамилии Кристины Орбакайте. Может быть, она?..

КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ БУДЕТ ИГРАТЬ

Репетиции и пробы прошли блестяще. Нельзя сказать, что я нашел Кристину, я выстрадал ее. И дело было в конце концов не в самом таланте юной исполнительницы (встретить такую одаренность я и рассчитывать не мог), дело было в том, что я нашел героиню с сильным характером. Был открыт новый герой с темой: «сила мужества и добра».

И тогда стало ясно, что и чистота на белом свете осталась, и наивность, но опасна наша взрослая самонадеянность, когда мы, даже опытные, не учитываем динамику жизни и еще более активную динамику наших детей. Сегодня слова «все течет, все меняется» устарели безнадежно, сегодня надо говорить: «не так все течет, как все меняется».

Однако я заметил интересную вещь — дети меняются в сторону чего-то неизменного, сохраняя тайну самого феномена детства. Наверное, этим объясняется, что от самых маленьких до самых больших они прирожденные актеры. Конечно, те, которые актерски одарены. Это неправда, что все дети талантливы для сцены или кино — есть талантливые, а есть и нет. Талантливый ребенок в возрасте до шести лет становится актером за первые две недели работы, 12—13-летние чуть дольше — им нужен месяц-полтора.

Когда Кристина пришла в картину, ей было всего 11 лет. О возрасте 12—13 лет раньше существовала легенда: говорили, что это «возраст бездарности». Я и сам в это верил. Имелось и «обоснование» — дети растут, «все уходит в ноги», тут не до таланта. Но оказалось, что это не возраст бездарности, а возраст неоткровенности. В 12—13 лет такое происходит в душе, что подростки «и под столетом» не расскажут, что у них внутри. А ведь искусство сегодня — это мера откровенности. Так что главная задача режиссера — заставить подростков играть на уровне самых затаенных своих чувств и эмоций. И тогда выясняется, что 12—13 лет — идеальный актерский возраст. Дети в этом возрасте — классические актеры! Они в смятении и жаждут успеха, как высшего счастья, они страдают от своего бесправия и жаждут повелевать, они склонны впадать в отчаяние и свято верят в свою Звезду.

Образ Лены Бессольцевой сложен для исполнительницы со всех сторон. Будь это взрослая роль, все говорили бы, что нужна исполнительница на

уровне самых крупных актрис мира, ибо роль самой высокой степени сложности: и трагические сцены, и лирические, и сцены для простушки, и комедийные, и героические. И заплакать надо, и засмеяться, и сыграть истерику, и сцену, полную скрытой внутренней силы. И бежать, и падать, и танцевать — и все это вместе! Но самое сложное — понять чужую душу, как свою, любить, придумать в отчаянии, не теряя надежды и победить. Сюжет-то сюжетом, но надо же понять, как побеждают, чтобы все поверили.

Кристина Орбакайте сыграла совершенно новый образ, это, смею думать, какое-то начало героя нашего времени. И, как всякий новый образ, как всякое новое решение, образ Лены Бессольцевой еще ждет своих искусствоведов. Сейчас самое интересное — как же столкнулся образ с жизнью? Как его принял массовый зритель?

«Я — «ЧУЧЕЛО»

«Здравствуйте, уважаемый Ролан Быков!

К сожалению, не знаю Вашего отчества. Недавно в «России» посмотрела Ваш фильм «Чучело», над которым теперь думаю каждый день. Скажу сразу, что пошла в кино только потому, что мне в тот день, точнее, вечер, было нечего делать. Но фильм меня потряс! Может быть, потому я старалась не разреветься, что вспомнила свое детство, а оно было не очень радостным. Восемь лет (!) я была в положении Лены. Одноклассники жестоко (для их возраста) мстили мне за то, что я заикалась и ходила в немодной одежде. Сейчас это могло бы показаться смешным, но я до сих пор вспоминаю это время с отращиванием. Да, очень точно подчеркнули в фильме эту жестокость подростков, этого я еще не видела ни в одном фильме. Сейчас с высоты своего 21 года я могла бы и забыть своих одноклассников, но прошлое забыть очень трудно. Сейчас-то я давно уже не заикаюсь, одеваюсь прилично, и никому уже не придет в голову смеяться надо мной. Но я очень хорошо все помню, и Ваш фильм мне напомнил, что некоторые вещи ни забывать, ни прощать нельзя.

Эта девочка в роли Лены — настоящее открытие для нашего кинематографа, я считаю, что Кристина Орбакайте со временем станет одной из великих трагикомических актрис нашей страны...»

(Л. П-к, Москва).

«Здравствуйте, уважаемые создатели и участники фильма «Чучело»! Вот уже второй день хожу под впечатлением от вашей картины. Все перед глазами — кадры фильма, Лена Бессольцева. Я удивляюсь, как ребенок сумел так точно показать, что чувствует героиня фильма, чем живет, о чем думает.

Фильм поразила реальностью, актуальностью своей. Ведь в жизни моего брата в 4-м классе было нечто похожее: учительнице не понравилась его прическа, и она заставила весь класс связать ему руки, скинуться по копейке (!) и повела в парикмахерскую с целью постричь его наголо. В классе успела выстричь клочок челки. К счастью, отец мой всего этого не допустил — я училась с братом в одном классе и, не зная, что мне делать, пошла к папе на завод — сообщить. С тех пор прошло десять лет, но я до сих пор с болью в душе вспоминаю тот случай. Как обидно за свою беззащитность. Ведь после этого случая староста класса, девочка, с которой дружил Олег, выпросила брата за двери, а всем ребятам посоветовала объявить бойкот. Еще долго потом учительница не здорова-

лась с ним и говорила на уроках: «Это не ученик». Удивляюсь жестокости некоторых людей! Люди ведь могут быть добрее. Сказать, что фильм понравился, — нет, скорее он поразил правдой. Здесь сконцентрированы многие пороки в жизни ребят, показана удовлетворенность родителей, взрослых своими детьми, а не знают они порой, чем живут эти юные души, на что способны. Вот и все. Надеюсь, Вы смогли понять меня правильно. С благодарностью помню о Вас и никогда не пройду мимо жестокости и равнодушия».

Оксана К., студентка (Москва).

«Здравствуйте! Извините, что пишу Вам. Я просто не могу не писать. Только что пришла из кинотеатра. Смотрела фильм «Чучело». Я просто совсем не ожидала, что он произведет на меня такое впечатление. Я плакала в переполненном зале. За моей спиной какие-то девочки хохотали почти над каждым кадром. Несклько человек даже ушли (почему?). Но мне совсем не мешал этот шум. Я его почти не слышала. Я вся буквально впиалась в экран, растворилась в нем. Может, Вы не поверите, но я в чучеле узнала себя. Вот так. Почему так со мной случилось, не знаю. Мне ужасно казалось, что все, что происходит на экране, происходит со мной. Я даже чувствовала, как меня били. Весь фильм я дрожала, как в лихорадке. Слезы текли по щекам. А когда она отрезала волосы и кричала: «Я чучело!» — я сама вскрикнула, и у меня даже на мгновение потемнело в глазах. Почему мне казалось, что это все было со мной? А может, и не казалось? Может, правда, было? Может быть... То, что меня когда-то дразнили «Чудище», это, правда, было. И когда-то называли предателем так же незащищенно. И тоже били. Но мне тогда было не больно, не страшно. А во время фильма я действительно была там, на месте этой девочки, и мне было очень страшно. Когда все старались узнать, кто же их предал, у меня похолодела спина от страха, но я знала, что Лена скажет: «Это я предала», — и я тоже скажу.

Никогда еще ни один фильм не производил на меня такого впечатления. Никогда я так не переживала. Когда Лена кричала «я не хочу жить», я тоже кричала вместе с ней, и мне было ужасно страшно и больно. Я даже не знала, что у меня могут быть такие чувства. Откуда это взялось? Может, я еще что-то могу? Я учусь в 10-м классе. Перебиваюсь с четверки на тройку. Я начала чувствовать класс с седьмого, что меня что-то тяготит, что-то рвется во мне, а выйти наружу не может. Никто этого не знает, и я, хоть убей меня, никому это не скажу. Извините, что пишу так плохо. Я просто тороплюсь, чтобы все успеть написать. Это самые первые, самые настоящие мысли. Огромный, страшный фильм «Чучело».

Таня, 10-й кл. (г. Дубна).

ЛЕНА БЕССОЛЬЦЕВА — КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ

Успех Кристины Орбакайте в роли Лены Бессольцевой бесспорен. Даже тов. Быкова Т. Т. из Ставрополя, которая в своем письме предлагает меня за картину «за решетку посадить», заканчивает письмо так: «А Кристина молодец, далеко пойдет девочка!» И я благодарен ей за эту последнюю фразу, ибо тут непроизвольное признание фильма в его глазной части — в образе положительного героя. Автор письма даже не отстает себя отчета в том, что если в спектакле «Гамлет» сам Гамлет («молодец и далеко пойдет»), то спектакль явно получился.

...Так как же все-таки удалось Кристине так глубоко проникнуть в живую жизнь образа? Отчего зритель отмечает слияние роли и исполнительницы? «Художественность до эффекта документальности», как пишут зрители.

И если действительно К. Орбакайте создала тот образ, о котором мы сегодня говорим, то это — во-первых: наверное, успех целого направления развития в советском кино образа ребенка как образа человека в самом полном смысле этого слова, где возраст только подробность, обстоятельство, а главное — сложная внутренняя жизнь, поиск неповторимой индивидуальности, нахождение истоков будущей личности;

во-вторых: это, как всегда, его величество случай, ибо, не оказавшись на этой роли именно Кристине, еще не известно, что было бы со всеми самыми верными принципами;

в-третьих: а это, наверное, и есть самое главное — уникальная актерская одаренность юной исполнительницы, давшая ей возможность найти свой путь к сердцу зрителя...

ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ

...Люди в нашей огромной квартире делились по самым разным плоскостям и направлениям. Плата за электричество порождала деление на «индюков» и «всех остальных». «Индюки» имели индивидуаль- ные электросчетчики, а «все остальные» платили с общего, вводя самые сложные системы расчетов: «с носа», «с электроточки» — по-разному, мнений было много... В связи с отоплением (топили дровами) жильцы делились на «парадных» и «дворовых». У «парадных» подвалы для хранения дров находились прямо в парадном, а у «дворовых» — во дворе. Во двор ходить было гораздо дальше, а в парадном подвале было сыро, и шел неразрешимый спор: кому хуже? Было деление на «ту» и «эту» половину коридора, и я, маленький, мог часами находиться в меланхолии, думая, почему наша половина, которая всегда называлась «эта», если я попадал в другой коридор, тут же становилась «той»? Только спустя много лет я понял, что жизнь в нашем доме дала мне много уроков «наглядной диалектики».

По всем линиям и плоскостям, разделявшим нас на разные категории, сосредотачивались переплетения больших и малых конфликтов, и жильцы все время должны были группироваться и перегруппировываться. Например, люди могли дружить, как владельцы индивидуальных счетчиков, и сталкиваться на почве хранения дров. Многоплановость взаимоотношений порождала вечное брожение умов. Конфликт практически не мог быть единичным, он тут же замыкал всю цепь конфликтных ситуаций. Происходила цепная реакция, носившая характер «пулеметной очереди», и разобратся, где «свой», где «чужий», было невозможно. Начинал действовать закон: «все со всеми против всех» и «все, до одного, против одного», при этом вся штука в том- то и состояла, что «одним» у нас практически никто остаться не мог. Люди постепенно адаптировались к постоянному накалу страстей, привыкали, умели от улыбки мгновенно переключаться на «разговор» любой тональности, вплоть до самой высокой, и тут же, как ни в чем не бывало, приходили в состояние полного покоя и умиротворенности: нянчили детей, варили, стирали, говорили о политике, судачили, делились горем и радостью, плели интриги, пели хором песни и прочее. И несмотря на то, что в 19-й комнате жил работник МИДа, а в 16-й — уборщица с винзавода, в 12-й — директор

подмосковного пушного совхоза, а во 2-й — проводница поездов дальнего следования, у нас господствовало полное равенство.

Интересно, что были и «факторы объединяющие», например, книга. Если она попадала в наш дом, то уже самостоятельно путешествовала по всем коридорам и комнатам, так что даже хозяин сам не мог ее допроситься и вообще не знал, где она.

Но особенно резко жители нашего коммунального дредноута делились как зрители. Тут шло деление на две четкие категории: на тех, которые ходили в театр, и на «всех остальных», которые, «как нормальные люди», ходили в кино. Тех, кто ходил в театр, не любили. А уж когда наступал день спектакля, их просто ненавидели. Этот день почему-то становился известным заранее. С утра обстановка постепенно накалялась. Уже накануне идущие в театр теряли имена и фамилии и превращались в «этих» («Эта» и «Этот»). И если «эта» по случаю оказывалась на кухне, там сразу воцарялось гробовое молчание, даже примусы гудели враждебно и чуть не взрывались.

К определенному часу, когда «эти» должны уже были «выходить», все соседи случайно оказывались у дверей своих комнат — кто подметал пол, кто просто так стоял, задумавшись. «Эти» шли в театр парой — муж с женой, одетые во все лучшее, оставляя за собой запах одеколона. Мы, маленькие, чтобы потрафить взрослым и для собственного удовольствия, шли сзади и кривлялись, вихляя тощими задками. Мы вдыхали запах одеколона, закатывали глаза и изображали на лице наслаждение. А потом хором выдыхали запах обратно:

— Х-х-х...

Взрослые же провожали парочку глазами, переглядывались, качали головами и переговаривались, давась от смеха:

— «Эти»-то! «Эти»-то... прямо, ой... в тياتер пошли.

Хождение в театр казалось буржуазской претензией на какую-то особую жизнь, которой окружающие не были достойны. Таких претензий не любили.

А ведь тогда не любили и людей в очках. Говорили:

— А еще в очках!

Считалось, что очки человек носит только для того, чтобы показать, какой он умный, а так-то они вообще не нужны. Даже примета была — «десять очкариков встретишь — желание исполнится». Не любили людей в шляпах. Фраза: «А еще в шляпе!» — обошла потом все эстрадные фельетоны. Одним словом, не любили всего этого: «В очках, в шляпе, да еще и в театр ходит!» Подозрение возникало — «наши ли это люди»?

С точки зрения нашего коридора, нормальный человек должен был ходить в кино. Мужчины в кинотеатрах к концу сеанса обычно спали — жены по дороге домой рассказывали им, «чем там кончилось». Фильмов выходило немного. Все успевали посмотреть все фильмы, все любили одних и тех же актеров — М. Ладынину, Л. Орлозу, Н. Крючкову, Б. Андрееву, Петра Мартыновича Алейникова. Эта любовь была всеобщей, даже всецарской. И если бы какой-нибудь человек осмелился при народе сказать: «Мне, мол, Алейников не нравится» — не знаю, что и было бы...

— Всему народу нравится, а тебе не нравится? Может, ты «враг народа»?..

Это же был «наш» Алейников, он был как наш Днепротэкс, как наше метро.

— Может, тебе еще и метро не нравится? — резко тогда ставился вопрос о вкусах.

В то время зритель еще отождествлял актера и его роль. Я помню, как Михаил Иванович Жаров, в те годы молодой, стройный, кудрявый, сыграл несколько ролей подряд, связанных с выпивкой. О нем сочувственно говорили:

— Хороший мужик, жаль, что алкоголик.

Рассказывали, что пожилой актер, сыгравший в картине «Ленин в Октябре» роль шпика (того самого, который говорил знаменитую фразу: «За яблочко! За яблочко»), жил напротив нашей школы, на тихой Лужниковской улице, которой сейчас уже нет. Так не только наши ребята из всех прилегающих улиц и переулков, а даже из пригородов Москвы приезжали его «убивать». И милиция не могла ничего поделать — круглый год все стекла у него были выбиты, хотя никто точно не знал — живет он там или нет. Петр Мартынович Алейников сыграл однажды роль Вани Курского (в картине «Большая жизнь»). Роль так к нему пристала, что потом, когда выходил фильм с его участием, все говорили:

— Пойдем, там Ваня Курский играет.

И если дотошные спрашивали: «Так он Алейников или Курский?» — им отвечали: «Ну что особенного? По отцу Алейников, по матери — Курский!»

Но вот однажды, в кинематокартине «Глинка», Алейников сыграл Александра Сергеевича Пушкина. Это была сенсация! Люди по несколько раз ходили на фильм, только чтобы снова увидеть этот эпизод. И когда Алейников появлялся в кадре Пушкиным, стоящим в театральной ложе на премьере «Ивана Сусанина», раздавался гром аплодисментов, и зал умирал от хохота. Я сам видел, как в проходах люди даже падали с приставных стульев на пол, и сквозь смех слышались веселые выкрики:

— Ваня Курский — Пушкин!.. Ну, дает!..

Вспоминая об этом, я думаю, как же с тех пор изменился зритель... Вот Юрий Никулин... Известный коверный, которого знают все от мала до велика, киноактер, снискавший себе небывалую популярность, создав знаменитую киномаску «Балбеса» в гайдаевской троице — Никулин, Вицын, Моргунов. Эта маска стала настолько популярной, что однажды, где-то не так далеко от Москвы, я купил его фигурку в этой роли — изделие местной керамической промышленности. Сенсация прилавка была объявлена специально — на двойном листочке в клеточку крупными буквами было написано: «Никулин — Балбес. 1 рубль 25 коп.» Была очередь. Покупатели, протягивая чеки, говорили одно слово: «Юрочку!» — продавцы только успевали заворачивать, и все смеялись. И вот этот столь популярный, любимый народом комик появляется сегодня на экране в фильмах «Когда деревья были большими», «Ко мне, Мухтар!» или «Двадцать дней без войны» — и никто не смеется. Наоборот, зритель только удивляется широким возможностям артиста:

— Какой он разный! Как он перевоплощается! Какой у него диапазон!..

А ведь раньше только «театралы», те самые, которых так не любили в нашем доме, увидев во МХАТе Хмелева в роли Каренина или Ивана Грозного, получали удовольствие не только оттого, что он блестяще играет свои роли, но еще и оттого, что сегодня он — Каренин, а завтра — Грозный!

Слился сегодня театральный зритель с кинематографическим, между ними не только пропасти нет, но иногда даже черты не проведешь. Сильно качнулся наш многомиллионный зритель в сторону «ценителя искусств», и это заслуга всего нашего кино, да и не только кино. Во многих грехах можно упрекнуть и нашу литературу, и наш театр, и наш кинематограф, но в одном, несомненно, их великая заслуга — они воспитали нашего зрителя как

«ценителя искусств». Не потребителя, не человека, относящегося к искусству и литературе, как к «сфере обслуживания», а именно «ценителя искусств».

Хотя «качнуться в сторону ценителя искусств» и «стать им» — не одно и то же: конфликт между претензиями и реальными возможностями характерен вообще для современного мышления. Многие в нашей жизни происходит еще, как у Ильфа и Петрова в одноактной пьесе «Сильные чувства», где один из персонажей говорит: «Я, как член МОПРа, получаю молоко в спецбуфете». Его спрашивают: «А вы член МОПРа?» — «Нет», — отвечает он, — я не член МОПРа, просто я получаю молоко в спецбуфете, как член МОПРа»...

Юрий Владимирович Никулин рассказывал мне, как однажды он пришел в кинотеатр и сел в задний ряд уже после того, как погас свет, посмотреть, как реагирует зритель на одну из его серьезных ролей. И когда он появился на экране, а зал замолк, узнав своего любимца, вдруг громко зазвучал голос:

— Никулин!

В зале захихикали.

— Очки надел, думает, не узнаем... Сейчас чего-нибудь стащит!..

ЮРИЙ НИКУЛИН — ДЕДУШКА БЕССОЛЬЦЕВ

К кандидатуре Юрия Никулина мы тоже пришли не сразу. Сначала я долго уговаривал Оболенского, актера, известного еще в немом кино и «заново родившегося» за последнее десятилетие. Он представлялся мне наиболее подходящим для изображения «ушедших поколений». Но Оболенский был занят, он слезно просил меня не уговаривать его, да и я сам склонялся к более современной фигуре.

Решил попробовать себя. С большим удивлением увидел, что вовсе не подхожу к роли. Даже не поверил первой пробе, попробовался во второй раз, в третий — и решительным образом отверг свою кандидатуру. Да и сложность производства картины рождала сомнения...

Двадцать лет назад в поисках актера на роль Айболита я писал Юрию Владимировичу Никулину даже в Австралию, где он гастролировал с советским цирком. Я, как и многие, очень люблю этого актера. Не сразу я привык к мысли, что дед Бессольцев — Юрий Никулин. Мне все мешало представление о необходимости особо подчеркнутого внешнего благородства, седой шевелюры, строгого лица. Но интуитивное обращение к Никулину уже было моей внутренней борьбой с решением, лежавшим на поверхности. Хотя по-настоящему я смог понять ценность и точность приглашения Никулина на эту роль только когда начались съемки центральных сцен фильма — дуэта дедушки и внучки.

Умение молчать в кадре, умение слушать — это вообще редкий дар, дар души. Все мы больше любим говорить сами, а слушать почти разучились. С трудом слышим. Это часто и рождает глухоту взрослого мира к миру детства.

Юрий Владимирович сразу, с первой же репетиции, по-актерски стал «пристраиваться» к Кристине внутренне. Быстро помог ей преодолеть природную застенчивость, и я глазом не успел моргнуть, как они уже весело общались между собой. Опытный мастер понимал, как трудна роль «его внучки», и его желание помочь юной партнерше на глазах превращалось в самую искреннюю любовь старшего Бессольцева к Лене.

Я часто наблюдал за превращением человеческих категорий в глубоко художественные — в этом для меня особая магия искусства.

Умение молчать, воспитанное в цирке, умение слу-

шать, рожденное чуткой душой, делают Никулина особым актером. Для картины же «Чучело» этот дар оказался бесценным — родилась важнейшая для всего идейно-художественного построения фильма духовная связь между Леной и дедом, между судьбами, разделенными временем, между поколениями замечательной русской фамилии, несущей в себе духовную традицию нравственности, милосердия и мужества.

Никулину свойственна глубокая, чисто национальная тема «чудака» — это и сделало его близким и родным зрителю. В картине Николай Николаевич Бессольцев, «чудак», отдающий остаток жизни последней страсти — восстановлению картин своего предка, и его внучка — близкие друзья. Как близкие друзья, они говорят друг с другом о самом главном и сокровенном, жалеют друг друга, спорят и ссорятся, ищут выход. Взрослый и ребенок, разделенные годами и конкретными жизненными интересами, теряющие между собой духовную связь, — острейшая проблема нашего мира.

Дуэт Юрия Никулина и Кристины Орбакайте выражает редкую сегодня гармонию человеческих отношений взрослых и детей, такую необходимую — и такую важную.

Бессольцев душевно деликатен, он не ругает внучку, не читает ей нотаций, без чего, нам кажется, мы не выполняем своего родительского долга, «не высыпает» девочке за ее грубость, проявленную сгоряча. Он прощает, хотя и очень расстроен. (Потом Лена так же будет прощать предавшего ее Сомова.)

Он старается понять, вникнуть, он слушает! Он слушает и молчит. Он уважает ее и ее горе! Он относится к ребенку как к человеку!

Кто из нас это умеет? Кто из нас способен на искреннее уважение к ребенку как к личности? Не в этом ли неумении понимать, любить и уважать наших детей наши главные проблемы?

Образ Бессольцева несет в себе корни народной нравственности, это потомок целого рода прекрасных русских людей, тружеников и воинов — и это высокая инстанция Добра. На хороших людях, как говорят, «мир держится», тем более на таких, кто умеет постоять за добро...

ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ

...И все-таки актерам до войны было легче. Довоенный зритель верил на слово: сказал актер на экране хорошие слова, и зритель не сомневался, что это хороший человек, сказал плохие — зритель сразу понимал, что «это гад», он и в жизни такой же! А сейчас какие хочешь слова говори, зрителю даже в голову не придет, что он должен делать какие-то выводы: «мало ли кто что говорит, всем верить?»... Зритель и горящим глазами сегодня не очень-то верит. Это когда-то — поведет особым взглядом любящий зритель, Николай Крючков, и сразу ясно: «Орел!» Или еще раньше, в немом кино: сверкнул во весь экран глаза, подведенные гримом, — зритель чуть не в обморок — какая страсть! До войны девчата говорили: «Глаза горят, значит, любит!» Сегодня и глаза горят — и врет. А бывает, что у обоих глаза горят, у него и у нее — и оба врут. Так удобнее...

Вся трудность современного актера в том, что зритель изменился как человек. Изменился его способ думать. Воспринимать. Он более культурен и менее доверчив. У него большой опыт общения. Тем более, что он теперь ценитель искусств, или на худой конец, как гозорил о себе Частный пристав в гоголевской повести «Нос», «большой поощритель всех искусств и мануфактурностей», сло-

вом, «дураков нет». Доверчивые люди не перевелись, и верить друг другу тоже не разучились, и правду умеют говорить, но и неправду тоже, глядя по обстоятельствам. Я однажды спросил на съемке у молодого администратора:

— Зачем обманываешь?.. Ведь нет необходимости.

— Чтобы не разучиться! — не моргнув, ответил тот.

Люди иногда живут с какой-то двойной бухгалтерией: одна для окружающих, другая для себя. Ложь не новость на белом свете, но сегодня она в обиходе, как пятачок в метро. Мы даже не несем за нее перед собой ответственности, ее необходимость как бы подсказана «здравым смыслом». В небольшой лжи или полуправде сегодня стараются не уличать — неприлично. Если мы и боремся с ложью, то чаще с чужой. И никто себя не винит, мы говорим — «время такое». «Се ля ви» — наш обиходный французский. Все изменилось...

Вы заметили, что современные собаки не гоняют уже кошек, как прежде? Или нейтралитет, или дружат, или так: кинется пес за кошкой для острастки, та лениво изогнет спину, для приличия пошипит, и пес уже в сторону. Весь ритуал для вида, формально. Я где-то даже читал, что одна современная лиса прижилась в курятнике и сторожила кур. А куда денешься? В лесу иногда как в городе: и машины ездят, и пешеходы ходят...

ЖИЗНЬ В ГОМОСФЕРЕ

Слово имеет наука: «Цивилизация, техническая цивилизация, НТР — все это хорошо усвоено людьми. А вот духовная культура, культура, духовное начало — понятия достаточно расплывчатые» (академик Д. С. Лихачев).

Действительно, мы легко произносим слово «бездуховность», оно вполне вошло в наш обиход, особенно когда мы говорим о проблемах современности или воспитания. Что это такое, мы можем объяснить, составив бесконечный список душевных изъянов и человеческих недостатков: безнравственность и низость помыслов, равнодушие и жестокость, вещиизм и эмоциональная тупость, отсутствие высокой сознательности и развитого эстетического чувства, узость интересов и мелочность души — это очень много для четкого понятия, действительно оно становится расплывчато.

Но если понятие «бездуховности» осмыслено нами хоть так, то слово «духовность» мы произносим очень редко и с явной опаской. На каком-то этапе мы просто цепенеет перед этим словом: от него так близко до слова «дух», а это слово мы сегодня слышим чаще как понятие «запах» или в смысле гегелевского и прочего идеализма. «Духовность — дух — духовенство» — семья слов одна, но через корень этой семьи проходит граница времен, прошлого и настоящего, великих открытий и не менее великих заблуждений.

«Я давно уже остро ощущаю необходимость найти точный термин, который вмещал бы в себя комплекс понятий, связанных с внутренним миром человека, его развитием, с тончайшими и сложнейшими системами связей людей между собой, человечества со всей природой, планеты и с Вселенной. Нечто всеобъемлющее, как ноосфера Вернадского, как биосфера, но заключающее в себе иную основу — человечность, гуманность, одухотворенность», — говорит академик Д. С. Лихачев.

Мы давно ждем от науки нового обращения к человеческой душе, смелого вторжения в ту область, в которой ушедшие эпохи поиск истины связывали с именем Иисуса Христа. Мне всегда казалось, что давно пора создать «Историю человече-

ской духовности», «Фундаментальную теорию нравственности», «Теорию и историю великих заблуждений», «Феноменологию детства» и т. д.— все то, что принято называть познанием «жизни человеческого духа». Поэтому я с таким волнением читал слова Д. С. Лихачева:

«Вы понимаете, я веду сейчас речь об очень важной, четко просматриваемой области важнейших жизненных интересов, стремлений, нужд и надежд народа, людей, каждого человека. Именно человека, а не абстрактной усредненной статистической личности. Это огромная сфера, охватывающая гуманистическую сущность общества и, я даже сказал бы, всего живого, всего сущего на планете и даже во всей Вселенной. Человечесфера... или для подобия с принятыми уже понятиями этой категории — на международной латыни — гомосфера. Именно гомосфера! Термин найден...»

Открытие термина — это иногда определение целого направления усилий человеческой мысли. Есть ли у него будущее, покажет жизнь, но я всей душой уже сегодня приветствовал бы его. Великие достижения всех времен и народов в области художественного мышления могли бы быть рассмотрены заново с точки зрения критерия духовности, весь субъективизм творчества обрел бы, наконец, свою конечную объективность вполне реально, и открылся бы новый импульс борьбы с бездуховностью, с властью предмета и факта над человеческой душой. Критерий духовности мог бы указать ту границу нравственности, которую все более нарушает современная наука и цивилизация, он мог бы стать критерием оценки самых сложных современных явлений с новой стороны, он мог бы ответить на множество самых сложных вопросов и в особенности на проблему нашего отношения к будущему...

ТОСКА ПО БУДУЩЕМУ

Наши отношения с прошлыми веками не однозначны: с одной стороны, мы свысока смотрим на времена карет и парусников, но с другой — грустим по «прекрасным дамам», тоскуем по рыцарям и мушкетерам и испытываем нечто вроде упрека, когда думаем о тех, кого называли «невольниками чести». И нам вовсе нет дела до того, что во времена «плаща и шпаги» убийство становилось делом доблести, — нам важна сама доблесть, нам нет дела, что романтическая литература идеализировала своих героев, нам важен сам идеал, сам герой. Они стали той твердой и вполне конвертируемой валютой, по которой мы, наследники всего опыта и гуманизма прошлых веков, можем оценивать нашу духовную жизнь.

«Рыцари без страха и упрека» приходят к нам в ранней юности с первыми прочитанными книгами как наше личное открытие. И здесь, в столкновении с новыми временами и поколениями, ностальгия по ушедшему и как будто безвозвратно утерянному становится тоской по будущему, болевой точкой души, рождающей мечту о прекрасном, о благородстве и справедливости. У картины «Чучело» свои отношения с прошлым, имеющие для всего содержания огромное значение. В откликах зрителей, в письмах — а письма были и остаются бесценными документами истории человеческого духа, — есть замечательные «автопортреты» юношей наших дней, написанные совершенно произвольно, искренне и просто — в потоке размышлений и чувств. Меня не на шутку волнует, что фильм вызвал к жизни именно такие письма: в них все оценивается по критерию духовности — и в этом для меня что-то самое главное из всего, что произошло...

Письмо из Краснодара (отрывок):

«Здравствуй Кристина! Я не знаю твоего домашнего адреса, поэтому пишу на киностудию, чтобы переслали тебе. Сегодня я посмотрел фильм «Чучело», о котором уже много и противоречиво написано в газетах. Я потрясен твоей игрой, великой силой души и величайшим милосердием твоей Лены Бессольцевой. Ты прекрасна. Грация твоих жестов, трепетность прекрасных длинных рук, воздушная легкость твоей походки выдают твою хореографическую подготовку. Ты, наверно, занимаешься балетом? «Некрасивость» твоего лица прекраснее самых совершенных лиц. На нем отражается каждое движение твоей души, каждая мысль. В нем прелесть чистого юного существа и многострадальная терпеливость — милосердие русской женщины. И твой звенящий голос, его ирония, его нежность. Гениальное простодушие не от простоты, а от величайшего самопожертвования и милосердия. О, как милосердна ты и как недостижимо велика в сравнении с ничтожным, предавшим тебя Сомовым! Я полюбил твою Лену Бессольцеву, образ которой неразделим с тобой, с твоим обликом.

Как ты умеешь смеяться! Даже в смятении, в горе — вдруг серебряный смех. Самая большая и бесспорная удача фильма — ты. Последние кадры: снимают головные уборы юные курсанты, отдавая честь твоему мужеству. Их головы обриты, как и твоя. Ты тоже воин, воин-победитель с обритой, но не склоненной головой.

Фильм не жесток. Я знаю — так не бывает, так могло быть, но не должно повториться! Фильм заставит многих задуматься над своим отношением к жизни, к себе, к друзьям и врагам. Пылает чучело, но не сгорает в огне твоя великая душа. Добро торжествует. Жестокость страшна в мире, ибо она порождает жестокость. Но жестокость не ожесточает твою Лену. Она не сломалась. Лишь захотела стать еще безобразнее для тех, кто ее считает такой, и обрилась наголо. Но от этого становится прекрасней, одухотворенней...»

Письмо с Дальнего Востока (отрывок):

«Пишет Вам курсант с Дальнего Востока... Вот уже третий раз смотрю фильм «Чучело». Да какой же Вы человек, если поставили такой фильм!!! За все свои 19 лет я посмотрел много фильмов. Пересмотреть все, конечно, не удастся. Это «Судьба человека», «Летят журавли», «Белорусский вокзал»... Фильмы замечательные, но те фильмы о том времени, которое мое поколение знает лишь из рассказов. А тут появился фильм о с е г о д н я, о нашей жизни. Я не могу сказать, что Ваша кинокартина хороша. Просто, по-моему, нет слов, которыми можно выразить свои чувства. Фильм прекрасен, замечателен и даже более того! Это даже не фильм — это же вопль чистой человеческой души: «Люди, смотрите, оглянитесь! Что же мы делаем!» Он рассказывает о нашей жестокости, о мещанстве, о пошлости и, конечно, о той хрустальной чистоте, которую мы должны нести всю жизнь, крепко-крепко прижав к груди, чтобы не разбить ее и не потерять где-нибудь в суете...»

ЗАГАДКА ЗРИТЕЛЯ И МОДА

У современных проблем есть какая-то удивительная черта — они как бы стали живыми существами. Они имеют свои тенденции, оказывают влияние, прогрессируют и даже имеют свою психологию. События то и дело меняют характер, экономику лихорадит, финансы капризничают. Условные понятия и неживой мир как бы приобрели живую образную конкретность: города растут и хорошеют

как красны девицы, всевозможные идеи оплодотворяют друг друга, будто они находятся в биологической связи, и распространяются, точно какие то вирусы. А всякие тенденции приходится время от времени оздоравливать, как городских детей, страдающих малокровием. Вещи, окружающие нас, рождаются и умирают, совсем как люди, и кладбища паровозов или кораблей образно не менее содержательны, нежели человеческие погребения. Потрепанные автомобили вдруг ласково именуются «старушками», и между ними, как между ветеранами спорта, устраиваются соревнования, а в газетах потом сообщают, что первым пришел такой-то «Форд» образца бог весть какого года. При этом фамилия водителя приводится в скобках как некая подробность, не более того.

Я, как конкретный человек, с именем и фамилией, все больше и больше чувствую себя поставленным «за скобки». Наиболее значительную часть суток я не имею ни имени, ни фамилии, ни своих склонностей, ни своего лица. Я — все что угодно, только не конкретный человек, я существую как понятие, не больше: квартиросъемщик, жилец, сосед, прохожий, проезжий, человек, сидящий напротив. Я посетитель, покупатель, сослуживец, член кассы взаимопомощи. Я клиент, абитуриент, пациент, потребитель, провожающий, отъезжающий...

Ее Величество Регламентация разлиновала меня, как тетрадку в клеточку, на правила и параграфы, на права и обязанности. Но если раньше это касалось в основном внешних аспектов моей жизни, то сейчас я все более регламентируюсь внутренне, и «благодарить» за это я должен современную моду, как доминанту массовой культуры. Термин «массовая культура» получил в нашей социологии твердый эпитет — буржуазная. Наша социалистическая культура — это культура для широких масс, ее главная задача — сохранить духовное содержание культурного строительства, его общественно-политический потенциал. Однако, хотя я и не социолог и могу, конечно, ошибаться, я все больше вижу вокруг себя растущую тенденцию стихии «массовой культуры» в ее самых негативных проявлениях. Я не могу не видеть, что эпитет «талантливый» категорически заменен на деловое обозначение — «популярный», что понятие «достоинство» все чаще заменяется популярным ныне словом «престиж», что разница между возможным и невозможным в искусстве, между талантливым и бездарным, которая совсем недавно считалась очевидной, все чаще трактуется как (всего лишь) разница вкусов: «вам так нравится, а нам эдак!»

Появились ученые и бесчисленные научные труды без тени науки, есть искусство без самого искусства, культура без культуры, нравственность без всякой нравственности, оголтелая деятельность без всякой деятельности. Это как раз то, что и называется «массовой культурой», которая подменяет ценности их внешними признаками, рождая даже свой «стиль» современного искусства, который можно назвать стилем «дизайн».

Дизайн — это красиво, модно, лихо. Что? — неважно. Важно, что «фирма», отлично сработано, на уровне мировых именно стандартов, и при этом — «только у нас!» Дизайн — стиль, суть которого комфорт, в нем могут быть любые стили, на любой вкус: дизайн может быть в стиле модерн, в стиле барокко, в древнекитайском, староиндийском, в сочетании стилей, вплоть до знаменитого «житча» — безвкусицы, доведенной до совершенства эклектики. Все это сфера обслуживания современного мещанина, сфера обслуживания не просто «живота» — это примитивно, сфера обслуживания «бездуховной

души», суррогата из моды и стяжательства. Мещанин «духовно» самоутверждается, его идеал бытового комфорта перенесен на требования к искусству, которое покупается и продается.

Мода как доминанта массовой культуры по нынешним временам сделала головокружительную карьеру. Из «отличной штучки» она вдруг на наших глазах стала особой солидной и уважаемой в самых широких демократических кругах. Вокруг нее вертится уже не одно поколение. Она явно освоила современные скорости и опережает время, как сверхзвуковые самолеты опережают рев собственных двигателей. Мы вынуждены гнаться за модой, как ее отзвук, будто за собственной тенью, которая впереди утром, и в полдень, и вечером.

Из привилегии избранных мода как подарок цивилизации стала всеобщим достоянием. Она соприкоснулась с огромными человеческими массами, и это решительно изменило ее характер. Знаменитая «капризность» моды, ее голос, так недавно срывающийся на «крик» — все это теперь в прошлом. Капризность моды узаконена — это теперь ее «динамика», «последний крик моды» — формула недопустимо бестактная по отношению к новому кумиру. Мода более не кричит — она диктует! А кричать и нервничать теперь приходится тем, кто ей неугоден: например, формула «крик души» — вполне современна, а формула «крик моды» — звучит уже чуть ли не иронически. Душе есть от чего кричать, моде же более не от чего, она обрела «голос» в современном мире, ее слышно и так!

Мода пошла в ширь, она стала контролировать не только прически и кружева, не только имена и прически, она сейчас контролирует науки и искусства, идеи и общественные проблемы — решительно все. И мы чаще слышим не «талантливая идея», а «идея, имеющая популярность», «модное направление науки», «престижная профессия». И будь ты хоть семи пядей во лбу, ты ничего не сумеешь сделать без благословения «матушки моды». Даже если ты на любой из жизненных беговых дорожек финишируешь первым, этого никто не зачтет тебе, как рекордный результат. Только мода делает эти «соревнования» официальными и утверждает рекорды. Мода — королева «сферы обслуживания», и если основной стиль этой сферы «дизайн», то мода — его эстетическая платформа.

Но мода пошла и вглубь — она стала для многих миллионов людей системой ориентации в самых различных областях жизни. Она стала одним из новых средств связи между людьми. Связи закорюченной и близкой к образной и поэтому более свободной от логики. Она, как печная труба, создает некую эмоциональную общественную тягу, которая организует движение интересов мельчайших частичек огромных человеческих масс и вследствие этого становится компромиссной связью между человеком и окружающим его миром...

Но из компромиссной связи мода становится новой властью над человеком. «Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян» — такую она была еще при А. С. Пушкине, она становится настоящим диктатором. Эта власть не исходит от одного лица или группы лиц, она становится особой властью многих над одним. И эта власть незаметна, она осуществляется как бы изнутри, через вкусы и привязанности самого человека, которые на самом деле продиктованы все той же модой. И тут она проникает во все: во взаимоотношения, в мир чувств, в самые сокровенные тайники интимной жизни. Так происходит чудовищное предательство моды — в ней обнаруживается механизм роботизации человека, самой его индивидуальности, как последней суверенности.

Социалистическая культура, обращенная к массам, призвана была с самых первых своих шагов обороняться от бездуховности, мещанства, от стихии буржуазной «массовой культуры». Наше искусство сумело воспитать читателя и зрителя, как ценителя искусств: успех поэтов 50—60-х годов, популярность выставок и вернисажей, книжный бум, глубокий и всевозрастающий интерес к памятникам национальной культуры, интерес к старине, к своим корням, к фольклору, увлечение всеми видами документалистики — все это не случайно в нашей культурной жизни.

Но везде к каждому проявлению духовной активности присоединяется обыватель и мещанин: интерес к творческой личности диктуется ее популярностью, взятые автографы чуть ли не на туалетной бумаге часто исчерпывают интерес и любопытство «к искусству», книги приобретаются как вещи, интерес к старине в этих случаях диктуется уже его престижностью. Так сбылись слова А. И. Герцена: «Снизу все естественно, как к благополучию, тянется в мещанство, сверху все само впадает в него по невозможности удержаться. В этой среде Альмавива равен Фигаро». И мещанин интеллигентствует и интеллигент впадает в мещанство «по невозможности удержаться». И где та грань, которая разделяет одно от другого?

Я бы не рискнул сегодня показать пальцем на мещанина, я бы испугался, не укажу ли я на близкого и любимого человека. Понятие «мещанин» потеряло свои социальные признаки, я встречал мещан в среде и академиков, и рабочих. Понятие провинции тоже исчезло, как география мещанства: я видел поразительно духовных ребят в Чимкенте, я вижу совершенно бездуховных в любой из столиц. Мещанство сейчас представляется мне духовной болезнью современного человека, как любая порча, как перхоть, как трахома. Поэтому черта отчуждения может лежать и между людьми и внутри самой личности, как ее борьба с собой.

Здесь, в этой борьбе, в столкновении рожденной советским искусством традиции зрителя — ценителя искусств со стихией мещанской психологии и массовой культуры происходит основной бой за духовное, человеческое, одухотворенное. И все своеобразие этой борьбы в выяснении подлинных позиций, в столкновении с демагогией, болтовней, пустотой, прикрытой громкой фразой, и беспринципностью, прикрытой симуляцией принципиальности. И тогда загадка зрителя — различить в духовном смысле величины мнимые и подлинные. Как преодолеть субъективный фактор оценки, как освободиться от давления стереотипа, как преодолеть современное «клиширование» нашего восприятия? Особенно, когда слух и сплетня все более претендуют на «подлинные сведения», они даже могут противопоставить себя науке, как точке зрения «слишком уж официальной» и даже «ограниченной», тут старые предрассудки начинают претендовать на высокое звание «твердых убеждений» и в этом качестве становятся особенно «краеугольными», читать никто не хочет — все писатели, процветают «точки зрения» без всякого зрения или знаний, когда, минуя доводы, сразу приходят к выводам и тут... однако, терпение...

О ПОДЛИННОМ И МНИМОМ

Говорят, что истина рождается в споре. Хотя бывают споры, в которых: истина, наоборот, умирает, и вместо нее рождаются химеры. Сегодня жизнь известных истин полна неожиданностей — они то и дело превращаются в загадки. Как сказал поэт:

«Был этот мир глубокой тьмой окутан. Да будет свет! И вот явился Ньютон. Но сатана не долго ждал реванша — пришел Эйнштейн, и стало все, как раньше!»

Буря современной физики разом опрокинула кажущуюся окончательную ясность ньютоновского мира. Наука открыла новые тайны — это дало ей возможность совершать невиданные открытия. Нечто очень похожее произошло в гомосфере — с духовным миром людей, только несколько наоборот: на смену тайне смысла жизни и всем вечным вопросам пришла, изгнанная из науки, кажущаяся окончательная ясность мира, массовой культуре не нужны новые тайны, она умудряется закрывать старые, ей не нужны открытия, она жаждет сенсаций.

Я подозреваю, что уровень рождаемости истин в спорах сегодня сильно снизился. Вместо того чтобы стремиться к серьезному знанию, позициям, искать аргументы, все чаще спорят, как на ринге — главное активность и упреждающий удар: «не тот прав, кто прав, а у кого больше прав!» Зачем доводы, когда важны выводы: «Есть два мнения: одно мое — другое глупое!» Обыватель строит полемику на своем уровне.

Картина «Чучело» еще до выхода на экраны приобрела репутацию спорной. Логика восприятия фильма была приблизительно такая: «Мы-то поняли, но поймет ли верно картину широкий зритель?» Первые зрители благодарили за картину чуть не со слезами на глазах, но при этом выражали опасения, что учителя картину, конечно же, не примут. Подавляющее количество учителей приняло картину всем сердцем и поняло гораздо глубже других, но многие поговаривали, что детям картину, пожалуй, показывать не стоит — не разберутся.

На детской аудитории вся эта история повторилась, как в зеркале, — старшие сомневались, что картину поймут младшие: десятиклассники не надеялись на семиклассников, семиклассники сомневались в пятиклассниках. Фильм был показан трем тысячам секретарей комсомольских организаций средних школ, собранных из разных городов и республик в подмосковном лагере ЦК ВЛКСМ. Он обсуждался в отрядах, на общую дискуссию пригласили и меня.

Некоторые, явно «заруководившиеся» ребята выразили сомнение: «Фильм замечательный, мы его поняли верно, но поймут ли его так же верно рядовые комсомольцы?» «Заруководившимся» был дан шумный и решительный отпор, да такой единодушный и веселый, что они потом долго краснели — ярче, чем повязки на рукавах дежурных.

Центральный детский кинотеатр города Москвы опросил даже учеников 3—4-х классов. У этого возраста восприятие еще, так сказать, черно-белое: мир четко делится на хорошее и плохое, на «наших» и «иных». «Понравилось, — писал Миша из 4-го, — что Лена была смелая и добрая. Не понравилось, что Валька ловил собак и обзывался на взрослых». «Не понравилось, — писал Костя из 3-го, — что Димка предал Лену. Он был ненастоящий мужчина и испугался Правды».

Это был первый период спора по картине, картина оказалась неожиданной, требовала не совсем привычной степени откровенности.

Но, конечно, самый важный период спора начался тогда, когда обнаружился уже не предполагаемый, а подлинный зритель, решительно не принимающий фильма и обвиняющий его в отсутствии правды жизни и даже вредности. Пресса решительно поддержала картину. Но появилось много публикаций, сталкивающих «два мнения» по фильму. Читателям как бы предлагалось самостоятельно вы-

брать одно из них. Этот период для меня закончился спокойной и доказательной статьей в газете «Правда», которая как бы подытожила дискуссию и выбрала наконец одно мнение из двух — картина состоялась. К этому времени были опубликованы данные опроса широкого зрителя в «Советском экране» — зритель решительно поддержал фильм.

Однако для меня спор далеко не закончен. «Чучело», с моей точки зрения, в полном смысле слова «вызвало огонь на себя», оно дало возможность обнаружить «противника», его позиции, как говорится, «засечь его огневые точки». Интересно, конечно, просто столкнуться две точки зрения, как это недавно сделала «Литературная газета», напечатав письмо полковника милиции в отставке М. П. Галкина и в ответ — мнение о фильме замечательного советского педагога Антона Калабалина. Письмо Калабалина великолепно, умно, тонко. Рядом с ним нападки Галкина кажутся явно неубедительными. Но сегодня, наверно, дело уже не в защите фильма от нападок. Письмо Галкина дает более широкие и важные возможности, оно само просится, чтобы его серьезно проанализировать, оценить, как факт чрезвычайно показательный — в нем содержится позиция, нуждающаяся в самой принципиальной оценке. И к тому же я все чаще убеждаюсь, что правота как-то слишком скромна, тогда как неправота не боится быть и громкой, и смелой, и решительной.

Вновь публиковать — теперь уже в «Юности» — письмо Галкина нет особой необходимости (хотя в «Литгазете», замечу, это письмо было несколько сокращено). Полагаю, что достаточно полностью привести письмо учительницы русского языка и литературы средней школы города Новосибирска Л. Б. Сущенко, которая в отличие от М. П. Галкина действительно имеет самое непосредственное отношение к проблемам воспитания. Но удивительно, что оба письма абсолютно родственны по всем параметрам: по основным оценкам, по способу ведения спора и по особому тону разговора. Эти два письма наиболее типичны для «ругательных» писем, в них образ человека, критикующего картину, предстает обобщенно. Я считаю чрезвычайно важным ответить на эти два письма публично, не уходя от самых «кузких» мест и «острых» формулировок. Дело серьезное. Нельзя не отвечать на подобную критику — это значило бы «отдавать инициативу», говоря спортивным языком.

Письмо Л. Б. Сущенко¹

«Уважаемая редакция, здравствуйте! Посмотрела кинофильм «Чучело» и не могу молчать, более того, хочется кричать от недоумения, возмущения, даже негодования, хотя пишу сегодня не по горячим следам, а уже немного остыв.

«Нудно... Муторно... Тяжелый фильм, да еще две серии... Ой, да Быков вечно, как понакрутит...» и т. п. — вот отрывочные отзывы зрителей, выходящих из кинотеатра. Я же была просто потрясена, разбита, раздавлена и не ужасами увиденного — нет! — а самим фактом: как такое «творение» вообще могли выпустить у нас в Советской стране, на широкий экран и миллионную аудиторию, причем не для закрытого спецпоказа (что, кстати, тоже смысла не имело), но даже без возрастного ограничения — зачем? С какой целью? Вот уж воистину «искусство принадлежит народу» — бери его, народ,

и делай с ним, что хочешь. Ни о чем другом думать в этот вечер не могла — разболелась голова, болело сердце...

Давайте теперь разберемся, на чью мельницу мы льем воду такими фильмами. На Западе уж наверняка рукоплещут, увидев в таком обличье наших детей — наше будущее. А ведь дети — это лакумовая бумажка, отражающая процессы, происходящие в обществе, общеизвестно, это наше лицо. Вывод же напрашивается один: общество, в котором главное достояние дети, брошено на произвол судьбы, деградирует в целом. И действительно, судя по фильму, кто ими (детьми) занимается?

Закомплексованная учительница с полурасстроенной психикой, которая вместо обучения и воспитания (в широком смысле этих слов) лишь истерично взвизгивает и откупается от них конфетами, обеспокоенная более устройством личной жизни (причем втягивает в это весь класс, что тоже, естественно, служит поводом для насмешек) и менее всего судьбами своих учащихся доверенного ей класса («А с нами до Поленова никак не доберется», — помните?).

В этих сценах (бедная Е. Санаева) все нелепо: начиная от выговора, который зачитывает сам себе учитель перед своим классом?! — и заканчивая умильно-идиллической картинкой приветствования Лены Бессольцевой по поводу передачи ее дедом дома и картин городу. Достовернее всего на этом фоне выглядит сокрушающийся из-за «убытков» Валька, хватающийся за голову и повторяющий неоднократно: «Дуракл!.. Ох, и дура-ак!» — именно так и воспринимается все это несовершеннолетними зрителями: с пониманием, сочувствием, поддержкой. А отъезд классного руководителя без класса в Москву? Каково? Нагромождение одной нелепости на другую, как будто специально: дети поучают «Маргарита Ивановна, это непедагогично», предупреждают «Маргарита Ивановна, жестокость порождает ответную жестокость!», фамильярничают «У вас пятно на платье! — А... ерунда, пропало платье!.. Расскажите лучше про мужа, Маргарита Ивановна!» — ответная улыбка и т. д. и т. п. И все мимо, мимо...

Чего греха таить, такие учителя встречаются еще в школах, но это наша общая беда, а не повод для юродствования — отсюда идет отношение к Учителю вообще. И нужно сообща подумать, каким образом избавиться нам от подобных Маргарит, где и как готовить достойную смену для народного образования. А косты из помойной ямы всегда можно достать и обсасывать ее и смаковать... но результат подобной «работы» будет равен нулю. Извините за столь низменное сравнение. Однако можно с уверенностью сказать, что из показанного нам класса ни один в будущем зерен на ниву просвещения не бросит. А, например, в нашей самой обычной средней школе работают 8 выпускников и с успехом, и не один год, и уходить пока не собираются. Думается, что этот факт не единичный.

Между прочим, о том, что перед нами в фильме учитель родной словесности, литературы (а литература, как известно, учебник жизни), мы узнаем лишь в финале «эпопеи», вскользь. Одним словом, карикатура, а не учитель, но ведь «Чучело» — это не комедия.

А сами дети? Это примерно класс шестой... Закармливаемые, разодетые, жестокие, циничные до безграничности. А интересы?! Тряпки, поцелуи, бесцельные шатания по улицам, заграничная музыка и пр. Я не ханжа, но что из этого следует? Один — живодед, другая — грубиянка, третий — драчунок... — собирающие хулиганов, а не класс, организованная банда малолетних преступников с главарем (Железная

¹ Письмо адресовано в журнал «Семья и школа».

кнопка); кстати, у учительницы это опасений не вызывает, все в радужном цвете. Никто не занимается в кружках, секциях, нет любимого дела?! — неправда!!! Не может этого быть! Скажете, специальные усилены акцент? А зачем искусственно нагнетать атмосферу? Не будем забывать слов В. И. Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», — а почему? Да потому, что самый массовый, надолго западающий в душу, глубоко воздействующий (в силу специфических особенностей) на умы особенно подрастающего поколения вид искусства, значит, имеющий в первую очередь огромное воспитательное значение.

Что же пропагандируют нам создатели этой киноленты? Торт со свечками, грубые словечки, встречаемый на «ура!» стиль отношений с родителями («Да пошла она!» — это о матери), наконец, кульминация фильма — сжигание чучела — прямо Ку-клукс-клан в готовом виде! Это что же, наша советская школа способна воспитать «такое»? Так зачем нашим советским детям навязывать надуманные проблемы там, где их нет, и уводить от насущных? Это может делать человек только очень далекий от школы.

Петька — гроза окрестных улиц? — да, это явление типичное; но что позволит такому Петьке явиться в школьный класс, стирать что бы то ни было с доски и «вещать» о чем-то с горящей сигаретой в руке?! Где при этом завуч, директор школы? А видимо, вон он — сбоку, на крылечке, с неизменной из года в год глупой дежурной улыбкой встречает и провожает учащихся... Или кто это — Александра Васильевна — бесплатное приложение к школе? Это возможно, спрошу я вас? Настораживает и выбор песни:

«Жизнь невозможно повернуть назад,
И время ни на миг не остановишь.
Все идут старинные часы,—

садиistically распевают на всю улицу дети, травя «зайца», — что это? Наследие гитлерюгенда?

Единственный человек, сеющий «разумное, доброе, вечное», выставлен огородным пугалом, заплатником, а кличка у его внуки между тем «миллионерша» — странно...

Одна из серьезнейших проблем общества в действительности, та проблема, решить которую пытались с помощью реформы школы, а вернее сама реформа была вызвана, возможно, этой проблемой — это ответственность родителей за воспитание своих детей — в фильме косвенно отражена, вернее затронута. Кто занимается (или не занимается) воспитанием этих школьников? Бабушки и дедушки. Или эти дети растут и формируются в немолодых семьях (пример с Мотей). Ни одной порядочной семьи, просто оторопь берет.

Роль детали в построении сюжета очень велика. Можно долго и упорно доказывать одно, но вот на именинах благополучнейшего Димы Сомова выходит из кухни бабушка и под уничтожительным взглядом внука ретируется обратно: «Ухожу, ухожу...» — уже на деле получается совсем другое! Мелочь? Случайность? Нет, пример для подражания!

Даже сама героиня картины при живой матери живет почему-то с дедом, каким бы заслуженным он ни был.

И решение этой проблемы подсказано недвусмысленно — суворовское училище! Лейтмотивом — врезающимся, однако, в самых острых моментах в канву повествования — проходит этот отзвук через весь фильм. Интернатное содержание, строгая воинская дисциплина, общее увлечение (вон как они старательно и слаженно дуют в трубы!), форма, конкрет-

ное дело — идеальный выход из создавшегося положения. Вот только с девочками как быть? А «трудной» девочке лучше все-таки уехать... в другую школу, пусть даже победительницей. Личность сильнее коллектива? «Чучело, прости нас!» — а если бы у Лены не хватило сил? Вспомним душераздирающий крик на темном экране: «Не хочу жить! Я не хочу больше жить!» Трагедия неизбежна.

Я — учитель и не склонна возводить единичное, из ряда вон выходящее событие в степень (и то, не скрою, примеряла этот случай к своей дочери, и меня бросало то в жар, то в холод), но рядом со мной сидела совсем измученная женщина, которая, прижимая к себе дочь, без конца спрашивала: «Анечка, у вас не так? А над тобой не издеваются? А школа, что же, не может защитить?» Ужас!

Не касаюсь художественных особенностей фильма, но в идейно-тематическом плане считаю, что это произведение к литературному направлению социалистического реализма никакого отношения не имеет, попытаюсь доказать это на уроках и классных часах со своими старшеклассниками. Поскольку фильм идет и ребята его смотрят, направить их мировоззрение должны мы, взрослые, родители и педагоги.

На первый случай хочу предложить им беседу-диспут «Какой математический знак можно поставить между понятиями «модный» и «современный»?

Как домашнее сочинение-рассуждение на следующие темы:

1. Как ты относишься к строчкам «Полюбила я некрасивого».

2. Что значит модный, красивый и современный?

3. Модный и красивый — это форма или содержание?

Может быть, мои суждения слишком прямолинейны и запоздалы, но, судя по откликам, я не одинока. В заключение убедительно прошу компетентные организации оградить нас от подобных кинофильмов, за 2 часа разрушающих то, что мы строим годами, а «Чучело» вообще снять с проката и чем скорее, тем лучше, и не потому, чтобы не смущать детские души грубой реальностью жизни (от которой мы их действительно порою излишне оберегаем), а чтобы не развращать эти неокрепшие души неонацистскими замашками и не противоречить самим себе.

Написала Вам — и как будто легче стало, будто страхнула с себя что-то гадкое, мерзкое...

До свидания! С уважением, Сущенко Людмила Борисовна, учитель литературы и русского языка средней школы г. Новосибирска».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Когда-то в литературе давно ушедших эпох, когда у читателя было гораздо больше свободного времени и чтение книг считалось вполне солидным занятием, в ходу были длинные и витиеватые обращения к читателю. Писатель смиренно просил о снисхождении к длиннотам, а пока плел кружева изящной словесности, затейливо перестраивая очередную композиционный пассаж и незаметно сообщая читателю всю необходимую экспозиционную информацию. Сейчас, когда времени нет и читать приходится на ходу и второпях, обращения к читателю немыслимы и считаются кокетством. Однако...

Я прошу тебя, любезный читатель, действительно набраться терпения. Собрать свои нервы в кулак, призвать свою волю, попросить выключить телевизор, сделать магнитофон хотя бы немного тише и сосредоточиться. Сосредоточиться и читать дальше. Читать дальше, даже если нет терпения и сил — не

уходи в сторону, считая, что все это «не твои проблемы» — чуть-чуть терпения.

Я не обещаю тебе головокружительных поворотов сюжета, я не расскажу тебе ни об НЛО, ни об экстрасенсах, ничего не сообщу об Анатолии Карпове и Гарри Каспарове, но я постепенно и, очевидно, медленно, шаг за шагом, хочу вместе с тобой проникнуть в мир новой «экзотики» современности, в которой привычное и даже надоевшее обрачивается неизвестным и таинственным, как когда-то казались экзотическими пирамиды Египта. У пирамиды Египта ныне идет бойкая мелочная торговля сувенирами... И все, что нам известно с пеленок, то, что мы называем часто чепухой, то, на что у нас нет времени и желания, вдруг окажется совершенно захватывающей картиной нового, важного и не терпящего отлагательств.

Товарищам Сущенко Л. Б. и Галкину М. П.

Уважаемая Людмила Борисовна!

Опыт актера научил меня очень внимательно относиться к «случайностям речи». Они чаще всего связаны с подсознанием и могут непроизвольно выдать то, что человек скрывает или сам до конца не осознает. Вот например...

Вы пишете: «хотелось кричать от недоумения». Как так? Вы учитель русского языка и знаете, что «от недоумения» не кричат, а стараются понять, удивляются — одним словом, недоумевают. У Вас же: «хотелось кричать от недоумения, возмущения и даже негодования». Меж недоумением и возмущением лишь запятая, попытки осмыслить непонятное нет. Недоумение у Вас вызывает возмущение и даже негодование. Так ли уж случайна эта стилистически-смысловая неловкость?..

Вы пишете: «ни о чем другом весь вечер думать не могла, разболелась голова, сердце...» Но разве можно «думать о чем-либо другом», разве может у нас с Вами «не болеть голова», когда мы думаем о причинах детской жестокости, стихии мещанской психологии, проникающей в сознание наших детей, вещизме, корнях детской преступности? А пьянство, лихоемство, разрушение семей, рост количества школ и больниц для неполноценных детей, рост нового сиротства и количества детских домов через сорок лет после войны? Разве может у нас «не болеть от всего этого сердце», как оно болело у А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, у тех сотен и тысяч учителей, боль которых открылась мне на встречах со зрителями и в письмах по поводу фильма «Чучело»?

Никогда раньше, ни в кино, ни в театре, ни в литературе, не открывалось мне столь прекрасное лицо нашего современника. Какое счастье, что оно реально, что этот наш современник существует: духовный, честный, а главное, не равнодушный. У авторов писем тоже после фильма «болит сердце». Среди них очень много учителей, и они тоже «ни о чем другом думать не могут», но в отличие от Вас не сетуют на меня за это. Напротив, благодарят за «честность и мужество», за то, что фильм учит доброте, помогает любить, зовет к гражданской активности. Сколько в письмах душевной красоты, боли, любви к людям, к детям! Вы же сетуете. Не оттого ли, что от недоумения не желаете думать, а сразу возмущаетесь?..

Уважаемый Михаил Петрович!

Главное, что для меня неприемлемо в Вашем письме,— это Ваше отношение к главным героям фильма. Почему Вы так страстно, с таким негодованием, близким к презрению, отнеслись к героине фильма? Как Вы только не обозвали ее! И «кустарь-одиночка», и «замкнутая личность», и нет в героине

«и следа общественных институтов». А вывод у Вас один: все это «противоречит всем принципам и сути коммунистического воспитания»!

Тут я должен специально остановиться и отметить, что для большинства критических писем в адрес картины характерна одна странная черта: главных героев фильма, которые почти не сходят с экрана, Лену и ее деда, либо «не замечают», либо не придают им должного значения. И наоборот: зритель, который активно принимает картину, в первую очередь пишет о главных героях фильма, особенно о героине. Тут, я считаю, альтернатива восприятия картины — отношение к главным героям и оценка их роли в фильме. По этому основному вопросу мне придется обращаться сразу к обоим оппонентам.

Первый вопрос к учительнице русского языка и литературы: скажите, можете ли Вы представить себе разбор «Идиота» Ф. М. Достоевского без анализа образа князя Мышкина? Какую оценку поставили бы Вы ученице, если бы, разбирая пьесу А. Н. Островского «Гроза», она не коснулась бы образа Катерины? Как можно разобрать «Ромео и Джульетту» В. Шекспира, коснувшись основных героев лишь слегка?

Вы уже умеете профессионально разбирать произведение, определять его драматургию, основной конфликт, противоборствующие силы.

Вместо этого Вы лишь упоминаете о главных героях в самых несущественных моментах своего письма, Лена у Вас вдруг попадает в «трудные», потом Вы мимоходом признаете ее даже победительницей и тут же уходите в сторону, опасливо спрашивая: «Личность сильнее коллектива?»

Кто же все-таки Лена и ее дед? И какие они? Невооруженным глазом видно, что Лена Бессольцева, да еще в исполнении Кристины Орбакайте, полна жизни и искренности. Она духовна и чиста, милосердна и способна на самопожертвование. Она требовательна к себе и добра к другим, она скромна и честна, умеет любить и прощать. И при всем этом обладает завидным мужеством, силой духа и способна постоять за свои высокие идеалы в любых экстремальных обстоятельствах. Как бы мы отнеслись к такой дочери? ученице? сестре?.. Везде все это в наши дни, когда основной жизненной установкой мещанина стала требовательность к другим и безоглядная доброта к себе, когда так распространены «однолюбы», обожающие только себя и прощающие только себе, когда обыватель сознательно отказывается от мужества как от «глупости», твердит: «против всех не попрешь», в идеалы не верит и бороться ни за что не хочет.

Образ Лены Бессольцевой отразил истоки духовности настоящего героя нашего времени как противопоставлению стихии мещанства: общественной безнравственности, равнодушию, жестокости, обывательской деградации личности и гражданского бессилия! Это — открытие нового героя, сочетающего в себе доброту и силу характера. (А то иногда бывает: или добро без силы, или сила без добра.)

Бессольцевы представлены в картине как полномочные представители целой династии прекрасных русских людей: из крепостных, талантов-самородков, земских врачей, патриотов, сестер милосердия, учителей, воинов — их высокая моральность и доброта прослеживаются как традиция народного духа, оживающего в портрете прародительницы и венчающего весь фильм.

Как же Вы, Михаил Петрович, не оценили силы характера главной героини? Прийти вот так на день рождения, не испугаться компании, которая ее билла, прийти после всего этого в класс и не допу-

стить новой вспышки жестокости? Это ли не мужество пионерки и будущей комсомолки? Найти силы взять ответственность на себя и поступить благородно — это «непротивление злу»? Или раз она совершила все это не по какой-нибудь «официальной линии», это уже «противоречит всем принципам и сути коммунистического воспитания»? А доброта для Вас — не инстанция? Нет, все усилия нашего общества, искусства, комсомола — всей воспитательной системы — особо направлены на то, чтобы коммунистическое сознание рождало общественную, социальную активность, было не «формальным» и не только «официальным», а именно человеческим содержанием души — это основа подлинной гражданственности.

Я познакомился и с еще одним Вашим гневным письмом по поводу моего фильма, в котором, ссылаясь на великую традицию русского фольклора, Вы пишете:

«Ведь с возникновением древней русской литературы, начиная с эпоса, былин, сказаний, сказок, и в современных художественных произведениях и поэзии, так или иначе, — в них всюду яркой звездой сияет борьба добра со злом. Это неиссякаемый народный родник, вселяющий в души людей, носители светочи добра и торжества справедливости, непреодолимые силы».

Да, непреодолимые. Но не так все просто.

Возьмем сказки. Пожалуйста — «Мальчик-с-пальчик»! Всего-то «с пальчик», куда как не представлятелен! И к тому же — один! Один из всех братьев и сестер не испугался, людоеда победил, всех спас. Вот уж, по Вашей логике, «кустарь-одиночка»! Но ведь и Илья Муромец один ходил на тьму-тьмущую врага, и Добрыня Никитич один воевал, когда надо. Тоже «кустари-одиночки»? Да и не все просто складывалось в их жизни: Илья Муромец вынужден был убить своего сына, Добрыня Никитич в одной из былин покончил жизнь самоубийством. А что Вы скажете о любимом сказочном герое Иване-дураке, я и подумать боюсь. И один, как перст, — братья-то с малолетства его предавали (и сколько он их потом ни прощал, предавали вновь и вновь). И сам-то он, встречаясь с трудностями, «не весел, все головушку повесил»! Да и подвиги за него Конек-Горбунок совершает — вот ведь какая незадача! Но любим народом во все века Иван-дурак! Оттого, что он «дурак» только перед лицом предательства своих родных братьев, оттого, что чист и добр сердцем, оттого, что живет в народе вера, что за добро судьба обязательно отплатит добром. И прощает народ слезы Иванушке, и то, что он «головушку повесил», потому что во все времена люди знали, как трудно одолеть злой наговор и предательство. А уж если говорить об использовании традиций русского фольклора, то весь финал фильма — приход деда в класс — сделан точно по сюжетно-философской формуле нашей сказки: «узнать имя — значит победить!» Всех узнал дед, всех назвал по имени, всех раскусил — вот она, победа в той войне, которую мы ведем, товарищ Галкин, и воюем мы не с нашими детьми, а за них, за их души, — это большая и принципиальная разница.

ИЗМЕНИЛ ЛИ Я ЖАНРУ?

А вообще, любят ли в жизни хороших людей? Все ли их любят? Или не любят вообще? По-настоящему хороших: добрых, порядочных, милосердных? Уважают ли их? А если они еще и талантливы? Смелы?..

Двадцать лет назад я поставил озорную и совершенно новую по тем временам картину «Айбо-

лит-66». Основной конфликт фильма развивался между добрым Айболитом, которого замечательно сыграл О. Н. Ефремов, и злым Бармалсем, которого играл я сам. Драматургия фильма определялась четко, как конфликт личности и ничтожества. Бармалей при первой же встрече ограбил доктора, выбросил его и всех его друзей в море и завладел кораблем. Чего же ему еще было нужно? Почему он преследовал доктора, гнался за ним по джунглям, болотам и пустыням, не ел, не спал ночей, доходил до «трагического» апофеоза и, будто знаменитый шекспировский герой, кричал: «Осла! Полцарства за осла!»? Что ему, в сущности, было нужно? И вот оказывалось, что ничтожеству нужно было самоутвердиться перед личностью: «Чем ты лучше меня?» Мой замысел — «фантазия на тему глобального мещанина» и «комплекс неполноценности смешного и ничтожного существа перед великой личностью» — закономерно нашел воплощение в комическом конфликте.

Когда вышел фильм «Чучело», многие спрашивали меня: «Вы всегда ставили комедии, лирические фильмы, с поисками условного языка, почему Вы изменили своему жанру?»

Этот вопрос сначала ставил меня в тупик, и я сам не понимал, отчего так случилось. Но постепенно пришло прозрение. Я не изменял жанру. Просто конфликт между ничтожеством и личностью решительно изменился — из комического он на глазах превратился в трагический: мещанин и обыватель, ничтожество и бездарность не испытывают больше комплекса неполноценности перед личностью. Появился комплекс тотальной полноценности обывателя перед личностью, а это уже не смешно.

Если бы сказка «О рыбаке и рыбке» кончилась тем, что старуха не оказалась бы у разбитого корыта, а, напротив, стала бы владычицей морской, и служила бы ей «золотая рыбка», и была бы при ней «на посылках» — это была бы самая грустная сказка на свете...

Нет, хороших людей любят, на них мир держится. Их ценят, их судьба волнует, их ищут днем с огнем, их находят... Иначе, отчего же тогда люди плачут на фильме «Чучело»?.. Может быть, не все любят, не все уважают — это другой вопрос. И в нем очень важно разобраться...

Товарищу Сущенко Л. Б. [лично].

Вот Вы пишете, Людмила Борисовна: «Зачем нашим советским детям навязывать выдуманные проблемы там, где их нет, и уводить от насущных? Это может сделать только человек, очень далекий от школы». А в конце письма Вы разъясняете, какие проблемы кажутся Вам «насущными»: мода, мода и еще раз мода!

Мода в любом словосочетании — с содержанием, с формой, с красотой, с современностью. Исключение только о «любви к некрасивому». Но в ту же сторону: «тряпки и ухажеры»! Вот о чем надо дискутировать в школе и размышлять дома: «тряпки и ухажеры» в их высшем «философском» значении, и отсюда — неразрешимость проблемы: «Можно ли носить джинсы?..»

Что тут сказать? Один учитель из спортивной школы г. Гомеля прислал письмо в газету «Правда», в котором, ссылаясь на свой 28-летний опыт, утверждал, что нет таких школ и нет таких детей, как показано в картине «Чучело». «Правда, — пишет он, — у нас в школе за мою практику был один случай, когда ученик убил одного учителя»...

Как же показана школа в фильме на самом деле? Прекрасное старинное здание, только что отремон-

тированное, сверкающее белизной, с мраморными вестибюлями. Идеальная чистота — всю картину полы «только что вымыты». Декорации сделаны по образцу лучших школьных классов московских школ — победителей соревнований школьных интерьеров. Вся школа утопает в зелени — не школа, сад. Наглядная агитация на высшем уровне. Ученики в новенькой школьной форме, все в галстуках, опрятные и умытые. Ребята трудятся на колхозном поле, с удовольствием поют у костра песню Соловьева-Седого «Подмосковные вечера». В школе есть свой духовой оркестр, исполняющий знаменитые «Взвейтесь кострами» и «Солнечный круг, небо вокруг!». И вся школа ангельскими голосами поет в хоре песню Александры Пахмутовой «Беловежская пуща». По школе видно, что тут и успеваемость и сбор металлолома — все в должном проценте. А учащихся возят на экскурсию в Москву в специальных автобусах, хотя понятно, что в таком городке достать шикарные туристские автобусы не так просто.

«Никто не занимается в кружках, секциях, нет любимого дела? — неправда!!! Не может этого быть! Скажите, специально усилены акценты? А зачем искусственно нагнетать атмосферу?»

А ведь действительно «неправда», и три восклицательных знака к месту: «Неправда!!!» В фильме и идеальная школа, и интересные мероприятия, кружки, и общешкольный хор, и свой духовой оркестр. Да любая комиссия из самой строгой инстанции вынуждена будет оценить работу в этой школе как образцовую по всем показателям. Но когда я однажды беседовал с директором подобной школы и произнес слово «духовность», то услышал энергичный ответ: «Да, духовности мы сейчас придаем огромное значение, у нас в школе уже есть духовой оркестр!»

Опять эта «случайная оплошность речи!» Но не будем строги, хотя одно бесспорно: во многих, даже самых прекрасных с точки зрения ведомственного благополучия школах, духовность понимается как что-то вроде «внеклассного чтения», «самодеятельности», отдельных «мероприятий», стоящих за чертой официальной школьной программы.

Вот об этом и говорит фильм «Чучело», в первую очередь об этом, когда он касается школы: мы много думаем о новых школах, прекрасных и чистых, но слишком мало думаем о душах школьников; мы заботимся об их одежде, развлечениях, свободном времени, но мало заботимся о воспитании чувств.

Фильмом «Чучело» я стремился обратить внимание зрителя на то, что давно стало обычным, «приелось», «примелькалось», к чему мы приучили себя относиться как к «неизбежному» и даже «не имеющему решающего значения». Это одна из обязанностей искусства — подходить к явлениям жизни с точки зрения высокого духовного критерия. В этом смысле искусство обладает возможностями световой вспышки, когда «привычное» «примелькавшееся» предстает перед нами в своей подлинной духовной сущности.

Я понимаю, Людмила Борисовна, что после картины «Чучело» можно почувствовать себя и неудобно «в доме педагогического благополучия», может захотеться кричать «от недоумения», «возмущаться и негодовать». Можно и не один вечер «больше ни о чем не думать», может и «голова заболеть, даже сердце». Но это общественно полезная боль, надо же в конце концов открыть глаза! Необходимо!

И еще Вы пишете: «Что же пропагандируют на м создатели киноленты?»

Это я выделил слово «нам», Людмила Борисовна. Не могу удержаться, чтобы не остановиться еще на одной «случайной» стилистически-смысловой рече-

вой оплошности. По-русски правильно было бы просто: «что пропагандируют?», а у Вас: «что на м пропагандируют?» Получается, что я пропагандирую Вам, Вы пропагандируете мне. Как будто просто вкрался одессизм, но это не просто стилистическая оплошность: одно словечко «нам» — и фильм «Чучело», из области искусства переносится в... «сферу обслуживания». Отсюда и тон письма, Людмила Борисовна, и апелляция к «компетентным организациям», как к жалобной книге: «неудовлетворен покупатель, недоволен, примите меры...»

Людмила Борисовна, неужели Вы рассказываете своим ученикам, что Лев Толстой в «Анне Карениной» пропагандирует нам самоубийство? А Вильям Шекспир по этой логике пропагандирует Вам удушение жен из ревности? Вы заканчиваете свою мысль грозным окриком: «Это что же, наша советская школа способна воспитать такое?» А кто, Людмила Борисовна? Надо, наконец, осознать, что все, кого воспитывала царская гимназия, в основном уже на пенсии. Да, наша школа... И не только это, но и многое другое, что гораздо драматичней и отвратительней: и тех, кто сидит в тюрьмах, валяется на койках в вытрезвителях, занимается стяжательством, бросает детей, всех хамов, глупцов, подлецов, бюрократов, трусов и даже предателей родины воспитывала, но не смогла воспитать наша школа вместе с нашей семьей. Только вот эпитет «советская» вставлен Вами, Людмила Борисовна, некстати. Я понимаю, Вы-то хотели обострить вопрос чисто демагогически: помалкивайте, дескать, о наших недостатках, либо Вам придется их связывать с общественно-политическим строем нашей страны. Наивно, Людмила Борисовна. Не надо защищать ложью наш общественно-политический строй, он в этом не нуждается. Да и вряд ли есть необходимость за уши пригласывать политику и «страшать ею слабонервных». Особенно там, где дел по горло и где гражданская честь и мужество — самая точная политическая позиция. И ни при чем тут «гитлерюгенд» и «бойскауты» — за такие демагогические диверсификации, как говорил Остап Бендер, «бьют канделябром». Помните слова Ленина: побольше знания фактов, поменьше претендующих на коммунистическую принципиальность словопрений. Наше советское искусство несет в себе великое реалистическое «знание фактов». Мы знаем и должны знать еще глубже все, что мешает нашей школе и семье, как мы знаем и о том, что та же самая школа воспитала всех честных тружеников, победителей самой страшной войны, ученых и художников: всех умных, добрых, честных, принципиальных, талантливых... И нет им числа!

О ЦЕННОСТИ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ

Уже завершив ответ Сущенко, я случайно наткнулся в прошлогодней «Работнице» на небольшую заметку, помещенную в подборке об экологии и вторичном сырье: «Признаюсь честно, у нас лоджия завалена тряпьем и газетами — выбросить жалко, а сдать — времени не выберу. Если хлеб засохший есть, кладу его в специальный ящик. Скажут, крышки да пробки от банок и бутылок: отдельно собирать — заведу специальную кастрюльку. Больше того, я знала, что яичная скорлупа — хорошее удобрение. Собираю и соседям, имеющим огород, отдаю». Под заметкой подпись — Л. Сущенко, педагог, Новосибирск.

Может быть, это совпадение и в Новосибирске есть еще одна учительница Л. Сущенко, но думаю, что это одно лицо. Почему-то догадываюсь.

Не скрою, что заметка о вторичном сырье во многом примирила меня с Людмилой Борисовной. Огорода у меня тоже нет, но я тоже начал теперь собирать яичную скорлупу, буду дарить соседям...

ЕЩЕ ДВА ПИСЬМА

«Здравствуйте, уважаемый товарищ Ролан Быков! Ваш фильм «Чучело» я смотрел 29 октября в известном Вам кинотеатре «Звезда» г. Калинин. Это был День кино, когда занимаются социологией кино, и дирекция попросила публику ставить за фильм «Чучело» оценки по привычной для города пятибалльной системе.

Поставили, прямо скажем, и много «двоек». В общем, многим фильму не особенно понравился. Да и кому может особенно понравиться, например, заявление: «Мы — детки из клетки?» Даже и недалекий человек может догадаться, что речь идет о зверях. А человек этот, между прочим, все делал правильно, детей своих наказывал, систематически добивался того же от школы, в заплатках ходить себе не позволял, и дома у него все есть — и ковры и хрусталь. И вся индийская кинематография ему давно дельно объяснила, что если правильно, то оно и есть празильно, тем более что и ковры, и хрусталь, и успехи в воспитании детей — это же не так просто, а все своим трудом. И вдруг — «детки из клетки». Так что публику тоже надо понять. Конечно, с Вашей точки зрения организация неуспеха фильма есть неприятность. Это отчасти верно, но огорчаться не надо: неприятности за такие вещи бывают всегда, причем бывали покрупнее. Как-то один-два итальянца додумались, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Также были неприятности от публики. Но публику тоже надо понять: им пять тысяч лет показывали такое кино, где планета ихнего обитания была вся из себя плоская, вращала вокруг себя Солнце и вообще была самой главной во Вселенной. Поэтому получалось, что во Вселенной они были самыми главными, и ихние ковры и хрусталь и прочие успехи в воспитании детей были самыми главными успехами. И вдруг: «Земля вращается вокруг Солнца». Даже и недалекий человек может понять, что это есть подкоп под недалекого хорошего человека, поэтому многие обиделись. Такая получилась социология кино.

Дело не в том, что детям давно уже объясняют про этот мир по Копернику, и не в том, например, что всюду стоят ему памятники и только в одной людоедской империи еще временно сохраняется нью-йоркское общество сторонников концепции плоской Земли. Дело в том, что Земля вращается вокруг Солнца, то есть, как оно и есть объективно. Так что не расстраивайтесь.

Сама попытка поставить эту проблему требует некоторых неплохих качеств, поскольку главный оппонент, т. е. мелкобуржуазная стихия, столба и для каждой головы имеет маску под именем, т. е. себя собственным и подлинным именем не называет, а пользуется разными и даже противоположными словосочетаниями, придуманными другими людьми по другому поводу. Для самообозначения масок это социально опасное животное пользуется именами «игровое отношение к жизни» (т. е. чужой) и «торжественное отношение к жизни» (т. е. своей), «строгий, но справедливый воспитатель» и «раскованность в педагогическом контакте», «любовь к красивым вещам» (городам, одежде) и «неуважение к неуважающим красивую одежду». И т. д. и т. д., и несть им, ложным именам для масок, числа. И отмечают устаревшие маски, и придумываются краданные имена для новых, ибо как (про мелкобур-

жуазную стихию) сказал поэт, еще плодоносить способно чрево, которое вынашивало гада.

Извините, конечно, за бестактность и за разглашение государственной тайны, но Вы сделали гениальный фильм, о чем я не буду распространяться, дабы не впасть в формализм, элитаризм и эстетизм и т. д. Отмечу только изящество параллелизма в показе того, как взрослые играют в воспитание детей, а дети — в воспитание Чучела. Такие вещи удавались кое-кому в живописи и в графике, но в кино это — в первый раз. Нелепость истории, заключающейся в том, что хотя мелкого буржуа уже нет, а мелкобуржуазная стихия еще есть, Вы перевыразили волшебным способом, поставив на все позиции шекспировского по остроте конфликта изумительно красивых детей. Именно в нашей стране устойчиво вырастают самые красивые дети, пишутся самые красивые картины и ставятся самые лучшие фильмы. Эта историческая закономерность выступает как художественная реальность благодаря таким, кто может сделать фильм «Чучело». С поразительным изяществом входит придуманный Вами оркестр в художественную реальность фильма, выступая как органический структурный компонент, формальная рамка показанного, тактично переосмысливаемая в конце, как знамение оптимизма. Наши побеждают, и как в том фильме 1930-х годов, они приходят и уходят под очень правильную музыку, даже если им не очень весело. Музыка вообще есть музыка победы.

С искренним уважением и приветом товарищам Железникову и Губайдулиной и с пожеланиями дальнейших успехов в коммунистическом воспитании народа».

Богин Г. И. (г. Калинин).

А это письмо было напечатано в иркутской газете «Советская молодежь» под рубрикой: «Откровение»:

«Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я учусь в десятом классе. Сегодня я посмотрела кинофильм «Чучело». Я вышла из кинотеатра и не могла смотреть прохожим в глаза. На душе ужасно тяжело, и я решила написать Вам.

Я читала в Вашей газете отклики моих сверстников об этом фильме. Они смотрели глазами доброго, умного зрителя. Я же воспринимала его совсем по-другому.

Когда я была в шестом классе, я была в числе «сильных, имеющих влияние». И у нас в классе была девочка, похожая на Лену. Я уже не помню, за что мы ее ненавидели. Может, просто за то, что мы были «сильные», а она «слабая». Мы — «дружные» травили ее, как зайца. Мы называли ее «Доской». Мы ее презирали, плевали в ее сторону, морально уничтожали ее. В девятый класс она уже не пришла. И я уже забыла о ней. И тут — «Чучело».

Я видела все. Я плакала, кусала губы и понимала, что мы были ничтожными и злыми в шестом классе. Как поздно я это поняла! Теперь я даже не знаю, где она — «Доска». Но я прошу у нее прощения! Прости нас, наше «чучело», наша «доска».

Прости нас, Лена! Может, и у Вас в классе есть «Чучело». Поймите его, пока не поздно!

Светлана».

Меня тронуло это письмо. Я верю в искренность его автора. И все-таки тревожно на душе, не проходит боль, и я мысленно все еще смотрю на своих героев глазами дирижера, которого сыграл сам, проводя в нелегкий жизненный путь свою Лену Бессольцеву и ее деда. Слишком много писем от тех, кто был или остается «Чучелами» и «Досками».

Работая над фильмом, выстраивая образ Лены Бессольцевой, я волей-неволей вынужден был у нее

учиться. И действительно, как можно было, раскрывая ее страдание, бояться разделить ее участь? Как можно рассказывать о мужестве этого слабого и хрупкого существа, а трусить самому? Я знаю, что это не всегда получается. Как говорила наша великая современница Фаина Георгиевна Раневская: «Талант, как прыщ — он может вскочить на любом лице!» Но все-таки есть в искусстве моменты, создающие душу самих художников: я трепетал от страха каждую секунду при мысли, что не смогу соответствовать своей героине, она положительно не позволяла мне ни устать, ни проявить слабость. Я верю: она помогла мне — она поможет и другим.

ЗАЧЕМ ОРКЕСТР!

— Зачем Вы ввели оркестр? Что он означает? Без него вполне можно было бы обойтись! — часто спрашивают меня.

— Обойтись можно было бы без многого, можно обойтись и без фильма «Чучело», только зачем? Для меня оркестр и дирижер были крайне важны — я лично обойтись без них не мог. Как-то один мой коллега, когда предлагалось из двух серий фильма «Чучело» сделать одну, подошел ко мне по-дружески и абсолютно конфиденциально заявил: «Хочешь, я помогу? Я вижу, без чего тут можно обойтись», «Зачем нам возиться с «Чучелом»? — сказал я. — Давай возьмем «Войну и мир» Льва Толстого. Клянусь, мы из его четырех томов сразу два сделаем!» Причем я вовсе не имел в виду особые достоинства своей картины. Просто закон искусства оттого и закон, что он распространяется на Все. Если произведение не состоялось, то безо Всего можно обойтись. Но если это не так, то не стоит отвергать то, что не сразу понятно. Оркестр и дирижер в фильме «Чучело» — фигура несколько условная в этом реалистическом фильме. В конструкции фильма ей найдено, думаю, точное место — она обрамляет действие, разделяет его главные части и этим служит свою первую службу. Но условный образ обычно выполняет несколько ролей, особенно когда он сочетается с реалистическим повествованием. Я люблю условность как ограниченный драгоценный камень, в котором происходит таинственное мерцание света при малейшем движении и повороте. В условном образе есть столь любимое мною «мерцание смысла», его многозначность, многомерность. Дирижер мне был нужен как важное утверждение: «Я сам был свидетелем всей истории, я пережил это вместе с моими героями». Оркестр музыкантов для меня образ не новый — он был и в «Айболите-66», и в фильме «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», но там я как бы представлял собственную реальность в условном мире, не скрывал своего авторства, подчеркивал его. «Айболит-66» так и начинался: «Я — автор, и это у меня такое лицо (одна половина лица у меня была веселая, а другая грустная). И это очень важно, чтобы сразу было видно лицо автора!» В «Чучеле» же лицо дирижера мне было важно как открытый факт моего сочувствия, сострадания. У лица и глаз свой язык — есть чувства, которые ничем другим выразить нельзя. То, что я мог открыто выразить свое личное отношение к происходящему, — позволило мне, как ни странно, более объективно и сдержанно рассказать всю историю...

Что же касается оркестра, то у него много ролей в фильме. Мне хотелось показать сверстников моих героев с той ответственностью, которая наложена на их детские плечи погонями, ответственностью мужчин, будущих защитников Родины. Мне хотелось, чтобы на экране возник образ сверстников моих

героев, близких к искусству, музыке, не допускающих «ни одной фальшивой ноты», в том же смысле, в каком говорилось об этом в картине «Айболит-66». И, наконец, главное: для фильма было необходимо отдать доброту и ее героине, ее милосердию и самопожертвованию воинские почести. Я совершенно всерьез считаю человека, способного на то, что сделали внучка и ее дед в картине, «подлинным героем».

Я получал интересные письма как ведущий ежемесячной передачи «Спор-клуб» и не раз встречался с поразительными суждениями: «Если Вы не примете мер по отношению к этим вора и не пресечете всякие их безобразия, то я Вам прямо заявляю, что сам начну воровать и безобразничать!»

Вот формула обывателя, столь распространенная сегодня: нравственность только в обмен — «баш на баш». Вот почему Лена Бессольцева и ее дедушка представляются мне подлинными героями наших дней. Для этого и оркестр... Но в условном образе есть и большая творческая возможность для самого зрителя определять и уточнять его значение. Письма подтверждают богатство восприятия образа оркестра: зритель пишет и о «воинских почестях Лене», и о «чеховском оркестре» из «Трех сестер», о прощании с героями и зрителями — по-разному...

ПРИТЧА О БЕДНЯКЕ И ЛОТЕРЕЙНОМ БИЛЕТЕ

Однажды бедняк пришел к своему духовному наставнику:

— Бедность моя достигла предела, дети пухнут с голоду, жecha болеет и нет денег на лечение — что делать?

— Нет ничего проще, — ответил духовный наставник. — Надо купить лотерейный билет и выиграть сто тысяч.

— Сто тысяч — это как раз то, что нужно. Но мне всегда не везет, как я узнаю, какой билет купить?

— Нет ничего проще. Ты пришел ко мне в четверг, сегодня у нас июль, так что покупай двадцать седьмой билет.

Бедняк послушался, купил двадцать седьмой билет, выиграл сто тысяч и со слезами на глазах пришел благодарить:

— Ты спас меня, отче, но как ты узнал, что нужен именно двадцать седьмой билет?

— Нет ничего проще, — ответил духовный наставник. — Ты пришел в четверг — это четыре, июль — седьмой месяц, четырежды семь — двадцать семь!

— Но четырежды семь — двадцать восемь?

— Глупец! — рассердился духовный наставник. — Ты выиграл и еще спиришь!

...Сегодня многие художники-практики, к которым принадлежу и я, страдают склонностью к обобщениям, как головными болями. И пусть многие из нас ошибаются — это не всегда такое уж несчастье. Искусство — такая область, где часто именно ошибки в теоретических предположках служили причиной многих открытий. В этом смысле искусство иногда «глаголет устами младенцев»...

Так что примите мои извинения...

АЛЕКСЕЙ
ПЬАНОВ
«ТРОПА
БОРИСА
ПОЛЕВОГО»

На снимке: мемориальный кабинет Б. Полевого.

Фото А. Рождественского.



В

один из очередных своих приездов в Калинин Борис Николаевич Полевой (а он не упускал случая навесить родные края, чтобы «подзарядить аккумуляторы»), заглянув в редакцию газеты «Смена», где когда-то начиналась его журналистская судьба, предложил:

— Давайте, старик, посмотрим город! Погода соответствует...

Машиной добрались мы до «Пролетарки», и здесь последовало новое предложение:

— А что, старик, если дальнейшее путешествие продолжить нам пешочком? А то уж больно быстро все получается.

В лабиринте хозяйственных дворов текстильного комбината немудрено заплутать и старожилу. Однако куда нам не понадобилось: дворы своего детства Борис Николаевич помнил, что называется, наизусть.

Тверская «Пролетарка», знаменитая на всю страну славными рабочими традициями, была первым его жизненным университетом. Здесь начиналась биография будущего писателя. Здесь складывался характер, завязывались дружбы, многие из которых он пронес через десятилетия...

Потом отправились мы на берег Тьмаки. Долго стояли у здания шестой школы — его школы. Перешли Волгу по Старому мосту, посидели в сквере у памятника Афанасию Никитину, прошли по За-волжью, вышли к Тверце. Здесь осенью 1941 года военкор «Правды» Борис Полевой принял первое свое боевое крещение...

Закончилось это удивительное путешествие с удивительным человеком поздним уже вечером на улице Рыбацкой, что идет параллельно волжской набережной. Борис Николаевич предложил зайти в дом, где некогда жил тверской вице-губернатор Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, а совсем недавно был открыт его мемориальный музей.

— Зайдем к началству, старина, — сказал с улыбкой Полевой, — а то неловко как-то получается. Надо представиться...

И вот полтора десятилетия спустя снова пришел я к этому старому дому на Рыбацкой. Вспомнил тот давний иаш пеший маршрут, который на этот раз

проделал, увы, уже один. Тогда Борис Николаевич не предполагал, что вскоре маршрут этот назовут вполне официально «Тропой Бориса Полевого» и тысячи людей, приезжающих в старый волжский город, будут ходить по улицам, проспектам, площадям, скверам и слушать рассказ экскурсовода о знаменитом тверяке.

Старый дом на Рыбацкой — всего лишь одна веха на этой тропе. В канун сорокалетия нашей Великой Победы здесь, в здании музея, открылась экспозиция, посвященная писателям-фронтовикам, друзьям, товарищам, коллегам Бориса Полевого. Интересная, талантливо сделанная экспозиция, воскрешающая суровые годы Великой Отечественной, рассказывающая о вкладе калининцев в общенародную победу над врагом.

...Уголок фронтовой землянки. Мерцает в печурке трепетный огонек. Старая гильза с зажатым фитилем — коптилка. Старенький патефон на столе. Фотография на стене — Александр Фадеев и Борис Полевой зимой 1942 года на Калининском фронте.

Поднимаюсь на второй этаж. На одном из стендов — пишущая машинка. В каретке — 129-я страница рукописи «Повести о настоящем человеке», автографы с таким знакомым почерком.

Новый зал... У меня такое ощущение, что каким-то невероятным образом я вдруг перенесся с волжского берега в Москву на площадь Маяковского, в кабинет главного редактора «Юности». Та же стена, на которой воспроизведена обложка журнала. Тот же выдавший виды стол, залитый зелеными чернилами. Те же фотографии под стеклом.

Кабинет Бориса Полевого воспроизведен с тщательностью и любовью.

«Тропа Бориса Полевого»... Она прошла через грады и веси родной земли. На этой тропе — огненные версты Великой Отечественной. Частичка этой тропы — улица Бориса Полевого в Банской-Бистрице в Словакии. Эта тропа опоясала весь земной шар. По ней уверенно и ходоко шагал журналист-правдист, писатель, борец за мир Борис Полевой, оставивший на земле и в людских душах добрый и прочный след.

СИМОН
СОЛОВЕЙЧИК

УЧЕНИЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ



реже было принято начинать статьи словами: «Непосредственным поводом взяться за перо послужило...»

Так вот, непосредственным поводом взяться за перо и написать о том, о чем думаю вот уже двадцать пять лет, послужила случайная встреча со студентом-третьекурсником. Мы говорили о любимых его предметах и преподавателях,

я расспрашивал, что нового в педагогическом институте, где он учится, но оказалось, что в одном отношении все то же, что было и десять лет назад, и двадцать, и тридцать. Выяснилось, что у моего собеседника есть любимые преподаватели, любимые предметы, что в институте есть два — нет, даже три! — три «гениальных», как сказал мне новый мой друг, ученых, но самым скучным предметом, как это было и десять, и двадцать, и тридцать лет назад, осталась педагогика.

Вы подумайте: педагогика в педагогическом институте была и повсюду остается самым нелюбимым, самым непопулярным предметом.

Да что же это такое?!

Представьте себе, что в медицинском институте студенты не любят медицину, в геологическом — геологию, а на режиссерском факультете института кинематографии терпеть не могут режиссуру...

Но ведь не только в институтах педагогика живет в золушках. Возьмите любые сто научно-популярных книг — найдется ли среди них хоть одна по педагогике? Перелистайте журналы с разделами «Наука» или «Научные горизонты» — о каких угодно науках сообщается, о невиданных и неслыханных, кроме педагогики! Возьмите книги замечательной серии о замечательных людях, «ЖЗЛ», — о ком только в этих книгах не рассказывается! А великих педагогов словно и не было на свете.

Все это тем более странно, что общественный интерес к педагогике, к воспитанию детей невероятно высок, особенно теперь, когда проводится школьная реформа. По сведениям социологов, радости и тревоги, связанные с детьми, выходят сейчас на первое место. Нужда в педагогике — на первом месте, внимание к педагогике — на последнем.

Что за парадокс? Может быть, виновата сама наука?

Но в сегодняшней педагогике есть нечто такое, от чего захватывает дух. В полном смысле этого слова: дух захватывает, задыхаешься от волнения!

ПЕДАГОГИКА В КОНЦЕ XX

У всякого явления свои причины. Не сразу увидишь новое явление, а причины его отгадать бывает и вовсе не легко.

Когда встречаешься сегодня с учителями, все в один голос говорят: «Учить стало очень трудно». Отчего так? Учить всегда было трудно, отчего же говорят «стало»? Что за этим кроется?

Объясняют: родители меньше смотрят за детьми, больше неполных семей, в педагогические институты до сих пор принимали не самых сильных, телевидение отвлекает детей от уроков, и так далее.

Но это не объяснения, настоящая причина более серьезна.

О том, чтобы летать по воздуху, построить безлошадные повозки, отыскать живую и мертвую воду,

люди мечтали всегда. Но даже в мечтах не было дать в с е м людям серьезное образование. И в песнях об этом не пели и сказок не сказывали. «Вложить ума» означает дать взбучку, больше ничего. Все школы, сколько их ни было до сих пор, в основе своей держались на отборе и на отсеке: учитель может учить только тех, кто может учиться. Все методики, сколько их ни изобретали, предполагают, что учитель может заставить учиться неохотливого к учению ученика. Чем, если не побоями, как было в прошлом веке? Угрозой прогнать, исключить, оставить в второй год, то есть угрозой отсева, таящейся в каждой двойке. Даже Макаренко боролся за право исключать из коммуны! Даже он считал, что не сможет воспитывать, если у него не будет права на отсев. Да и сегодня в книжках по привычке пишут, что школа-де не место для неспособных и ленивых.

А где им место в большой нашей стране? В ПТУ? Но и там среднее образование. На заводе? Но завод тем более не место для неспособных и ленивых, да и там заставят в школу идти. К тому же в школе ведь не только старшие классы: в школе и восьмой есть, и седьмой, и шестой... Куда прикажете девать неспособных и ленивых пятиклашек?

Пришла пора: отсеивать детей некуда! Сегодня, в конце XX века производство, жизнь, развитие социальной справедливости требуют, чтобы не было неспособных и ленивых людей, чтобы никто не был обделен знаниями, умениями, трудолюбием, чтобы все дети вырастали творческими людьми. Да, еще очень много рутинного труда, но каждому предстоит творить свою собственную жизнь и жизнь своего народа, каждый должен быть способен к жизнетворчеству. Пришла пора учить всех без отбора и отсева. Великую педагогическую теорему наших дней можно сформулировать так: учение без и с к л ю ч е н и я.

Но возможно ли это? Теоремы требуют доказательства. Никогда не забуду, как после выступления в одной школе подошла ко мне старая учительница с грустными, добрыми глазами и тихо спросила, жалея меня: «Неужели вы и в самом деле думаете, что можно обучить всех?» Любимый опытный и умный директор школы скажет, что больше 75—80 процентов успеваемости он без натяжек дать не может — при том, что в школе собраны отличные учителя.

Понимаете, что получается? Хорошо учить детей умели всегда. Всегда, но не всех. Короткое коварное слово «все» делает прежние методы обучения мало-пригодными. Последние проценты в школе (а их до двадцати!) не поддаются обучению прежними методами. Прежде их просто отсеяли бы, исключили. Но не исключенные, в классе сидящие, они меняют всю учебную обстановку. Учить восьмой класс, в котором хоть пять учеников не учатся, равнодушно к отметкам и знают, что место в ПТУ им уже приготовлено, — учить такой класс практически невозможно, это подтвердит любой учитель.

И все запутывается! Родители бранят школу, учителя бранят родителей и требуют принять меры, все вместе бранят «нынешних» детей.

А на самом деле учить стало труднее оттого, что в классе сидят такие ребята, которых учителя прошлого отказались бы учить.

Худший способ обращаться с проблемой — делать вид, будто ее нет, будто все по-прежнему и надо лишь усилить работу и улучшить ее. Но когда жизнь выходит на новые рубежи, то обычными способами новые задачи не решаются, нужны о т к р ы т и я. Нужно преодолеть противоречие, вдруг возникшее перед педагогикой: не умеем учить без при-

нуждения — но средств принуждения не стало, нельзя учить без отсева — но нельзя учить с отсеком.

...Теперь я сделаю заявление, которое одних удивит, других заставит снисходительно усмехнуться, третьих, быть может, возмутит своей дерзостью. Я заявляю, что эта новая педагогика, эта педагогика учения без исключения уже создана, опробована, опубликована; осталось лишь оценить ее, придать ей то значение, которого она заслуживает.

Вот они лежат передо мной, эти книги, неслыханные по новизне, — книги серии «Педагогический поиск», выходящей в издательстве АПН СССР «Педагогика». Как и во всяком серийном издании, здесь есть и неудачи; но именно в «Педагогическом поиске» вышли работы В. Ф. Шаталова, С. Н. Лысенковой, Е. Н. Ильина и рядом с ними стоит книга И. П. Иванова.

ЛЫСЕНКОВА: У ИСТОКОВ ТВОРЧЕСТВА

Начнем с первого класса. Вот, пожалуй, самый распространенный упрек школе: мол, дети все хотят учиться, с радостью бегут в первый класс, а потом их пыл остывает...

Московская учительница Софья Николаевна Лысенкова, автор книги «Когда легко учиться» (недавно вышло второе издание ее), пишет: «Меня, как и всех учителей, волновали слабые ученики. Мне часто приходилось дополнительно заниматься с детьми после уроков. Хотя и чувствовала, что пустое это дело, а занималась. Почему пустое? Один дополнительный урок для слабого ученика — мало. Систематические занятия утомительны. Вот и думает ребенок: «Когда же кончатся эти муки?» А меня в душе считает не иначе, как злой бабой-ягой.

Ни меня, ни отстающих детей в конечном счете не устраивали эти дополнительные занятия. И я стала думать, почему же дети слабо усваивают материал. Постепенно пришла к выводу, что многим просто не хватает времени для усвоения темы... Они не могут ни понять с первого урока, ни быстро заучить».

Что такое открытие в педагогике? Решение задачи, которая обыкновенному уму представляется абсурдной. В самом деле: чтобы овладеть сложным математическим действием, одному мальчику нужно два урока, а другому не три, не четыре, а сто! И не переделаешь природу маленького тугодума (может быть, и способного!), и не растянешь до бесконечности учебное время. Что же остается? «Сейчас мы напишем диктант, а ты, Серегин, не пиши, не порть мне нервы»... А как иначе? Как решить неразрешимое?

Софья Николаевна нашла выход. Самые трудные из ее учеников, даже так называемые «ЗПР» (то есть дети с замедленным психическим развитием, которое установил врач), осваивают самые трудные разделы программы точно тогда, когда это предусмотрено учебным планом!

Вот чудо, а?

Чуда нет, есть открытие.

У всех был такой ход мысли: если какие-то дети отстают, то надо помочь им догнать класс. А Лысенкова пошла противоположным ходом: если какие-то дети отстают, то надо помочь им... опередить программу! Надо выходить с ними в дорогу заранее. Обычно у детей в школе один старт — но, увы, разные финиши. У Лысенковой, можно сказать, разные старты, а финиш у всех один — победный.

Подлинное открытие всегда потрясаете просто. В третьем классе есть, например, трудная тема —

деление трехзначных чисел на однозначные. На первом уроке идет объяснение, а на втором уже операции с четырех- и пятизначными числами. Естественно, что несколько человек в классе споткнутся об это деление трехзначных, отстанут — и, быть может, навсегда! Потеряют веру в себя, потеряют интерес, и как их потом заставишь учиться?

А Софья Николаевна ввела «опережающее обучение», «большую перспективу». Она начинает заниматься делением трехзначных исподволь, еще в марте предыдущего года, во втором классе. Потихоньку, по пять минут на уроке — и постепенно один поймет, в чем дело, потом другой, третий, а когда приходит время, весь класс легко справляется с темой. Тугодумы незаметно для себя получили свои лишние сорок — пятьдесят занятий (на уроках получили!), и все приходят к финишу вместе.

Испокон веков на уроке повторяли прошлый материал и проходили новый, урок состоял из «вчера» и «сегодня». Лысенкова, как видим, ввела будущее, ввела «завтра». И нет отстающих, принципиально не может быть! Все дети без исключения хорошо читают, пишут, считают, а речь развита — заслушаешься. Об этом с восхищением говорят и пишут все учителя, гостившие у Софьи Николаевны. На каждом каникулах она вылетает в далекие города, проводит семинары — в тридцати городах страны выступала, у нее сотни последователей, и надо видеть, что они пишут своей учительнице, как благодарят ее! Учительница из Винницкой области М. Ф. Подлесняк пишет: «Первый раз в моей трудовой деятельности наступил учебный год, который я не хотела бы заканчивать. Хочется работать! Дети сейчас во втором классе знают больше, чем те, которых я переводила в четвертый». Академик АПН СССР И. Д. Зверев пишет в предисловии к книге С. Н. Лысенковой, что ее опыт следует глубоко анализировать и творчески применять в школе. Еще бы! Неразрешимая с виду задача о времени решена Лысенковой.

Но есть еще задача об уме — как всех сделать умными?

ШАТАЛОВ: ОБУЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВУ

В серии «Педагогический поиск» у В. Ф. Шаталова вышли две книжки: «Куда и как исчезли тройки» (тройки исчезли! Не двойки, а тройки в шаталовских классах исчезли!) и «Педагогическая проза». В предисловии ко второй книге доктор психологических наук З. И. Калмыкова пишет:

«В настоящее время среди педагогов нет, пожалуй, более популярного имени, чем имя В. Ф. Шаталова. Вокруг него идет бурная полемика, о разрабатываемой им системе обучения высказываются самые противоречивые мнения...

— Система Шаталова — это репетиторство, она тянет к старой школе зубрежки, она рассчитана лишь на самых отстающих школьников, не развивает творческое мышление, в ней нет ничего нового, — утверждает один.

— Шаталов ищет ключ к решению самых острых и больных вопросов современного образования, закладывает основы школы будущего; ...его система нацелена на гармоническое развитие личности ученика, на формирование у школьников постоянного интереса к учению, обеспечивает прочные, глубокие знания, делает радостным труд учителя, — говорят другие.

З. И. Калмыкова придерживается второй точки зрения, потому что она не слухами пользовалась, как иные наши руководители народного образования,

а сама поехала в Донецк. «Я посетила ряд уроков «шаталовцев» в городах Донецке и Курахово, — пишет она. — Разные школы, учителя, разная степень овладения ими системой В. Ф. Шаталова, разный уровень развития учащихся, но общее — психологический климат: доброжелательные отношения между учителями и учениками, атмосфера творчества, заинтересованность в успехе каждого ученика, спокойная и деловая, лишенная суеты и страха обстановка и как результат высокое качество знаний всех учащихся».

Отметим, что речь в этом авторитетном свидетельстве идет не об уроках самого Шаталова, а о шаталовцах! По методу Шаталова дети изучают математику, физику, историю, географию, химию, он, этот метод, все больше распространяется по техникумам и институтам. Правда, бывает и так, что приезжает Шаталов с лекциями и читает их... в инженерном институте, а в педагогический ему хода нет. Педагогические институты берегутся нового.

Чем же объяснить успех шаталовцев? «Юность» рассказывала о методе донецкого учителя десять лет назад (1975, № 9) — не буду повторяться, но сегодня я объяснил бы Шаталова не так, как прежде, а по-другому.

...Наша дидактика сделала в свое время серьезный и очень важный шаг вперед, когда разделила методы обучения на репродуктивные и продуктивные, на «повтори» и «подумай сам». Это произвело сильное впечатление. Действительно, как заманчиво: ученик не просто повторяет материал вслед за учителем, не зубрит материал, а решает проблемные ситуации. Как хорошо! И что против этого возражать?

Но когда вы задаете классу достаточно трудный вопрос (вопрос, достойный того, чтобы его задавать), то из сорока учеников отвечают от силы десять, двадцать, ну, тридцать — это считается сверхактивностью, это редкая редкость. Остальные же тридцать, двадцать или десять учеников не только не могут ответить, но хуже того: вопрос затормаживает, останавливает их мышление. Они глупеют на глазах, у них становятся бессмысленными лица — я это сам не раз видел. Считается, что учитель учит думать, заезжий корреспондент с восторгом пишет: «лес рук!», и никто за этим лесом рук не хочет замечать болотце молчаливых, потому что никто не знает, что с ними, безответными, делать... Лучше будем радоваться «лесу рук».

Да, есть такие дети, есть даже и взрослые такие, которые не выносят прямого вопроса, теряются, и мысль их, и без того несильная, вовсе замирает. Проблемное обучение действительно развивает сильных, но слабым оно забивает, к слабым оно беспощадно, и «учения без исключения» на нем не построишь.

Так что же — творчество или зубрежка? Такой выбор? Или, быть может, немножко творчества и немножко зубрежки? Или, как всерьез предлагают, одним — творчество, а другим — зубрежка, «прочное знание основ»?

Шаталов снял эту дилемму, он нашел не средний, а другой, совсем другой путь развития творческого мышления — такой, что даже самые слабые начинают думать. Вместо проблемности, отупляющей слабых, и зубрежки, отупляющей всех, он пользуется методом, который всех развивает — и сильных и слабых.

Надежнейший вид учения — «делай, как я». Так учат забивать гвозди, кататься на коньках, столярничать. Но мышлению так не научишь, это скрытый процесс, виден только результат его. Учителя всего

мира взывают к ученикам: «Думай! Ну думайте же!» Но как это — «думать», они показать не могут.

Метод Шаталова можно назвать методом открытой мысли: «Думай, как я!» Не то же самое, а тем же способом. Шаталов научился показывать способы мышления примерно с такой же очевидностью, с какой забивают гвозди. Уроки шаталовцев — открытое движение мысли учителя. Все внимание — логике, связям и связкам, а факты — это опоры для мысли, они представлены в хитроумных «опорных сигналах». Факты перед тобой, запоминать на уроке ничего не надо, нужно только понимать связи, двигать мыслью от опоры к опоре. Слово треск слабых электрических разрядов слышится в совершенной тишине шаталовских уроков — это подростки стараются думать. И дома ученик, вспоминая урок, опираясь на опорный сигнал-конспект, восстанавливает в уме ход учительских рассуждений. Он повторяет мысль, но не готовую, а движущуюся, не результат повторяет, а процесс — и между тем запоминает и факты, поскольку все время оперирует ими. Здесь собственной догадки, быть может, на один процент; ученику приходится прыгать не через пропасть, а через канавку, — но все-таки прыгать! Все-таки один процент догадки есть, а через неделю будет полтора, а там дело пойдет все убыстряясь. Кто хочет получить от ученика сразу и слишком много, тот не получит ничего и никогда. Изодня в день двигаясь по ходам учительской мысли, ученик Шаталова постепенно осваивается в них, присваивает себе эти ходы — и так научается думать! Шаталов не призывает, а учит думать, и когда его ребятам на экзамене дают две стопки задач, трудные и легкие, то даже самые последние по способностям ученики тянут листки из трудной стопки. Вот учитель!

ИЛЬИН: ТВОРЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ

«Ну что ж, скажут, Шаталов... Методом Шаталова все предметы преподавать невозможно. Вот литература, например...»

А на литературу есть свой Шаталов, его зовут Евгений Николаевич Ильин, ленинградский учитель, автор книги «Искусство общения» (и еще нескольких книг). Недавно я был на очередном совещании о литературе в школе. Несколько часов говорили, а имени Ильина, который уже дал ответы на многие недоуменные вопросы, — этого имени даже и не произнесли. Не знают, не слышали! И повторяют с молодым жаром, будто впервые: надо, чтобы на уроках литературы вырастали читатели! Надо, чтобы дети любили книгу! Надо, чтобы они умели отличать хорошую книгу от плохой! Надо, чтобы... Надо, чтобы...

Кто спорит? Конечно, надо! Все надо! Да как это сделать, если тут неразрешимое противоречие: анализ произведения необходим — анализ произведения губит его. Анатомируя искусство, учитель убивает впечатление, ученики после уроков литературы отворачиваются от классических книг. Об этом говорят уже второй век, но все больше на уровне «надо, чтобы...»

Е. Н. Ильин противоречие снял, когда понял, что урок искусства должен быть искусством. «Лишь там, где урок — искусство, есть место искусству», — пишет он и предлагает создавать урок литературы точно теми же способами, которыми создается художественное произведение.

Но не может каждый учитель быть как писатель!

А в этом и нет необходимости. Достаточно овладеть некоторыми существенными приемами писате-

ля: вопрос, прием и деталь. В каждой действительно прекрасной книге есть трудные, безответные вопросы (Раскольников жалко — но ведь он убийца!), есть прием, которым писатель завоевывает внимание читателя («завоевать их внимание — это значит завоевать их самих», — пишет Ильин об учениках), и есть, разумеется, поразительные детали. «По журналу, — пишет учитель, — в классе 30—40 учащихся. Сколько из них на уроке литературы? Допустим, столько же. А если посчитать иначе — по лицам? Не получится ли, что из 30—40 всего 5—6, остальные — «убежали»? Мысленно, конечно: кто куда. Вернуть — можно! Впечатляющей деталью. Почему у Раскольникова петля для топора — с левой стороны пальто? И в эту «петлю» сразу захватить и всего Раскольникова со всеми его туниками, и всех ребят».

Вопрос, прием, деталь — и анализ произведения становится искусством, производит на ребят такое впечатление, что они хватаются за книгу: неужели в ней и вправду есть все то, о чем говорили на уроке? Да что там ученики! Признаюсь, что и я, человек с филологическим образованием, учитель литературы, по-другому стал читать после встречи с Евгением Николаевичем. Я впервые увидел, что всякую прекрасную книгу отличает один признак: в каждой фразе этой книги содержится все произведение. Ильин «вытаскивает» всю «Войну и мир» из фразы о печеных картошках во французском плену: «Пьеру казалось, что он никогда не сл кушанья вкуснее этого». Оказывается, чтобы анализ не убивал искусство, он сам должен быть искусством, больше ничего! Книгу убивает не анализ, как многие думают и как я прежде думал, а глупый, бездарный анализ, который не поражает воображение учеников и разрушает общение с книгой и учителем. «Детали, вопросы, приемы, задания, монополии... — во имя чего весь этот комплекс? Удивлять искусством учителя? Увлекать литературой? Воспитывать личностью? Да, и то, и это, и другое, но прежде всего — во имя общения», — пишет Е. Н. Ильин.

Когда уходит эта тоска: «Вызовут... не вызовут... образ Онегина... типичный представитель... тема любви и дружбы...», когда произведение анализируют приемами искусства, урок становится уроком высокого общения, уроком для всех.

ИВАНОВ: ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ

И вот, наконец, труднейшее из препятствий к учению без исключения: а для чего же, собственно, всем учиться? Прежде на этот вопрос отвечали просто: «Учись, а то выпорю!»; «Учись, а то исключат!»; «Учись, а то дворником будешь!». Нечего объяснять, что все доводы отпали, как отпали все экономические соображения. Прежде учение давало привилегии, но если все учены, то нет и привилегий — зачем же учиться, непонятно иному? Осталось лишь одно, самое высокое объяснение. В. А. Сухомлинский выразил его так: «Человек должен учиться потому, что он человек».

Но как же трудно довести это до детей! Разговоры и доводы не помогают. Убеждаешь восьмиклассника: «Ну ведь надо же учиться, ну представь себе, что будет со страной, если все, как ты, перестанут учиться?» «Ничего», — отвечает он, — кто-нибудь выучится». Чтобы довод Сухомлинского (а другого нет!) возымел действие, маленький человек должен чувствовать себя человеком, вот в чем загвоздка! Иначе его ни научить, ни воспитать невозможно.

Игорь Петрович Иванов, доктор педагогических наук, профессор Ленинградского педагогического института имени Герцена, еще в середине пятидесятых

годов задал себе, как он пишет в книжке, вопрос: почему школьники плохо относятся к учебе, равнодушны к общественной работе, почему резко падает дисциплина?

Этот вопрос многие задают себе, и ответов есть много. Но много ответов — не ответ. Иванов обнаружил причину там, где ее никто не искал. Он обратил внимание на «п о з и ц и ю в з р о с л о г о» — так это называется в науке — и указал, что причина названных выше недостатков не в том, не в другом и не в третьем, а именно в позиции взрослого в воспитательном процессе.

В книге И. П. Иванова есть такая фраза: «Школьники управляют своими делами, а ими управляют педагоги». Я приводил ее учителям и директорам школ, спрашивал: что в ней неверно? И никто не мог указать на ошибку. Все говорили, что в этой фразе точно выражен принцип самоуправления.

Ну-ка, обращусь я хотя бы к студентам педагогических институтов, ну-ка, будущие педагоги, проверьте себя, ответьте: что ошибочно во фразе «Школьники управляют своими делами, а педагоги управляют школьниками»?

Между тем здесь и зарыта собака.

Чтобы дело шло хорошо, говорит Иванов, следуя макаренковской традиции, у школьников и педагогов должны быть одни, общие заботы. Педагоги не управляют школьниками, а вместе с ними заботятся о делах школы, никакого «мы» и «вы». Вместо односторонних воздействий педагогов на учащихся — общая творческая деятельность воспитанников вместе с воспитателями и под их руководством, пишет И. П. Иванов.

Кажется, будто здесь схоластическое различие: можно сказать так, а можно и так... Но вдумаясь, что все это значит.

Когда учитель математики садится вместе с ребенком решать математическую задачу, то слово «вместе» здесь неточно — они вместе сидят, но решают они не вместе: учитель знает решение заранее, а ученик не знает, какое же тут «вместе»! Но ведь примерно то же самое происходит в воспитательной работе — учитель заранее знает, что и как делать, он лишь «подводит» учеников к правильному решению, и это еще считается верхом педагогического мастерства: «тактично подвел учащихся...»

Получается лжесамодетельность, лжесамонаправление. Мало-мальски развитые ребята неохотно участвуют в этих играх, даже и не понимая, чем они скучны.

Нет, слово «вместе» должно означать одно: младший и старший, школьник и учитель, пионер и вожатый одинаково не знают, как решить ту или иную жизненную задачу, вместе ищут ответ; так возникает совместное, коллективное общественное творчество — великая воспитательная сила! Все мечтают о том, чтобы старшие и младшие были в школе как товарищи, все с благодарностью вспоминают учителей, которые были близки ребятам, всем кажется, будто это особый педагогический и человеческий дар, и притом редкий. Но оказывается: если в сознании педагога меняется его позиция относительно ребят, если всем устройством воспитательной работы ему приходится постоянно решать творческие задачи вместе с ребятами, то и он становится как бы другим человеком. «Все творчески, иначе зачем?» — выдвинул правило Иванов. Совместное творчество объединяет старших и младших, и сами собой рождаются отношения товарищества.

Таково теоретическое решение проблемы. Но, возможно, оно осталось бы непонятым, если бы Игорь Петрович Иванов не встретился с замечательным

ленинградским педагогом Фаиной Яковлевной Шапиро. Это было счастливое сотрудничество, хотя и кратковременное. Человек Мысли и человек Любви... Великий мастер объединения людей, заступничества и заботы — так можно сказать о Фаине Яковлевне, коротечно ушедшей из жизни, когда эта статья была уже готова к печати. От идей И. П. Иванова, от горячих душевных трудов Ф. Я. Шапиро круги пошли по всей стране. Опыт созданной ими «Фрунзенской коммуны» (она работала с 1959 по 1972 год) был развит в студенческой коммуне имени Макаренко, в 308-й ленинградской школе (с 72-го по 75-й год), в московской 825-й школе (она и сейчас так работает), во множестве клубов юных коммунаров по всей стране, в пионерском лагере ЦК ВЛКСМ «Орленок» — его опыт описан в книге О. С. Газмана и В. Ф. Матвеева «Педагогика в пионерском лагере», вышедшей в той же серии издательства «Педагогика». «И вот не у гениальных мастеров, а в самых обычных школах и классах педагоги становятся старшими товарищами учащихся по общей заботе», — пишет И. П. Иванов.

Важнейшее следствие теории Иванова состоит в том, что в школьном коллективе исчезает деление на актив и пассив, и постепенно все без исключения становятся коллективистами, активными и творческими людьми — это доказано теперь двадцатипятилетней практикой. Добавлю, что производительный труд стал основой коммунарского воспитания еще в конце пятидесятых годов, когда о нем и не думали. Ах, как умеют эти ребята работать — дружно, добровольно, серьезно!

Поскольку речь идет лишь о серии «Педагогический поиск», я здесь не говорю о таких известных наших педагогах, как М. Скаткин, Ш. Амонашвили, В. Караковский, М. Шетинин, Н. Эрдниев, Ю. Азаров, А. Никитина, Б. Никитин, Д. Огороднов, о работе школьного учителя — композитора Д. Кабалевского, о поисках художника Б. Неменского. Но заметим, что и четыре имени, четыре идеи охватывают все самые важные области школьной жизни, от которых зависит успех учения без исключения: начальная школа (Лысенкова), преподавание наук естественно-математического цикла (Шаталов), преподавание литературы (Ильин), воспитание (Иванов).

Разумеется, сколько ни пиши, сколько ни объясняй, кто-нибудь непременно скажет: «Но не все же Шаталовы и Лысенковы! Они же мастера, таланты!» Обвинение в мастерстве и подозрение в талантливости сопровождают наших новаторов, это самый простой способ оттолкнуться от тревожащих открытий: «Не видал, не читал, не вникал, не знаю и знать не хочу — не все же Шаталовы! И вообще, я слышал, ничего в нем нет, его журналисты выдумали. Натаскивает учеников!» Распространенный, к сожалению, вид внеучебной критики: критика понаслышке, критика незнанием, критика непониманием, критика нежеланием знать и понимать — критика без критики.

Но обратим внимание на то, что все работы, о которых шла речь, изданы решением редакционно-издательского совета Академии педагогических наук, или им предпосланы предисловия видных ученых. В этой же серии вышли интересные книги А. В. Апраушева, И. П. Волкова, Н. П. Гузика, В. Я. Ермолаева, С. А. Дзенушкайте, С. Н. Чистяковой, В. В. Носова, Е. Ю. Сазонова, А. А. Дубровского. У иных появляется искушение объявить: «У нас тысячи новаторов, почему вы об одних и тех же пишете?» Так о Сухомлинском вначале говорили: «Что в нем нашли, у нас тысячи Сухомлинских!»

Не тысячи — один. И один Иванов, один Шаталов, одна Лысенкова, один Ильин. Каждое имя соединено с кругом значительнейших педагогических идей, и если мы будем повторять «тысячи, тысячи», то не потеряем ли эти идеи?

Еще говорят: что же вы хотите, чтобы все учили одним методом? Насильно внедрять?

Нет, учитель волен в методах, однако он не волен в результатах. Результаты у всех должны быть не хуже, чем у лучших: ведь речь идет о детях! Умсю я учить лучше Шаталова — не нужен мне Шаталов, пусть он у меня учится. Но если у меня так не получается, если я хоть нескольким ученикам в школьном классе или в ПТУ вынужден ставить отметку с натяжкой, поступаясь совестью, обманывая и учеников и государство, то отчего же не поучиться у того же Шаталова, не перенять его идеи?

В школьной реформе можно выделить два пласта. Один — требующий больших материальных затрат (рабочие места, обучение шестилеток, повышение зарплат). Отдача от этих мер придет не скоро. Другой пласт, содержательный (о нем говорилось на апрельском Пленуме ЦК КПСС), не требует ни копейки средств и никаких усилий, надо только сказать ясное и всеми услышанное «Да!» новому. Тысячи учителей завтра же стали бы воспитывать детей по Иванову и учить по Шаталову, Лысенковой, Ильину. Работать по-новому интересно, но не все могут выступать в роли новаторов, испытывать сопротивление, защищаться, отстаивать, доказывать свою правоту. Одно только ясное «Да!» — и чему? Благороднейшей из педагогических идей, подтвержденной опытом многих учителей, принятой наукой и бесплатно, бескорыстно, в долгих трудах разработанной замечательными нашими педагогами, имена которых украсят историю советской педагогики; одно только «Да!» идее учения без исключения...

Сегодня, когда в канун XXVII съезда КПСС составляются важные, долгосрочные программы, когда партия призывает к смелым решениям и действиям, когда все в нашей жизни нацеливается на эффективность, результативность, на реальное улучшение жизни, присмотримся к мощному пласту педагогических идей, к открытиям, уже совершившимся, оценим их, как этого требует дух школьной реформы. И если не улучшаются методы преподавания, то сколько ни сокращай программы, хоть почти до нуля доведи их, все будет перегрузкой для ребят, отпавших от учения.

...А еще я представляю себе учителя, измученного каким-нибудь упрямым мальчишкой, — уже, кажется, и сил больше нет, и надежды никакой, глаза бы его ле гдели; представляю себе такого учителя (я не раз был на его месте!) и думаю: «А вдруг в эту минуту отчаяния вспомнит услышанные где-то слова: «Учение без исключения» — и ничего-то об этом не читал, просто услышал слова и запомнил! И вдруг они придут на ум учителю, и станут ему духовной поддержкой, и родится в его сердце еще одно, последнее движение навстречу негодному мальчишке, последнему в классе... Ведь это он для всех последний мальчишка, а для мамы-то своей он первый. И вот мама приходит к учителю с тревогой: «Ну как там мой?» «Ничего, голова варит», — смеется учитель, вложивший мальчишке свой ум и свое сердце.

А может быть, даже — кто знает? отчего не по мечтать? — может быть, даже и вузовская педагогика станет, наконец, увлекательной и уважаемой, когда студентам будут преподавать науку учения без исключения.

На страницах «Юности»

ТАТЬЯНА БОЙЦОВА

ПЯТЕРО С ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ



апреле 1984 года пятеро калининцев, молодых членов Союза художников СССР, стали гостями журнала «Юность». В течение месяца произведения Надежды Цикулиной, Лилии Сокурено, Людмилы Юга, Геннадия Ключина и Михаила Пантелеева экспонировались в редакции журнала.

Надежда Цикулина — художница ищущая, много размышляющая о своем ремесле живописца. В творчестве Надежды Цикулиной отразились изначальные реалистические принципы: верность природе, натуре и одновременно те общие черты, что свойственны творчеству молодых 70-х — начала 80-х годов. Она любит старых мастеров Возрождения. Далеко не последнее место занимает в ее творчестве натюрморт — натюрмортное повествование о жизни людей («Натюрморт в мастерской», «Сухие цветы»). В том внимании, с каким она относится к предметам, чувствуется, как ценит и высоко ставит она эти, словно слагающие основу человеческой жизни, вещи.

Свой голос, своя манера письма и у Лилии Сокурено. Как и Надежда Цикулина — она выпускница института им. В. И. Сурикова. Для Лилии характерно внимательное, осмысленное отношение к классическому наследию, умение взять из него все созвучное сегодняшнему дню, развить эти традиции через свое, личностное восприятие. Ее пленэрная живопись («Межево. Стога», «Картошка цветет», «Старая шелковица в Таганроге») передает со всей полнотой радость, лирическое состояние природы. Уже в первых своих портретах Лилия Сокурено заявила о пристрастии к портрету психологическому. Как сильное средство в создании образа использует она в портрете выразительные возможности пейзажа, все же отдавая предпочтение работе на пленэре.

На прошедших художественных выставках значительным было выступление художника-графика Людмилы Юга. Художнице свойственна мягкая, деликатная манера графических изображений. Не случайно ее излюбленной техникой офорта стала акватинта, дающая живописный, несколько растушеванный эффект изображения. Людмила Юга окончила Московский полиграфический институт. Она мастерски владеет многими техниками печатной графики.

Людмила — лауреат премии Калининской областной комсомольской организации им. Героя Советского Союза Е. И. Чайкиной. В последнее время увлеченно работает художница над серией листов, посвященных архитектурным памятникам Торжка, Клязьмы, Пушкинским местам Верхневолжья.

Геннадий Ключин, выпускник Московского Высшего художественно-промышленного училища, избрал для себя основную технику ксилографии. Немногие из графиков работают в этой технике, требующей кропотливого труда. Именно в этой технике сумел он наиболее полно выразить свое мироощущение. Ему близка тема родной земли, природы Верхневолжья. Глубоко и ярко по образу решена им серия листов «Моя земля», в которой он как бы раскрывает свои взаимоотношения с миром. Ассоциативен графический цикл «Воспоминания о детстве». Увлеченно работает он над образом А. С. Пушкина.

Свой почерк в искусстве ищет и Михаил Пантелеев — воспитанник Калининского художественного училища им. А. Г. Венецианова. Сюжеты его офортов просты, они как бы отражают повседневную жизнь города. Но рассказать о ней он стремится по-новому, ищет свой пластический язык, ищет именно свои формы подачи жизненных наблюдений.

Каждый из пяти молодых калининских художников — это, безусловно, творческая индивидуальность. Но есть все же общее, что роднит их творчество. — это родная земля, Верхневолжье.

На стендах «ЮНОСТИ»

МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ ГОРОДА КАЛИНИНА



Л. ЮГА.
Село Берново. Офорт.



Г. КЛЮШИН. Эксилибры.



М. ПАНТЕЛЕЕВ.
Иллюстрация
к произведениям
Спиридона Дрожикина.

Л. СОКУРЕНКО.
Старая шелковица в Таганроге.

Юность. 1985. № 9. 1—112.

Индекс 71120.

Цена 70 коп.

